

ISSN 0132-0637

2000

12

Октябрь

Октябрь

12 2000

# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

12

2000

ДЕКАБРЬ

В Н О М Е Р Е:

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

### НОВЫЕ ИМЕНА

Владимир ЕЛИСТРАТОВ. <b>Маду</b> . Рассказ .....	3
Анатолий БОГАТЫХ. <b>Сладкое земное питие...</b> Стихи ..	9
Валерий РОНЬШИН. <b>В летний дождливый вечер</b> . Рас- сказ .....	12
Владимир ПРИЕЗЖЕВ. <b>Трамвайный человек</b> . Стихи ..	22
Александр АНТОНОВ. <b>Блохолов</b> . Рассказ .....	25
Анна МАТВЕЕВА. <b>Младенец</b> . Рассказ .....	35
Наталья ТАГАНОВА. <b>Три стихотворения</b> .....	48
Вадим НАЗАРОВ. <b>Круги на воде</b> . Главы из романа ..	50
Марина ТУМАНОВА. <b>Миг и час</b> . Стихи .....	70
Анатолий НАЙМАН. <b>Сэр</b> . Окончание .....	73
Асар ЭППЕЛЬ. <b>Фук</b> . Рассказ .....	149

## ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Игорь ТИМОФЕЕВ. <b>Лопотухинские хроники</b> .....	159
---	-----

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Лариса БЕРЕЗОВЧУК. Естественный отбор. Статья вторая .....	166
Борис КОЛЫМАГИН. Храни боеготовность языка .....	173

### *Терпение бумаги*

Ольга СЛАВНИКОВА. Села муха на варенье, или Похвальное слово литературному редактору .....	176
--	-----

### *Актуальная культура*

Владимир БЕРЕЗИН. Кусочность и непрерывность .....	183
---	-----

### *Песни познания*

Что делать ребенку с языком .....	186
Содержание журнала «Октябрь» за 2000 год .....	188

**Главный редактор**  
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

### **Редакция:**

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

### **Общественный совет:**

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родion Щедрин, Сергей Юрский.

**Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»  
и Министерство культуры РФ выкупают и безвозмездно  
направляют в библиотеки России и ряда стран СНГ  
3850 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.  
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,  
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –  
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.  
Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2000. Электронная версия журнала [www.infoart.ru/magazine/October](http://www.infoart.ru/magazine/October)  
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности  
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».  
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 23.10.2000. Подписано к печати 16.11.2000. Формат 70x108<sup>1/16</sup>.  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.  
Тираж 8635 экз. Заказ № 2715. Цена 36 руб.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

# Новые имена

Владимир ЕЛИСТРАТОВ

МАДУ

РАССКАЗ

Я люблю Италию. За климат. Искусство, конечно, искусством, руинки руинками, но это в Италии, поверьте, не главное. Где-нибудь в Тоскане — после двух-трех дней пляжной nirваны — перестают слоиться ногти, не шелушится больше кожа, даже начинают завиваться волосы. Вообще становишься человеком. Искусство, конечно, вечно, но если бы надо было выбрать между каким-нибудь Колизеем и болонскими спагетти — я бы выбрал спагетти. Сами итальянцы, кстати, в гробу видали все эти двухтысячелетние кучки столбов, наваленные по стране значительно чаще, чем автосвалки.

Мы ездили по центральной Италии в мае, когда еще, слава Богу, не так жарко и часты дожди. Жена измучила меня культурой, таская из города в город и педантично залезая в каждую историческую подворотню. А подворотни там, как известно, все исторические. В каждой кто-нибудь родился или кого-нибудь зарезали.

Городишки встречали нас своими дежурными «дуомо» и «батистеро», похожими друг на друга, как улыбки старых итальянок. Встречали приветливо-наплевательски. Я зевал и поддерживал разговор примерно так:

— Здравствуй, дуомо. Где же твой батистеро?

Или:

— Батистеро вижу, а дуомо где? Где дуомо-то, ёлкина мать?

Я твердо знал, что эти ребята должны быть вместе. Еще я знал, что в два мы обедаем, то есть я законно выпью пол-литра «вино ди каза», домашнего вина, от которого сразу начинаешь глупо улыбаться, наверну тарелку местных макарон по-флотски и опрокину чашечку «капучино». Потом будет час сиесты у какого-нибудь фонтана с грязно-мраморными писающими младенцами. Потом, правда, будет еще пара часов суетливой культуры. Но их выдерживать легче, потому что греет мысль об ужине.

У нас с женой был джентльменский договор: неделю мы похотливой интеллигентской трусцой шакалим по камням, а неделю нормально отдыхаем. Как белые люди. На море. Никаких «дуомо» и «батистеро». Солнце, море, покой. Сначала, еще осенью, переговоры велись по варварской схеме 12:2. То есть экскурсионная некрофилия должна была занять двенадцать дней! К зиме, проявив чудеса дипломатического искусства, я отстоял схему 10:4. Наконец, к апрелю мною был достигнут прорыв, подобный прорыву Грибоедова в Персии. 7:7. Туркманчайский фурур. Персы повержены в прах. Как мне это удалось, я до сих пор не пойму. Может быть, дело в том, что я внешне чем-то похож на Грибоедова, а у жены пятьдесят процентов персидской крови?

За семь дней мы объехали Рим, Флоренцию, Болонью, Пизу, Венецию и еще десяток городов, названия которых слились у меня в одно зевотное «дуомо — батистеро».

Рим — рыжий. Как ослик. Об этом уже кто-то сказал. В Риме много приставучих наркоманов. Вообще-то Рим, как и Париж, — чисто японский город. Японцев там больше, чем римлян. Еда там хуже, чем в провинции. Рим я люблю. Это большая каменная деревня. Волков я там не встречал, но собаки бегают вполне дикие.

Флоренция — она полосатая, как мои детские гольфы. Город дрожащих от напряжения микеланджеловских торсов, которым хочется сказать «расслабься» или «а-а». Там по-средневековому (наверное, это и есть главный запах средневековья) пахнет кожей. Запах кожи скорее не запах, а звук. Когда глубоко вдыхаешь его и замираешь, он продолжается в мозгу. Ни розы, ни уксус не длятся, а кожа длится, словно нота «до» после удара по клавише.

Болонья — город-крепьш. Толстенский русский кремль цвета жирной мясной подливки. Всё плотненькое, сытное. В детстве я думал, что «болонья» — название блюда. Что-то вроде ботвиньи.

В Пизе все поголовно фотографируются у башни — как будто ее поддерживают. И каждый думает, что он это первый придумал. Башня действительно кривая. Но не очень. Вид у нее задумчивый. Если бы не изумрудная до неестественности лужайка вокруг и не белоснежные, как вставные зубы, дуомо и батистеро, — зрелище было бы душераздирающее. Пизанская башня — это итальянский Иа, к которому никак не придут Винни с Пятачком.

Венеция не производит впечатления города. Это большая коммуналка на воде. Там сложная система коридоров, закоулков, тупиков. Веселая, бестолковая, неопрятная, с красивыми блестящими безделушками. Знаменитая площадь — большой двор, где раздвигаешь голубей ногами, как бумажный мусор. Или можно играть в футбол — они не обидятся. Они этого даже не заметят. Фонтаны в Венеции — те же песочницы. Кафе — столы для доминошников. Там хорошо. Хотя домовая в этой коммунальной квартире не очень добрый. Венеция, конечно, место с чертовщинкой. А как ей быть другой? Все стихии здесь перепутались, как волосы у ведьмы.

Все это мило. Но на восьмой день мы, наконец, остановились в каких-то апартаментах около городка Фоллоника. Начался отдых. Фоллоника — это итальянская Сызрань. Ничего интересного в этом городе нет. Но дуомо и батистеро — это святое.

На море в Италии особенно остро чувствуешь себя белым человеком, потому что по пляжам бродят толпы негров, продающих всякую ерунду: темные очки, ремни, браслетки. Они приезжают на заработки из Африки. Продать им, кажется, почти ничего не удастся. Скорее всего они ходят туда-сюда, просто чтобы посмотреть на белых женщин. Они печально, как чеховские чайки, покрикивают: «Хелло! Хелло!» Некоторые из них наглые, некоторые забитые. Но все плохо пахнут.

С одним из них мы подружились. Его звали Маду.

Маду — высокий, худой, на редкость опрятный и симпатичный гвинеец. Говорит он на чудовищном французском с яркими итальянскими заплатами. Или наоборот: на странном итальянском под острым французским соусом. Маду — философ. Меня он называет «Шеф-муж». Жену — «Его жена». Речь Маду перевести нелегко, но я попытаюсь.

Каждое утро Маду появляется около десяти. С глубоким вздохом сваливает с плеч огромную сумку. Садится на песок:

— Здравствуй, Шеф-муж, здравствуй, Его жена.

— Здравствуй, Маду, как дела?

— У Маду тяжелый бизнес.

Слово «бизнес» он произносит гордо. Маду некоторое время сидит, философски ковыряется в пальцах ног. Потом спрашивает, глядя на море:

— Что делает в жизни Шеф-муж?

Я понимаю, что сегодня Маду в своем обычном философском настроении. С легким коммерческим привкусом.

— Шеф-муж — учитель, — отвечаю я.

— Это тяжелый бизнес, — со знанием дела говорит Маду. — Надо много говорить. Надо помнить много слов. Это не так легко.

Молчание. Маду усвоил очень важное правило: надо говорить немного и делать паузы, глядя в море. От этого слова приобретают вес.

— Шеф-муж и Его жена знают страну Гвинея?

В вопросе звучит легкий оттенок угрозы.

— Да, конечно, — отвечает Его жена. — Гвинея в Африке.

— Гвинея не в Африке.

Пауза. Надо изумиться.

— А где же? — изумляются хором «Шеф-муж» и «Его жена».

— Гвинея — в сердце Африки.

— А!

Маду снисходительно улыбается.

— Сердце Африки находится в Гвинее. Маду из Гвинеи. Там его родина.

Большие желтоватые белки Маду, похожие на бильярдные шары, покрываются блестящим глянцем любви к родине.

— У тебя есть семья?

— У Маду есть жена.

— Красивая?

Ухмылка, которая говорит: подумай своей белой дырявой башкой, разве у бизнесмена Маду может быть некрасивая жена?

— У Маду самая красивая жена во всем центральном квартале Уасу. Ее бедра — как ствол пальмы.

Маду почему-то внимательно смотрит себе на штаны.

— А, ну если как пальмы, тогда, конечно... А дети у тебя есть?

— У Маду только шесть детей.

Это сказано с досадой. Мало.

— Ух ты! И сколько же им лет?

Маду не торопясь загибает пальцы:

— Старшему сыну Маду шесть лет. Второму сыну Маду пять лет. Первой дочери Маду четыре года. Второй дочери Маду три года. Третьему сыну Маду два года. Третьей дочери Маду один год. У Маду три сына и три дочери. Самый старший ребенок Маду — сын. Самый младший ребенок Маду — дочь. У Шеф-мужа и Его жены сколько детей?

— Один сын.

На лице у Маду боль сострадания. Он даже немного смущен, растерян. После паузы тактично:

— В восточном квартале Уасу у Маду есть друг. Колдун Тóто. Он знает «траву ста сыновей». В следующем мае Маду может привезти траву. Шеф-муж и Его жена будут в Фоллонике в следующем мае?

— Мы не знаем, Маду. Возможно.

— Маду привезет «траву ста сыновей». Она стоит недорого.

Молчание. Мы на этот раз ничего не говорим. Ждем. Маду тоже ждет. Начинается бизнес. Какой-то виртуальный. Нам, понятно, не нужна никакая трава. И в Фоллонике мы больше, ясное дело, не приедем. Но это не важно. Удивительный человек Маду. Дипломат, философ, поэт. Прямо Грибоедов.

— В мае в Фоллонике очень хорошо.

Вот так. Не в лоб, не про цену. Про погоду. Он кружит над нами, как черны ворон.

— Фоллоника — хороший город, — продолжает Маду. — Он похож на Уасу.

— Уасу — это твой родной город? — спрашивает «Его жена».

— Уасу — родина Маду. Это сердце Гвинеи.

После паузы:

— Там живет Тóто.

Еще пауза.

— В восточном квартале. Когда у Мбамбы совсем заболела жена, Тóто дал ей «траву ста сыновей».

Еще пауза. Искусственный зевок.

— Сейчас у Мбамбы двенадцать детей.

— Ух ты! Больше, чем у тебя?

— Конечно. Потому что Тóто дал Мбамбе «траву ста сыновей». Она недорогая.

Мы молчим. Что будет дальше? Ну же, Мадущечка, не подкачай.

Но Маду на высоте. Он лениво показывает длинным ваксовым сверху и розовым снизу пальцем куда-то в жемчужную дымку моря; держит его с минуту не опуская.

— Уасу там. Там жена Маду. Ее бедра — как ствол пальмы.

Пауза. Маду свободной рукой быстро поправляет себе что-то в штанах.

— Уасу далеко. Как раз сейчас там цветет «травы ста сыновей».

Пауза. Маду вынимает руку из штанов и не выдерживает.

— Она совсем дешевая. Пятьсот долларов пакет.

Ай да Маду!

— Ого! — восклицают «Шеф-муж» и «Его жена». — А пакет-то хоть большой?

Маду небрежно показывает примерный размер пакета. Понять размер нельзя. Руки Маду как будто со всех сторон мнут невидимую пуховую подушку в воздухе.

— Средний пакет. Не большой и не маленький. Хороший пакет. Как раз той, который стоит пятьсот долларов. Это дешево. По пять долларов за каждого сына. Хотя Шеф-мужу и Его жене Маду отдаст «траву ста сыновей» за четыреста девяносто пять долларов. Маду не жадный.

Щедрость Маду нам очевидна.

— Ладно, Маду, — говорит Шеф-муж. — В следующем году мы обязательно приедем и купим «траву ста сыновей». Но совсем маленький пакет за десять долларов.

Маду нельзя узнать. Дипломат, Поэт и Бизнесмен уходят. Приходит Актер. Качалов? Станиславский? Не знаю. Маду делает совершенно потерянное лицо:

— Десять долларов?!

Он шокирован, возмущен, обескуражен, убит. Он даже, кажется, бледнеет, если только негры умеют бледнеть.

— Десять долларов за «траву ста сыновей»?!

Пауза. Маду падает на песок и начинает хохотать. Он катается по песку. Хлопает себя по коленям и животу. Закатывает глаза. Дергает ногами. Спектакль продолжится минут пять.

Если бы Станиславский в это время сказал Маду «не верю», я бы дал ему (Станиславскому) пощечину. Театральной программкой спектакля «Чайка». Прямо при Немировиче. И Немировичу бы дал заодно. Чтоб не поддакивал Старику.

Наконец Маду успокаивается. Он вытирает слезы, отчаянно качает головой, приговаривая:

— Десять долларов за «траву ста сыновей»!.. Десять долларов за траву!.. Жалко, этого не слышат Тото и Мбамба. Да... десять долларов... По десять центов за сына... Да... Шеф-муж — остроумный человек. Наверно, Его жена не скушает с ним... Да... Тото и Мбамба хорошо посмеялись бы.

Маду утирает слезы, качает головой. Садится. Затихает. Смотрит на море. Задумчиво чешет грязновато-розовую пятку. Держит паузу. Начинается новый налет:

— Сегодня хороший день.

А еще говорят, что это британцы придумали смол-ток про погоду.

— Такая погода в Уасу круглый год. Обычно в это время жена идет на рынок. Все женщины в это время идут на рынок. И жена Маду тоже идет. Медленно. И бедрами она делает туда-сюда.

Пауза. У Маду нежно розовеют белки глаз.

— У нее бедра, как ствол пальмы, раскачиваемый ветром. Я сейчас приду.

Маду вскакивает и быстрым шагом направляется к скалам. Это метрах в пятидесяти от нас. Минуты на три он пропадает за скалой. Тишина. Только чайки кричат, как быстро прокручиваемая пленка. Маду возвращается умиротворенный и с хитрым огоньком в глазах. Походка, мимика, жесты у него королевские, даже имперские. Главная нота — снисхождение к нам и ко всему миру. Мир существует лично для Маду. Это ясно.

— Ладно, — говорит он, — четыреста девяносто.

Насколько же он русский, этот Маду! Ну чем наша торговля отличается от спора гоголевских мужиков, доедет ли колесо до Казани?

— Так и быть, мы согласны, — говорю я. — За год мы накопим четыреста семьдесят долларов. И они твои. Только не забудь про траву.

— У Маду хорошая память. Четыреста восемьдесят пять.

— Согласны.

Пауза. Чего-то мы не понимаем. Этот разговор разве не окончен?

Нет. Маду задумчив.

— Собирать «траву ста сыновей» нелегко. Она растет на горе Шаманов.

Мхатовская пауза.

— Там много змей. Однажды змея укусила Тото. Тото не вставал всю весну.

Пауза.

— Как Маду скажет Тото, чтобы он шел за «травой ста сыновей»? Он не может сказать: «Тото, вставай и иди на гору Шаманов, потому что Маду так хочет». Тото рассмеется Маду в лицо и скажет: «Маду хитрый. Он хочет, чтобы Тото укусила змея».

Пауза.

— Ха-ха! — скажет Тото.

Снова пауза. Как это понимать? Нам, что ли, к змеям лезть на гору Шаманов вместо этого Тотошки?

— Тото будет долго смеяться. И позовет Мбамбу вместе посмеяться над бедным Маду. Потому что это очень-очень нелегко — собирать «траву ста сыновей» на горе Шаманов. У Тото тяжелый бизнес.

Интересное кино. А мы-то при чем?

— Когда у коровы хотят взять молоко, ей сначала дают травы, — говорит Маду.

А, вот оно что! Молодец, Маду. Лобовая атака. Прямо Покрышкин.

— И сколько же травы хочет твоя корова?

— Много травы — хорошее молоко.

— Ага. А не рановато ли ты хочешь накормить корову?

— Если корова вышла на траву, она должна есть.

— Много?

— Средне. Как все коровы.

Снова — неопределенное взбивание подушки.

— Говори.

— Если Маду скажет Тото: «Тото, вот тебе триста долларов, иди и собирай «траву ста сыновей», — Тото не будет смеяться.

— Да... Думаю, Тото будет плакать от счастья.

— Тото не будет плакать. Он спокойно возьмет деньги и не будет бояться змей.

Они ему сердце согреют.

— Нет, Маду. Ты, конечно, извини, но триста долларов — это многовато.

— Маду может попробовать договориться с Тото за двести девяносто пять.

У Маду пятеричное мышление, по числу пальцев на руках и ногах.

— Дорогой Маду, к сожалению, мы не можем дать тебе даже пяти долларов, — говорит слегка озверевшая «Его жена». — Даже одного. Понимаешь? Это странно — отдать тебе кучу денег просто так на год. За какую-то траву. Которая нам к тому же не нужна. И потом подумай: приедем мы или нет? Приедешь ли ты? За год может все измениться.

На лице Маду боль. Он как бы говорит: «Эх, Его жена, Его жена, такую песню испортила!» Маду смотрит на море. Бормочет себе под нос что-то подкожное, гвинейское. Потом произносит:

— Когда Маду приедет в Уасу, его обнимет жена. И его обнимут шесть детей. Они теплые. Маду ляжет на пол, и шесть маленьких детей будут ползать по Маду, обнимать Маду и целовать Маду. Это хорошо, когда дома много детей. Они теплые.

Хорошо, конечно, особенно если десять месяцев в году их, теплых, не видеть.

— Маду уговорит Тото без денег.

Вот это правильно.

— Но Шеф-муж и Его жена за это купят у Маду тамтам. Он недорогой.

Еще тамтама нам не хватало! Начинается торговля. Причем она изначально не ведется с тем условием с нашей стороны, что тамтам нам категорически не



нужен и мы его не купим не только за пятьсот долларов, но и за пять. Торговля продолжается четыре дня. Приемы, используемые Маду, удивительны. Мы узнаем, что звук тамтама действует почти так же, как «трава ста сыновей» (которая нам не нужна). Что если тамтам стоит в доме, то дом никогда не сгорит. Что внутри тамтама живет добрый дух Уампу-Таки. Что Уампу-Таки — добрый синый человечек с большим желтым животом — отгоняет грозу, успокаивает разбушевавшиеся кишечные газы, прибавляет жирности материнскому молоку, отбивает память сплетницам, лечит женщин от худобы, делая их бедра полными, как ствол пальмы («Сейчас я приду!»), и, наконец, делает запах мужского пота особенно привлекательным для красавиц. Что, когда колдун из восточного квартала бьет в свой тамтам, весь Уасу радостно смеется и влюбленные немедленно уединяются в пальмовых рощах («Сейчас я приду!»). Ну и так далее.

В день отъезда Маду принес тамтам, который стоил уже всего пятнадцать долларов. Он самозабвенно бил в него и пел нам гвинейские песни о главном, он танцевал любимые танцы Тото и Мбамбы, отгонял от нас, как мух, каких-то зеленых демонов Мбенга, кусающих влюбленных в сердце и насылающих на них ревность. В этот день он ни разу не уходил за скалы, даже когда пел песню про девушку Намуки, которую лишил невинности обезьяний царь Нангу-туки, причем лишил он ее невинности, висая на ветке на одной руке и прижимая к себе красавицу Намуки другой. Во время танца Маду очень искусно и наглядно показывал, как Нангу-туки это делал.

Кончилось все обманом. С нашей стороны. Когда мы сказали, что тамтам все равно не купим, потому что у нас не осталось денег, Маду заплакал и заявил, что он выбросит тамтам в море. Мы были непреклонны: «Как хочешь, Маду, но денег у нас нет». Тогда Маду сделал царственную осанку и сказал:

— Тамтам ваш. Но у Маду есть одно условие.

— У нас нет денег, Маду.

— Маду не нужны деньги. Пусть Шеф-муж и Его жена поклонятся духом Уампу-Таки, что выполняет условие Маду.

Спорить было бесполезно. Положив руку на тамтам, как на Конституцию, мы поклялись духом синего желтопузого Уампу-Таки, что выполним условие Маду.

— Вот оно, условие Маду,— сказал Маду.— Когда дух тамтама подарит Шефу-мужу и Его жене маленького теплого сына, прекрасного, как центральная площадь Уасу, Шеф-муж и Его жена назовут его Маду. Пусть Шеф-муж и Его жена клянутся.

— Клянемся! — сказали мы хором. И я по привычке даже отдал Маду пионерский салют.

А что? Маду Владимирович. Не так плохо.

На таможне у нас, разумеется, был перегруз. Из-за тамтама, который оказался очень тяжелым. Вероятно, из-за желтого пуза Уампу-Таки. Мы договорились с каким-то любезным, но уже теплым, как шесть детей Маду, дяденькой, что он переложит тамтам к себе. В самолете про дяденьку мы не помнили, а в Москве забыли окончательно. Вспомнили про тамтам уже дома.

Прошло несколько лет. Что я помню? Венецианские маски? Микеланджелевских качков? Жемчужную предрассветную дымку Тосканы? Рыжий, как моя старая замшевая куртка, Рим? Да, все это я помню.

Но Маду...

Жалко, что у меня нет второго сына по имени Маду.

Кто знает, может, из него вышел бы Пушкин?



## Анатолий БОГАТЫХ

### *СЛАДКОЕ ЗЕМНОЕ ПИТИЁ...*

\* \* \*

Так долго болен, что ни сна, ни сил  
принять бессонницу как указание свыше  
на дар страдания, о коем ты просил  
и про который, радуясь, напишешь.  
Всё бередило душу: вязкий спор  
о зле еврейства для страны — великой,  
засилье рифм на стыках строк и крики  
орды мальчишек, полонившей двор.

Уж полночь. В нежной полумгле пестрят  
немые тени одеянем грубым.  
Прислушаемся, как часы стучат,  
как — обрываясь — лед стучит по трубам.  
Лишь эти звуки. В мире жизни нет.  
Уснуло всё. Громады спящих зданий  
затемнены; чуть брезжит тусклый свет  
шальной звезды, не трогая сознанья.

И не найти забвенья ни в вине,  
ни в женщине, с которой пьешь, тоскуя.  
— Дружок, ты плачешь? Плачешь ты... А мне  
заказано и плакать в ночь такую.  
И час такой врагу не пожелать,  
всю пустоту немых небес измеряя.  
Бродить в тоске — и молча повторять:  
— Приди на помощь моему неверью...  
Возьми талант, поставь беду у двери,  
но отвори молчание свое,  
но возврати горчайшую потерю —  
вкус жизни, сладкое земное питие...

### *Начало*

...Твой непривычно тихий дом.  
И два окна в доме твоём.  
Глухая смежная стена.  
В постели снежной спит страна,  
а в изголовье, у окна  
в Европу, мы сидим вдвоем,  
вино беспошлинное пьем  
в приморской ветреной ночи —  
две странных тени у свечи  
(у колеблемой свечи) —  
великаны-лилипуты:

«Ты меня с другой не путай!  
Страшен час восьмой под утро,  
час, когда над Петербургом  
легкокрылая заря  
снег и наледь января  
осыпает алой пудрой.  
Страшно в час восьмой проснуться

и к чужому повернуться —  
ты меня с другой не путай...»

...И прелесть жалкую ее ночных улыбок,  
и жалость слов о расставанье скором  
(как сердце медленно! как на закате зыбок  
оставленный Петром и Павлом город!) —  
запомнил я, а позабыть не смог,  
и за полночь их видел, слышал за полдень...

Безумной женщины безумное письмо.  
Седьмая заповедь.

\* \* \*

Звук или отзвук странный слышится мне сегодня,—  
кто там зовет меня: давний ли гул времен, посвист ли милой воли,  
Смерть ли моя заблудилась, плутает — беспокойная — плачет,  
кружится в бесконечном ямском безнадежном поле?

Бог весть, что даль таит, и с простотою веры —  
слезу отерев — слезу я, как над землю горчащий стелется дым  
И где-то у окоёма — разлапистый, низкий и серый —  
в сером обвисшем небе прикидывается голубым.

И весело мне жить на свете — воздухом дышать осенним  
да веровать в промысл Господень, да Вышнюю слушаться власть:  
Нести, покуда есть силы, страдательное имя Русский  
и в час — какой мне назначен — под именем этим упасть.

### *Смутно*

Над суетой великих перемен  
спокойно солнце вечное заходит.  
Со мной в угасшем парке ветер бродит  
и ворошит опадший желтый тлен.  
Сиротский запах вянущей травы;  
пьянит настой грибной пахучей прели.  
Пришел октябрь, и птицы отлетели.

И не назвать мне близких словом в ы.

Сам по себе. Страны убитой сын.  
Как грустно мне! Во времени отставший,  
зову людей, столетье прахом ставших,—  
и нет мне отклика живого. Я один.

Но всё не так. И, кажется, не то  
опять писал сегодня; научите!  
Вон человек в гороховом пальто  
за мной идет... а может быть, простите...  
я ошибаюсь...

### *Прощание*

Город, бывший тобой,— да останется так!

...И ночных, неподвижных теней немота  
тишину сторожит,  
и в пролете моста  
желтый бакен, колеблясь и тлея, дрожит,—  
смутный город, что мглой да туманом пронизан,  
между мной и тобой,  
между небом и мной.  
Как он лжив! как он призрачен — город во мгле!  
Как бесплотна взметенная тяжесть карнизов!  
И одно только правда на страшной земле —  
наша смертная близость.

Наше прошлое нищим проходит Сенной,  
наше завтра — Садовой, смиряя надежду.  
Кроме муки земной,  
нет посредника между —  
низким небом и мной;  
между мной и тобой —  
лишь столетье да невский высокий прибор.  
Всё проходит, и наше столетье кончается,  
только рябь — как столетье — в каналах качается  
да в неметчину воды — волна за волной.  
Только тень моя темная полночью маятся  
на Сенной.

Ах, какая высокая, светлая грусть!  
Я когда-нибудь в город болотный вернусь,  
я себя обмануть попытаюсь. И пусть  
в этот город уже никогда не вернусь  
(ибо лик городов — это лица возлюбленных);  
всё равно я увижу — две тени пройдут,  
и в Никольском соборе две свечки зажгут,  
и помолются молча о душах погубленных,—  
кроме муки земной,  
между небом и мной,  
между мной и тобой —  
Божий храм, как на взморье вода, голубой,  
голубой...



*В ЛЕТНИЙ ДОЖДЛИВЫЙ ВЕЧЕР*

РАССКАЗ

Я посмотрел в окно. Маленький школьный дворик был полностью залит дождем, пузырились большие лужи на асфальте, худая и облезлая кошка жалась к мокрой стене.

Во мне вдруг остро возникло чувство собственной неполноценности. Неужели я не такой, как все?.. Неужели я хуже?.. Вот сейчас окончится торжественная часть, двери широко распахнутся, и в коридор выбегут мои одноклассники: шумные, веселые, нарядно одетые, с новенькими аттестатами в руках; в столовой для них уже накрыты столы, и приглашенные музыканты настраивают свои инструменты. Еще каких-нибудь двадцать—тридцать минут — и начнется праздник, на котором я посторонний, никому не нужный человек.

...Выступала круглая отличница Верочка Наумова.

— Дорогие наши учителя, — тоненьким голосом щебетала она, — от имени всего нашего класса и от себя лично я хочу сказать вам, что все мы с глубоким волнением...

Надо было уходить.

Мне совсем не хотелось, чтобы «дорогие выпускники, учителя и родители», выйдя из дверей актового зала, увидели мою потерянную фигуру, одиноко маячившую в коридорном полумраке у дальнего окна.

Я спустился на этаж ниже и вошел в кабинет литературы. Тихонько сел на свое место — за последний стол в среднем ряду. Со всех четырех стен на меня равнодушно смотрели отечественные и зарубежные классики. Им было хорошо. Они давно умерли. И те проблемы, что мучили и волновали их, умерли вместе с ними. И теперь вся жизнь классиков, такая далекая и чужая, казалась нереальной; не верилось, что все они существовали как живые люди, о чем-то говорили, ходили по театрам и в гости, ели, пили, спали... А реальными были этот кабинет, шум ливня за окнами и мое собственное безвыходное положение.

Дождь начал понемногу стихать. Я вышел из кабинета литературы, спустился на самый нижний этаж и мимо раздевалки прошел к выходу.

Дождь едва сеял. Небо не то чтобы полностью очистилось от туч, но несколько просветлело. В конце концов не было еще и восьми вечера.

Что же делать?..

Прислонясь к дверному косяку, я смотрел, как ветер гонял по луже мелкий сор. Отец, наверное, уже пришел с работы, и, конечно же, они сейчас с матерью говорят обо мне. Может, даже сюрприз приготовили в честь моего «успешного» окончания восьмого класса.

Да-а... Я им тоже приготовил сюрприз. Но чем позже я его преподнесу, тем будет лучше.

Для меня.

Пойти в кино? Так я делал, когда надо было сдавать экзамены по тем предметам, что остались на осень. После кинофильма у меня хватало наглости прибегать домой и в радостном возбуждении сообщать о получении четверки, а то и пятерки. Но... сколько веревочке не виться... Теперь был финиш, и мне уже не хотелось, чтобы время пролетело мгновенно (а в кино пролетит мгновенно), а хотелось, чтобы оно текло медленно-медленно, а то и вовсе остановилось.

Сверху послышался отдаленный шум голосов. Значит, торжественная часть закончилась. Быстро они закруглились. Я поспешно вышел на улицу...

Когда школа осталась за тремя поворотами, я пошел медленнее. И сам не заметил, как очутился в городском парке культуры и отдыха.

Давненько я не забредал в эти места. Последний раз меня сюда приводила мама лет десять тому назад. Как было тогда хорошо! Никаких тебе проблем. Все просто и понятно. С синего неба светило красное солнце, играла развеселая музыка, продавали мороженое; в тот день все получалось «по шучьему велению — по моему хотению» — и я катался по кругу на деревянной, выкрашенной в белый цвет лошадке, потом на рыжей лисичке, потом до упаду хохотал над самим собой и над мамой в комнате смеха, потом ел необыкновенно вкусное мороженое в вафельном стаканчике, потом... Сотни милых и дорогих мелочей разом припомнились мне, закружились разноцветным калейдоскопом смеха, шума, солнца, музыки, ощущением какой-то сказочной легкости и беззаботности...

Над моей головой протяжно три раза каркнула ворона и, громко хлопая крыльями, поднялась в воздух. Ветка закачалась, сбросив на меня весь свой запас дождевых капель.

Тихо, словно на кладбище...

Я в задумчивости подошел к ограде, за которой находилась карусель. Первое, что сразу бросилось в глаза, — это та самая белая лошадка, уже давно не белая и с отбитой головой...

Повернувшись, я медленно пошел прочь. Меня вдруг сразу перестала мучить мысль о собственной неполноценности, об экзаменах, о том, что я скажу дома и что за этим последует, — уж, наверное, не похвалят, но я думаю — ведь и не убьют; а потом подойдет эта дурацкая осень, и я сдам эти дурацкие экзамены, которые я мог бы свободно сдать и сейчас, вместе со всеми, не питая ко мне наша красная непонятной неприязни.

Разве в этом дело?.. Разве это главное?.. Главное — что жизнь проходит, а счастья нет... Кто же это сказал, что человек в своей жизни счастлив всего восемь лет: шесть лет до школы и два года, как уйдет на пенсию?.. Почему все, что было *когда-то*, кажется ярким, волнующим, интересным, а все недавнее тянется серой, томительной полосой: не о чем вспомнить, нечему порадоваться...

По небу медленно волочились тучи. Кругом — ни души. Я шел и шел и остановился лишь тогда, когда передо мной возникла избушка на курьих ножках.

Наверное, очень давно, когда ее только-только построили, она вполне соответствовала задумке автора: тир — стилизованный под совсем не страшную, а скорее забавную избушечку на курьих ножках. Но время шло, яркие, веселые краски тускнели, смывались частыми дождями; бревна и доски, некогда новенькие, пахнувшие древесной смолой, отсырели, потрескались, сделались темными; вся избушка скосилась на левую куриную ногу; вывеска под крышей проржавела, и слово «тир» читалось с большим трудом... Короче, в этой избе теперь вполне могла жить какая-нибудь Баба Яга и питаться добрыми молодцами типа меня.

Дверь в избушку была приоткрыта, из неширокой щели тек неяркий электрический свет и слышались голоса. Вернее, один голос. Он что-то напевал. Я прислушался.

Чтоб вольнее гулять,  
Извела меня мать.  
А отец — людоед,  
Обглодал мой скелет...

Я поднялся по ветхим ступенькам, подозрительно легко прогибающимся под моими ногами, и, открыв дверь, оказался в небольшом чистеньком помещении, почти у самых дверей перегороденном, так что для посетителей оставалась небольшая площадка шага два в ширину и шага четыре в длину. На барьере лежали три духовых ружья. Далее шло пустое пространство, оканчивающееся ярко освещенным стендом с мишенями — в основном это были разного рода звери. Справа от входа слегка колыбалась на сквозняке красная занавеска.

Крепкий, широкий в плечах мужчина стоял ко мне спиной и, наклонившись, подкрашивал кисточкой облезлые мишени. Он затынул новую песню, несколько повеселее предыдущей:

Вот умру я, умру,  
похоронят меня...

Но я не дал ему допеть до конца.

— Здрасьте! — громко сказал я. — У вас пострелять можно?

Под потолком кто-то быстро и нечленораздельно забормотал и тут же замолк. Я с испугом вскинул голову. На потолке, конечно, никого не было.

— Не обращайтесь внимания. — Мужчина легко разогнулся. — Это радиоточка. Что-то в динамике заедает — то говорит, то нет. А мне все недосуг посмотреть.

Отложив в сторону кисть и баночку с краской, он подошел к барьеру, на ходу обтирая руки ветошью. Я увидел, что это уже старик лет за шестьдесят. Глядя в его бородатое лицо, я сразу подумал, что где-то уже видел этого человека. Причем совсем недавно.

И тут же вспомнил где. В школе. В кабинете литературы висел его портрет в застекленной раме, как раз между портретами Пушкина и Толстого.

— Вы очень похожи на Федора Михайловича, — сказал я.

— Я и есть Федор Михайлович, — ответил старик.

— На Достоевского, — уточнил я и подумал, что старик сейчас скажет: «А я и есть Достоевский».

Но он не успел. Дверь снова отворилась, и рядом со мной оказался мужчина средних лет в безукоризненно сидящей на нем военной форме, с погонами прапорщика, и девушка, довольно привлекательная на вид.

Федор Михайлович почесал себе шею где-то далеко под бородой и спросил у них:

— Пострелять желаете?

— Так точно! — звонко отрубил прапорщик и, подняв фуражку над головой, провел ладонью по уже и без того зализанным волосам.

— Маша, ты не хочешь пострелять? — обратился он к своей спутнице.

Маша явно не хотела. Недовольно поджав губы, она демонстративно отвернулась к плакату с надписью: «Учитесь метко стрелять!»

Прапорщик взял в руки одно ружье, другое, каждый раз с видом знатока примеряя приклад к плечу и прицеливаясь.

— На службе, наверное, часто приходится иметь дело с оружием? — доброжелательно поинтересовался Федор Михайлович.

Этот вопрос почему-то задел прапорщика. Он долгим и, как мне показалось, вызывающим взглядом посмотрел на старика.

Сухо ответил:

— Вообще не приходится. Я служу по хозяйственной части. Не дай солдату теплых портянок, не накорми его, он вам ни о какой технике думать не станет. А одень его, накорми, напои — тогда и все остальное приложится. Вы что ж думаете, если...

— Го-осподи, как мне надоели твои мазохистские комплексы! — недовольно перебила его Маша. — Никто не виноват, что ты такой непробивной.

Прапорщик побагровел от этих слов и в сердцах грохнул ружьем о поверхность барьера.

— Эй, эй! — с опозданием предостерег Федор Михайлович. — Поосторожнее с казенным имуществом.

Но прапорщик на него уже не смотрел, злобно уставившись в Машину спину (она так и не повернулась от плаката).

— Мазохистские комплексы! — передразнил он ее. — Не строй из себя шибко грамотную-то.

— А я и не строю!

— Ну вот и не строй! — возвысил прапорщик голос почти до крика.

Маша раздраженно пожала плечами и ничего не ответила.

— Вам сколько пуль-то дать? — спросил Федор Михайлович.

— А сколько у вас мишеней? — очень быстро успокоился прапорщик.

Федор Михайлович посмотрел на стэнд. Что-то прикинул в уме.

— Да штук тридцать наберется.

— Ага, — сказал прапорщик. — А если я, положим, их собью, мне что-нибудь за это полагается? Ну там... — Он наморщил лоб, затрудняясь до конца выразить свою мысль.

— Полагается. Призовая игра.

— Это как это?

— Собьете — узнаете.

— Ага, — понимающе покивал головой прапорщик. — Послушайте, где-то я вас уже видел. Вы случайно не отставник? В армии не служили?

— Это же Федор Михайлович, — сказал я. — Достоевский. Не узнаете, что ли?

— Достоевский умер в тысяча восемьсот восемьдесят первом году, — показала Маша свои глубокие познания в области отечественной литературы.

— Это мы с вами умрем, а Федор Михайлович будет жить вечно!

Федор Михайлович одобрительно хмыкнул.

— Нет, где-то я вас все-таки видел, — не унимался прапорщик. — Вот теперь буду мучиться, пока не вспомню.

Федор Михайлович отсчитал ему десятка три пуль и деловито обратился ко мне:

— А вам сколько?

— Нисколько, — сказал я.

У меня что-то пропала всякая охота стрелять.

— Что ж так?

— Меня оставили на осень в восьмом классе, — неожиданно для самого себя брякнул я.

— Двоечник, значит, — мельком глянув на меня поверх приклада ружья, сказал прапорщик.

— То, что вас оставили на осень, конечно, очень печально, однако это еще не повод для отказа пострелять в тире, — философски рассудил Федор Михайлович. — Отсчитаю вам десять пуль.

Мы с прапорщиком принялись за мишени. Я очень скоро послал все свои заряды за «молоком», не испытывая при этом особого расстройства, и присоединился к Федору Михайловичу, который молча наблюдал за стрельбой прапорщика. Маша все продолжала изучать плакат.

Прапорщик между тем ловко щелкал одну мишень за другой и очень быстро добрался до последней. Он уже готовился поразить и ее, как вдруг из динамика раздался убежденный бас: «Все мы знаем, что религия...»

Маша слегка ойкнула от неожиданности.

— Вспомнил! — перестав целиться, радостно воскликнул прапорщик. — Я вас видел в церкви. В Воронеже. Я туда ездил за молодым пополнением. Ну и зашел для любопытства. Вы поп!..

— Так точно! — звонко отрубил Федор Михайлович.

— То-то я смотрю, морда знакомая.

— Па-аша, — укоризненно протянула Маша.

— Отставить! — сам себе скомандовал прапорщик. — Извиняюсь, конечно. Там еще памятник рядом с церковью какому-то мужику. Этому... как его... черт...

— Кольцову, — подсказал Федор Михайлович.

— Да, да, да! — Полное лицо прапорщика светилось от счастья. — Уф! Все, теперь вспомнил. Ну колитесь, колитесь! Вы это были или не вы?



— А-а! — с веселым отчаянием взмахнул рукой Федор Михайлович. — Погибать, так с музыкой! Я!

— То-то же, — сказал прапорщик, чрезвычайно довольный собой. — Что, выгнали? Небось за пьянку?

— Да нет, сам ушел. На пенсию.

— На пенсию... — Прапорщик недоверчиво улыбался. — У вас что же, там и пенсии дают?

— Как в армии, — спокойно отвечал Федор Михайлович. — Отработал двадцать пять лет — получай. Еще и ценным подарком наградили за безупречную службу.

— Да-а. А что за подарок? — заинтересовался прапорщик. — Библия?

— Не угадали. Собрание сочинений Дарвина на казахском языке.

— Хе-хе-хе! — посмеялся прапорщик. — Да вы шутник.

И, снова поставив локти на обитую листовой фанерой поверхность барьера, начал тщательно прицеливаться. Он целился и нервно хихикал. Руки у него слегка подрагивали. На лбу, под блестящим черным козырьком съехавшей к затылку фуражки (он почему-то ее не снял), выступили мелкие капельки пота.

Последней нетронутой мишенью оставалась «музыкальная шкатулка» — красного цвета ящичек с желтым кружочком на одной из сторон. В этот-то кружочек и следовало попасть.

«Массовый сев гречихи начался в Приморье», — жизнерадостно сообщил динамик.

— Мать твою так! Убавьте громкость! — резко распрямылся прапорщик. В ту же секунду динамик выжидательно затих.

Прапорщик снова начал целиться. Он так долго елозил локтями по фанере, закрывая то правый, то левый глаз, что я потерял всякую надежду, что он вообще сегодня выстрелит.

Федор Михайлович неторопливо набивал трубку табаком. Маша к тому времени уже вышла на крыльцо и стояла там, спиной к открытым дверям тира.

**БАЦ!! ЦЗИНЬ!!!**

— Есть контакт! — торжествующе выкрикнул прапорщик, победно воздев обе руки над головой.

Магнитофон, спрятанный где-то за красной занавеской и соединенный шнуром с «музыкальной шкатулкой», придавленно вскрикнул хриплым бесполом голосом.

Это и был приз за меткое попадание. Модная новинка летнего сезона.

Сон и смерть!

А может быть, одно и то же?! —

на последнем издыхании вытянул женский голос (теперь можно было разоб-  
раться, что женский); его тут же поддержала полупохоронная мелодия, под кото-  
рую певица провела еще несколько строк:

Спящие и мертвые похожи!

Не волнуют их земные страсти!

Их не тянет ни к деньгам, ни к власти!..

Невольно создавалось впечатление, что прапорщик попал не в «музыкаль-  
ную шкатулку», а ненароком угодил прямиком в певицу, причем не крохотной  
пулькой, а всадил по меньшей мере автоматную очередь, — с таким трудом и с  
такой придавленной тоской выводила она каждое слово песни.

И оборвалось...

Раскачивалась под ветром входная дверь, то закрывая от нас Машу, то от-  
крывая. Шумела листва на деревьях. Пели птицы. Поскрипывали вдалеке каче-  
ли. В помещении тира пахло порохом и кровью. Десятка три ни в чем не повин-

ных жестяных зверюшек: зайцев, оленей, волков и прочих наших братьев меньших, — безжизненно висели вниз головами.

— Призовая игра! — торжественно провозгласил Федор Михайлович и сделал широкий приглашающий жест в сторону красной занавески. — Прошу!

— Маша, ты не желаешь? — еще не остывшим от бойни голосом окликнул девушку прапорщик.

Она даже не обернулась на его зов, продолжая с молчаливой сосредоточенностью смотреть куда-то впереди себя.

Прапорщик не стал настаивать и вслед за Федором Михайловичем быстро нырнул за красную занавеску. Послышался звон посуды. Призовая игра началась!

Я остался в одиночестве. Вдруг передо мной возникло рассерженное лицо Маши. Щеки у нее горели.

— Вы не хотите прогуляться по парку? — громко, чтобы услышал прапорщик, спросила она и, не дожидаясь ответа, схватила меня за руку и поволокла (именно поволокла) к выходу. У нее оказались на удивление сильные и цепкие пальцы.

— Эй! — выглянула на секунду голова прапорщика из-за занавески. — Не очень долго там... Не забывай, у нас на десять билеты в кино.

— Это мое дело! — отвечала Маша. — Во сколько захочу, во столько и приду. Я тебе пока что не жена!..

Она уже тащила меня по дорожке.

Мы в быстром темпе пробежали шагов пятнадцать. Мне это наконец надоело. Я энергично принялся вырываться.

— Послушайте, куда вы меня тащите?! Отпустите сейчас же!

Маша опомнилась и отпустила мою руку. Я начал разминать онемевшие пальцы.

— Извините, — тихо сказала она.

Теперь мы медленно шли друг подле друга по одной из боковых дорожек парка. Дождь перестал окончательно. С густой листвы над нашими головами при сильных порывах ветра скатывались капли воды. На дорожке мутнело множество луж.

Ни слова не говоря, Маша взяла меня под руку и так крепко прижалась, что я почувствовал ее грудь. До этого я еще ни с кем подобным образом не ходил.

Было вообще-то прохладно, как всегда бывает после обильного и холодного ливня; одежка на мне легонькая: брючки, рубашка, куртка летняя из тонкой материи, — но меня всего так жаром и окатило. Я чуть не влетел ногой в здоровенную лужищу.

— Осторожно, — шепнула Маша мне в самое ухо, и я в смятении почувствовал секундное прикосновение мягких и теплых губ.

«Спокойно. Держи себя в руках, — без конца повторял я себе. — Не теряй головы. Ведь это она своему прапорщику за что-то мстит. Ты здесь совершенно ни при чем. Просто под руку подвернулся. На твоём месте мог оказаться любой, даже Федор Михайлович».

Мы остановились. Маша, не вынимая правой руки из-под моего локтя, левой ласково потрепала мои волосы:

— Замерз, бедняжка.

Меня и вправду всего трясло. Зачем мы остановились?.. Как с собакой разговаривает, стерва!.. Сейчас она начнет меня целовать... Мысли путались и бежали с огромной скоростью. В груди все сладко замирало в ожидании.

Но Маша неожиданно спросила:

— Какое у тебя самое заветное желание в жизни?

**ДУРАК, НЕ ГОВОРИ! ВЫДУМАЙ ЧТО-НИБУДЬ!**

— Я хочу стать великим поэтом. Как Пушкин!

Я готов был расстрелять себя на месте без суда и следствия. Это была моя самая сокровенная тайна. Я не то что другим, себе и то порой боялся признать-

ся в своем желании. Я скрывал это как только мог. Вслух всегда с пренебрежением отзывался о поэзии, вообще о литературе, а в тишине и одиночестве задыхался от волнения и радости, шепча стихи любимых поэтов.

А тут — на тебе: выболтал свою тайну первому встречному, да вдобавок еще и бабе.

Собственная глупость была столь очевидна, что я слегка опомнился. Чтобы избежать новых вопросов и как-то загладить совершенную ошибку, я решил сам задавать вопросы.

— А какое твое самое заветное желание? — спросил я.

— Выйти замуж, — коротко бросила Маша и больше ничего не добавила.

Нависла пауза...

Я лихорадочно соображал, что бы у нее еще такое спросить. Но как назло в голове была совершенная пустота.

— А какая у тебя цель в жизни? — спросил я.

— Выйти замуж, — снова ответила Маша.

— Ты это уже говорила, — напомнил я ей.

— Это и цель, и желание, и все что угодно. Восемнадцать лет для девушки, если хочешь знать, самый ответственный период в жизни. Здесь главное — не промахнуться, поставить правильно...

— Прямо как на скачках, — вставил я.

Она не обратила на мои слова никакого внимания.

— Не ошибешься — вся дальнейшая жизнь пойдет как по маслу. А ошибешься... — Маша помолчала. — Это мужчина может найти свое счастье и в работе, и в рыбалке, да в чем хочешь... А для женщины неудачный выбор — это крест. Когда еще второго повстречаешь и повстречаешь ли — вот вопрос. Да и опять же — на кого нарвешься.

— Так тебе восемнадцать лет?

Маша посмотрела мне прямо в глаза. Взгляд ее был кристально чист и честен.

— Многие девушки занижают свой возраст, — сказала она. — Но я не люблю врать. Говорю всегда правду, даже когда мне это и невыгодно. Мне двадцать лет, а что?..

— Да нет, — сказал я, — ничего.

Выглядела она на четвертак, не меньше.

— Выходит, ты уже проскочила? — поспешил спросить я, потому что больно уж неубедительно прозвучали мои предыдущие слова.

— Ничего не проскочила! — решительно тряхнула она головой. — Год сюда, год туда роли не играет. Важен сам период: восемнадцать—девятнадцать—двадцать лет.

Я с радостью начинал ощущать, как ситуация потихоньку переходит в мои руки, как маленькая буря, вызванная в моей душе новизной впечатлений, постепенно утихает, превращаясь в мертвый штиль.

— А ты уверена, что на того поставила? — почти покровительственным тоном задал я следующий вопрос.

— Трудно сейчас судить. — Она сделала небольшую паузу, словно раздумывая, говорить дальше или не стоит. — Вообще-то Паша *относительно* хороший человек, хотя и прапор, но у него имеется один существенный недостаток.

— Живет долго, — подсказал я и расхохотался.

С каждой минутой на душе становилось легче и свободней. Я уже вполне освоился с теплым Машиным боком. Она без улыбки, терпеливо переживала мой приступ веселья. Это был наверняка нервный приступ, потому что с чего бы мне веселиться? На осень оставили, дома весь изоврался...

— Да, один недостаток, — как бы для себя повторила она. — Паша не очень образованный, а лучше сказать — вообще темный, как подвал...

— Так ты что, по расчету замуж выходишь?

— Не по расчету, но с расчетом... Да, мне хочется красиво одеваться, иметь просторную квартиру, дачу, куда бы я смогла выезжать на собственной машине... Правда, он любит иной раз покомандовать. Ну что ж, пусть командует, раз уж его в армии так приучили. Пускай командует. Женщине даже необходимо, чтобы ею кто-то командовал. В разумных пределах, конечно. Но пусть за это даст мне все, что я хочу. А я хочу жить хорошо. Разве жить хорошо — это плохо?.. Вот ты чего хочешь?

Мы снова возвращались к исходному вопросу, однако под другим углом.

Чего я хочу?.. Я подумал и опять решил сказать правду. Сегодня я только и делал, что говорил правду.

— Я хочу уехать в Мурманск и поступить на рыболовный траулер. Хочу в море рыбу ловить.

Маша смотрела на меня, как на идиота. А что, если я и на самом деле этого хотел, по крайней мере сегодня.

— Сколько тебе лет? — помолчав, спросила она.

— Ну-у шестнадцать... скоро будет.

Она вздохнула.

— Тогда понятно.

— Что понятно?

Маша ничего не ответила. Дорожка, по которой мы шли, резко завернула вправо, деревья расступились, и мы вышли к «чертову колесу», комнате смеха и пивному ларьку. В дверном вырезе ларька стоял здоровенный парень в белом халате. Это был Эдик. Он учился в соседней школе, и его в прошлом году, так же как меня в нынешнем, оставили на осень, правда, не в восьмом, а в десятом классе.

— Привет, Эдик! — сказал я, когда мы с ним поравнялись.

Эдик повернул голову и посмотрел на меня, не узнавая. Но все же поздоровался:

— Привет!

— Что-то у тебя народу негусто.

— Дождь, — лаконично сообщил он и, подумав немного, добавил: — Слушай, а что если я у тебя десятку займу? До завтра.

И взгляд у него мгновенно сделался грустный-прегрустный, точно у побитой собаки.

— Бабуля заболела, лекарства надо купить. — В его голосе явственно прозвучали щемящие нотки.

Десятки у меня не было, так же как, впрочем, и бабули у Эдика.

Грустные глаза посмотрели на Машу. Но и с ней этот номер не прошел.

— Вот еще! — раздраженно дернула она плечами. — Нашел миллионершу! У жены своей бери!

И, резко повернувшись, Маша быстро пошла по дорожке в сторону тира.

— Сучка, — вслед ей меланхолично произнес Эдик. — Я же ей даже слова не успел сказать.

— А меня на осень оставили, — не сумел я удержаться, чтобы лишний раз не задеть кровоточащей раны. — Сразу по трем предметам.

— Ерунда все это, — сказал Эдик, доставая из кармана пачку американских сигарет. — Много знать вредно. Кто увеличивает знания — увеличивает скорбь. Я не поверил своим ушам.

— Как, как?

— А вот так! — Он закурил. — Я говорю, туфта это, плюнь и не ходи осенью сдавать. Не знали ничего, и это не знания.

Я побежал догонять Машу. На бегу я почему-то вспомнил, что сам Эдик так в августе и не стал сдавать экзамены, а вместо этого пошел торговать в парк пивом.

Маша больше не стала брать меня под руку. Покосившись в мою сторону, она только спросила:

— А о чем ты, собственно, пишешь стихи?

— Настоящий поэт пишет только о себе. Он свою личную боль делает общественной болью,— произнес я с уверенностью вычитанные в какой-то книге слова.

— Во-от как! — протянула она.— Интересно.

Я снова почувствовал, что начинаю волноваться. Но уже по другому поводу. Впервые в жизни я говорил о своих стихах с другим человеком.

— Почитай что-нибудь.

Я с трепетом ждал этих слов. Но, когда они прозвучали, понял, что не осмелюсь читать свои стихи... И я прочел одно из стихотворений Исикавы Такубоки. Самое любимое. В конце концов какая разница: свое — не свое. Прекрасное не может быть чьим-то достоянием. Оно должно принадлежать всем.

Я прочел:

— Слово где-то  
Тонко плачет  
Цикада...  
Так грустно  
У меня на душе.

И замолчал. Маша тоже молчала. «Проняло,— радостно пронеслось у меня в голове,— никак опомниться не может...»

В полном молчании мы прошли шагов двадцать.

— Ну? — с недоумением глянула она на меня.

— Что ну? — с недоумением глянул я на нее.

— А дальше?

— Все.

— Как все?.. Это что, стихи, что ли? — Она удивленно расширила глаза.— Да я таких миллион могу сочинить. Нескладуха какая-то!

— Чего? — почти с ненавистью спросил я. Радости во мне как не бывало.

— Ну...— Она неопределенно пошевелила пальцами на руках.— Нескладуха, понимаешь?

— Дура! — невольно вырвалось у меня.

— Сам ты дурак и не лечишься!

Мы подходили к тире.

На крыльце нас поджидал прапорщик. Форма на нем сидела уже не так безукоризненно, как при первом появлении. Фуражку он вовсе держал в руке и обмахивался ею, словно веером.

Я сделал несколько строевых шагов вперед и доложил:

— Товарищ прапорщик! За время вашего отсутствия происшествий не случилось! Товар доставлен в целостности и сохранности!

Не отнимая пальцев правой руки от виска, я левой указал в сторону Маши.

Прапорщик быстро нацепил фуражку на голову (козырек как раз пришелся над левым ухом) и вытянулся по стойке «смирно».

— Во-ольно! — молодежато скомандовал он.

— Воль-но! — прокричал я.

— Идиоты! — сказала Маша, надменно повея подбородком.

В дверях появился Федор Михайлович. Я оглядел его с ног до головы. Все в нем осталось по-прежнему. Величавая походка, величавая осанка, величавое выражение лица.

Маша, в свою очередь, оглядела с ног до головы будущего супруга.

— Ты что, напился? — спросила она, хотя и так все было видно.

— Спокойно, Маша,— глупо ухмыльнулся прапорщик,— я Дубровский!

— Ты же обещал, что не будешь больше пить! — Голос ее отчетливо наливался злостью.

— Мо-олчать! — гаркнул прапорщик, и лицо его вмиг посуровело.

Он стремительно сорвался с крыльца и подлетел к Маше. Навис над нею коршуном.

— А ты где была, а? Куда ходила?! Чем занималась?! Я тебя битый час здесь дожидаясь! Отвечай, когда спрашивают!

И не столько действительно был рассержен прапорщик ее отсутствием, сколько приводил в действие хорошо им усвоенную инструкцию военного искусства: лучшая форма защиты есть нападение.

Маша сразу заметно поутихла. И я понял, что пока прапорщик командовал в «разумных пределах».

— Стихи мне свои читал,— сказала она, словно жалуясь.

— Стихи? Какие стихи? Я люблю стихи. Сам пером баловался. Ну-ка прочти,— не попросил, а приказал он.

Я не стал ломаться. Глубоко вобрав в легкие сыроватый вечерний воздух парка, с чувством продекламировал:

— Голые бабы по небу летят!  
В баню попал реактивный снаряд!

— Сильно! — похвалил меня прапорщик. Глянул на часы.— Ну нам пора. Время... Товарищ Достоевский,— пожал он руку Федору Михайловичу.— Двоечник,— пожал и мне руку, добавив при этом: — Смотри, учись хорошо. Родине нужны грамотные солдаты.

— Какие его годы, выучится еще,— ответил за меня Федор Михайлович.

И они ушли.

Федор Михайлович неторопливо сплюнул на землю, и, глянув на небо, все в серых, низко нависающих над землей тучах, задумчиво произнес:

— Две загадки будут постоянно волновать человечество: звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас.

Снова начинал накрапывать несильный дождик.

*г. Санкт-Петербург*



## ТРАМВАЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

\* \* \*

Когда усядусь я, пещерный, вру, трамвайный,  
 Сухого электричества глотнувший,  
 (Горсть электронов про запас в кармане  
 И хорошо отрегулированный датчик  
 Дневного бдения), пусть меня покажут  
 Всем жителям, по городу снующим.  
 Я с ними поделюсь своим лицом  
 И новыми ботинками, и шубой,  
 И пульсом, бьющимся в запястьях рук.  
 Надев кольцо трамвайное на палец  
 И заключив полгорода в объятия,  
 Я прохожу, прошу заметить, дважды  
 В отодвигающуюся, на манер японских,  
 Стекло-металлическую дверь.  
 Как некогда Христос бродил по водам,  
 Так я благодаря великим силам  
 Тренья, гравитации и веры  
 Пройду по крепкому зернистому асфальту.  
 Пернатым выкормив остаток электронов  
 (Как все же мало в городе кормушек),  
 О воздух вытерев испачканные руки,  
 Иду, ступая в собственную тень.  
 И, наслаждаясь каменным пейзажем,  
 Я загоняю собственное тело,  
 Как стадо взрослых мамонтов,— пещерный,  
 Нет, вру, читай — трамвайный человек.

\* \* \*

...И вышел прочь, швыряя тень  
 На кожу голую асфальта.  
 Башкой о солнце бился день,  
 И голуби крутили сальто.

Бездонная, текла любовь,  
 Бездомнее земли и неба.  
 И я бросал ей корки хлеба,  
 Корыстные, как дар волхвов.

Я рассказал ей про себя.  
 Что был как лед, что стал как пламень.  
 Потом присел на черный камень,  
 Любовь за ухо теребя.

Я рассказал ей обо всем,  
 Решив на случай полагаться.  
 Но вытесняемый объем  
 Не соглашался вытесняться.

Я оскорбительно иной  
 Представил правду человека.

И птицы зрели надо мной  
На расстоянии парсека.

И шмель, как сытый дирижер,  
Бурчал свое: до-ре, до-ля-ми.  
И день, как опытный жонглер,  
Бросался в небо голубями...

\* \* \*

Разломан мир. Тоскующий бандит,  
С неведомых канопусов сошедший.  
Какой рукой заложен динамит  
В твоей палитре сумасшедшей?

Закрыв глаза, ты пресекаешь свет.  
Ты форму трогаешь, как трогают калеку.  
И кисть твоя — тяжелый пистолет —  
Скребет висок испуганному веку.

Что там внутри — у полости во рту,  
У подлости — в ее крошечной тубе?  
И, как струну, ты дергаешь черту  
И на свечу напяливаешь губы.

\* \* \*

Затяжка, словно огненная спица,  
Прошла сквозь легкие и уперлась в живот.  
Себя меняю, борзописца,  
На самого себя — иконописца,  
Меняю пару туфель на киот.

Пусть смотрит, Отче, сквозь махорку щурясь,  
На бледное на чадо на свое:  
На тюбик легких я давлю, сутулясь,  
И в форточку удушье душных улиц  
Я временно пускаю на жильё —

Пусть прячется за поясом халата  
И дышит за спиной в радикулит...  
Я в зеркало гляжуся воровато,  
А в зеркале висит лицо Сократа  
И укусить иль плюнуть норовит...

\* \* \*

Я перевел свой тихий бред  
На шелковый язык мороза.  
Ночного неба ломкий свет  
Теперь читается, как проза.

Ночного неба шаткий круг  
Раскрылся чуткому пилоту.



И я услышал этот звук  
И обнажил восьмую ноту:

Она присутствует в невысиженных яйцах,  
Когда птенцы лишь пробуют сезам...  
Мороз ломает слайды в крепких пальцах  
И трещину проводит по глазам.

\* \* \*

Ресниц тяжелая туманность  
И век прикрытых желтизна.  
И сна неясная реальность  
Реальней времени без сна.

Полдня на то, чтобы проснуться  
И взять до головы и в толк,  
Что чашка лязгает о блюде,  
Как лязгает зубами волк.

Несуществующих нарядов  
Ложится тонко волокно  
На лежбище усталых взглядов —  
Миролюбивое окно.

г. Омск



## Александр АНТОНОВ

## БЛОХОЛОВ

## РАССКАЗ

Пальцы его, тонкие и быстрые, были словно созданы для этой работы. Их мягкая сила таила в себе нечто благородное и дикое одновременно.

Говорили, что когда-то, еще до того, как его стали называть Блохоловом, он жил в другом городе, имел имя, семью, друзей и врагов... Жил, пока не случилось... (о, что случилось, каждый пересказывал на свой лад, а вернее, врал, исходя из богатства своего языка и сердца). Впрочем, все это были лишь догадки, слухи, успокоительные для горожан и необременительные для самого Блохолова.

Жил он одиноко в самом центре города, среди житейской суеты людского сообщества, сцепленного бетоном, теплом и страстями. Жил в полуподвальчике старого домика из бледно-желтого кирпича с красными прожилками карнизов. Прописан не был, но и властями не потревожен, ибо считался помешанным.

Воду брал на колонке, хлеб и молоко — в соседнем магазинчике. За единственную лампочку в своем жилище не платил — счетчика не было, дверь не запирали — не было замка, а было всего ничего — одна кровать на стонущих пружинах, измочаленный матрац с нелепой бесформенной подушкой, шерстяное одеяло, пораненное кое-где молью, постельное белье, застиранное и перелатанное, но всегда на удивление опрятное, далее у кирпичной, вечно сырой стены притулилась грубая, самодельная скамья сотоварищи — узким печальным столом, покрытым тусклой клеенкой. Были и еще какие-то мелочи, но Блохолов пользовался ими, вовсе не замечая их существования.

Дни Блохолова походили один на другой, то есть не были значимы для него и не имели перед ним своего лица. И каждое утро Блохолова начиналось с тишины, мертвой тишины, поднимавшей его и бывшей не столько признаком старой болезни, сколько самым точным будильником на свете. Как только он переставал слышать свой сон, шум улицы и себя самого, так в то же мгновение серо-голубые глаза его широко раскрывались, и постепенно звуки проникали в него волна за волной — голосами, шорохами, гудками. Что ему снилось?! О чем он думал?! Никто этого не знал, но, вероятно, нечто очень важное, не позволявшее ему разговаривать с кем-либо, улыбаться и даже смотреть в глаза случайным посетителям его убежища.

Что же касается нелепого прозвища, то оно вместе с удивительной профессией свалилось на него нежданно-негаданно лет пятнадцать назад, по весне, когда он впервые появился в городе.

Тогда все было немножко иначе...

Он кочевал по городам, подвалам, дорогам, питаясь чем-то немислимым, вроде «манны небесной», но в этом городе ему случилось заболеть. Месяц он надеялся на скорую смерть или быстрое выздоровление, и, хотя ни того, ни другого с ним не произошло, он вдруг перестал испытывать желание уйти, затеряться, исчезнуть. Он остался в городе, а вместе с ним остались его сны, начинавшаяся глухота и еще что-то, от чего он так и не сумел скрыться.

Той весной он часто бесцельно бродил вокруг города, по пустырям, свалкам, не замечая нарастающей тяжести липкой грязи на разбитых башмаках. Плутая, заходил в случайные деревеньки и, остановленный отъявленно благодушным лаем, удивленно озирался вокруг, близоруко щурился на окружающих его с разных сторон лохматых воинов и дружелюбно улыбался им... А чуть погодя продолжал свой путь, сопровождаемый отрядом хвостатых телохранителей, искренне преданных ему аж до соседней деревни, где Блохолова поджидал еще более грозный рык разномастных язычников, жаждущих обращения.

Однажды на одной из таких прогулок Блохолова беспричинно и остервенело

облаяла маленькая, откровенно голубых кровей собачонка. Ее смущенная хозяйка пыталась усмирить и пристыдить разбушевавшуюся леди, одновременно сконфуженно оправдываясь перед замершим в недоумении прохожим. Но тот, к ее удивлению, молча сел на корточки и властно протянул свои руки к собаке, которая вдруг примолкла, потупилась и бочком засемила к этому совершенно чужому человеку, бессовестно игнорируя все «фукающие» предупреждения. «Фу-чужой» же стал оглаживать и ощупывать тщедушное тельце капризули и даже как будто нащепывать что-то в собачьи уши.

Все это произвело на хозяйку самое неблагоприятное впечатление, ибо она не раз слышала жуткие истории про зловещих живодеров, кравших домашних собачек ради десятка пирожков и дешевых шкурок на продажу! Однако, как только Блохолов выпустил вздорницу из своих рук, все страхи развеялись. Лохматую леди словно подменили — виляющий хвост и сияющие под вуалью челки глаза служили тому живым свидетельством. Хозяйка только всплеснула руками. Ну а пока она умилялась своей любимице, незнакомец тихо скрылся в сумеречном, еще не разбухшем первом теплом осиннике.

Затем подобные истории стали частенько повторяться на городских пустырях. Один и тот же, по описаниям, человек, наткнувшись на нелюбезность выгуливаемых собак, в мгновение ока, двумя-тремя прикосновениями превращал их в сущих ангелов. Более того, находились живые свидетели, замечавшие, как неизвестный не только успокаивал, но и излечивал собак от тех или иных каверзных болезней. Постепенно загадочный врачеватель оброс легендами и приобрел, сам того не желая, почти мистический авторитет и популярность в среде собаководовладельцев.

Когда же случайно обнаружился подвал, в котором Блохолов обитал, к нему, не считаясь ни со временем, ни с приличиями, потянулись целые кортежи неожиданных гостей.

С этого, собственно, и началась его жизнь в городе, а забавное имя возникло чуть позже, из одной замеченной многими странности.

Когда к нему приводили, к примеру, печального пса, измученного не столько блохами, сколько добродетельными попытками-попытками от них избавиться, Блохолов поступал следующим образом: он не убивал виновников болезни, а бережно помещал их в стеклянную литровую банку из-под помидоров, тщательно закрывал ее ветхой желтой марлей, а вечером, отправляясь на свою обычную прогулку, брал банку с собой и где-то за пустырями в высокой траве отпускал маленьких кровопийц на волю. Вернувшись домой, он ополаскивал банку, чтоб на следующий день вновь наполнить ее. Зачем он все это делал, было известно лишь ему одному.

Была у него еще одна странность, проявившаяся не сразу, а лишь после одного случая... О случае этом стоит упомянуть особо, ибо он сильно повлиял на все течение жизни Блохолова, притом самым странным образом.

В тот день Блохолов, по обыкновению сгорбившись, сидел на табурете и внимательно исследовал шелковистую саванну собачьей шерсти, разостлавшуюся перед ним. При каждом неожиданном прыжке его сильных пальцев широкая спина ньюфаундленда вздрагивала и волновалась, словно от резких порывов ветра. Хозяин собаки, ерзавший на самом краю скамейки, неусыпно следил за всеми движениями Блохолова и всякий раз, когда собака вздрагивала или вопрошающе склоняла добрую морду в его сторону, успокоительно покашливал и приговаривал: «Ну, ну, Франт, спокойно, спокойно, уже скоро».

Справедливости ради стоит заметить, что слова эти были нужны не ньюфаундленду, а самому говорящему, так как отрешенность Блохолова, его странное молчание и загадочная власть над суровой собакой тревожили этого человека, да и не его первого.

Пока Блохолов занимался своим обычным делом, за окнами раздавалось грозное урчание, и колеса подъехавшего к дому грузовика раздавили неосто-

рожное солнце, до того освещавшее подвал. Хозяин собаки в испуге подскочил и кинулся в сторону выключателя. Свет, лениво поморгав, ожил, а во дворе уже что-то грохотало, кто-то ругался сквозь зубы, испуганно стонали двери. Затем на лестнице женский голос заискивающе умолял: «Пожалуйста! Вот так, вот так, да... еще чуть-чуть... Осторожно! Сюда, в эту дверь, только не уроните!»

Слышны были шарканье и чье-то усталое кряхтенье. Наконец, после всего этого тарарама наступила тишина.

Тишина — подобная неглубокому ущелью меж двух вершин беспокойства. Первая вершина, состоявшая из уличных криков, хлопанья дверей и силового дыхания хозяина ньюфаундленда, не была страшна Блохолову, тогда как вторая...

Вторая оказалась Музыкой. Перед ее явлением Блохолов успел проводить повеселевшего ньюфаундленда с его суетливым хозяином, принять двух фокстерьеров и молча пропустить мимо ушей сетования их говорливой хозяйки, удрученной глупостью мужа, невестки, соседей и своих многочисленных знакомых, успел даже сходить через дорогу в магазин за молоком на утро и кефиром на вечер, успел все, кроме одного — выбежать вон! уйти из своего подвала и по-прежнему пребывать в покойном состоянии сомнамбулы.

Разумеется, музыку Блохолов слышал и до этого дня, но она как-то не касалась его и была просто частью всего остального мира. Что-то охраняло его внутренний покой, пропускало сквозь него все без остатка, и никак не ждал он того, что именно в этот вечер Музыка останется в нем, обретет голос и станет явью. Он уже было накинул на плечи выдавшую всякие виды шинель грязно-песочного цвета, взял в руки заветный сосуд, поднял его к свету и, прищурившись, посмотрел на своих маленьких пленников, затем повернулся к двери, шагнул и... остолбенел.

Откуда-то сверху острым градом посыпались рваные хаотичные звуки, словно кто-то усердно заколотил ладошкой по всем клавишам мира. В испуге выронив банку, Блохолов обхватил голову руками, пытаясь закрыться от рвущих звуков, и стал судорожно искать глазами источник этой страшной боли.

Но боль все усиливалась, крепла. Безумием наливались его глаза, руки все сильнее стискивали голову так, что дужки очков погнулись и жарко впечатались в ложбинки висков. Лицо стало опалово-серым, а пересохшие губы по-рыбьи безмолвно шевелились. Внезапно водопад аккордов иссяк, и Блохолов, окончательно ошеломленный этим контрастом, как-то криво осел на пол, прямо в осколки и серые скопления блох. Слезы одна за другой покатались из его глаз, вместе с ними исходили боль и безумие, он начал прозревать и наконец очнулся. Самое страшное осталось позади.

С тех пор прошло без малого десять лет... Подобные припадки больше его не беспокоили, словно та спасительная пауза сумела загнать и боль, и страх куда-то далеко, в недосягаемый для Музыки темный угол.

Но, странное дело, пережив это потрясение, Блохолов стал истым фанатиком всякого гармоничного звука. Куда бы ни шел он теперь, что бы ни делал, Музыка всегда была где-то рядом, заставляла его застыть на месте, окликая его то из проехавшей мимо машины, то из чужого окна, то вдруг осторожным огнем трогала откуда-то изнутри, касалась, чуть опаляла и уходила обратно в никуда. Впервые те из горожан, что приходили к нему, стали замечать в нем какой-то проблеск разумного желания. В нем что-то развернулось, дрогнуло, вздохнуло.

Теперь даже блох он ловил иначе. Музыка, та, что просачивалась сверху, и та, что проникала изнутри, завораживала его, и он уже не охотился, не гонялся за блохами, а играл, повторял пальцами на собачьей шкуре те волшебные мелодии, что слышал за день, попутно извлекая из шерсти непрошенных слушателей. Собаки, как правило, в такие «музыкальные моменты» вовсе переставали волноваться, а только вслушивались всей своей шкурой в мелодии, переведенные и исполненные для них Блохоловом. Они, вероятно, даже аплодировали ему по-своему, по-собачьи.

И слава богу, что эти бесшумные концерты не были ни слышны, ни понятны никому из бывавших у Блохолова, и он по-прежнему оставался для всех лишь безобидным помешанным, которому за его редкий дар можно было платить копейки. Впрочем, можно было и вовсе ничего не платить, так как Блохолов никогда не требовал этого, и каждый собаковладелец, уходя из подвала, оставлял деньги на краю стола, исходя из размеров как своего кошелька, так и совести. Однако того, что оставляли люди, Блохолову вполне хватало на весь нехитрый его быт.

Да и не столь важны были для Блохолова приходящие с уходящими. Они скорее служили живым фоном, декорациями к тому главному, что одно только и держало его в этом убогом подвале.

Все эти годы, день за днем терпеливо работая, он внимал слегка сдержанному цензурой стен голосу фортепьяно, которое вечерами где-то над ним беседовало со своей единственной ученицей. С той, которая совсем маленькой играла с подружками во дворе, затем бегала в школу, позже назначала свидания в дальней беседке, незаметной за колючей акацией и тучной, предвещающей скорые холода черемухой, о чем-то своем шепталась там, смеялась, ссорилась, мирилась, целовалась... И все это была видимая, ясная до последнего вздоха жизнь, такая чистая и прекрасная. Но была еще иная жизнь, тайная, глубоко в ней спящая, а потому не ведомая никому...

Он относился к ней по-особому... ее одну видел, слышал, иногда почти скупал. Она кого-то напоминала ему, кого-то далекого и очень дорогого.

Случалось (когда она была еще ребенком), что в предчувствии ее скорого появления он, к неудовольствию своих «гостей», отрывался от работы, поворачивался к оконцу, щурился и надолго засматривался в проносимые ветром мимо призраки строгих платьев, мятых брюк, вытянутых на коленях трико, пока не мелькали в окне две тоненькие, словно натянутые шелковые нити, ножки в белых гольфах с веселыми неугомонными коленками и кружевной каймой синего сарафанчика, уносящегося куда-то ввысь. Тогда Блохолов разом приходил в себя и вновь принимался за работу, с удовольствием прислушиваясь к шуму на лестнице, где детские сандалики торопливо здоровались с каждой второй ступенькой, где щелкал железными зубами замок и солидно, на весь подъезд, охала дверь.

Следовавшее затем безмолвие являлось для Блохолова не временным затишьем, а гранью, пределом, отделявшим музыку обычную, земную от долгожданной Музыки его жизни, его страсти. И слушал он эту Музыку не разумом и не сердцем, как всякую иную, а одними лишь руками.

Чуткие кисти внимали звукам легких шагов, доносящихся сверху, и шаги то радовались, то печалились, были попеременно быстрыми и усталыми, нетерпеливыми и потерянными, они имели свой голос, жили собственной жизнью, изменялись, рождались и умирали. Руки его от этой волшебной музыки внутренне словно озарялись теплым светом, наливались особой силой, и он, забываясь, ощущал себя то каким-то невиданным доселе музыкальным инструментом, то огромным радужным пузырем, податливым и дрожащим от каждого нового изменения тона, то вдруг чувствовал, как его скорбно ссутуленная спина тянется ввысь, ширится, вырастает в низкий потолок и прорастает паркетом, даже воздухом под ее священными стопами.

В такие мгновения он просто исчезал, весь уходил в созвучия юной красоты, порождаемые движениями, шагами маленькой соседки.

Но так было далеко не всегда. Случались дни, когда в девочке просыпалось нечто тайное, необузданное, и тогда она беспричинно ссорилась с подружками во дворе, иступленно носилась дома по комнатам, прыгала на кровати, опрокидывала стулья, скользила и падала на паркете, молча вскакивала и бежала дальше к фортепьяно и била, била по клавишам бессмысленно, ожесточенно, как бьют в истерике по лицу близкого друга.

Блохолов в такие дни мрачнел, чаще уходил на свой пустырь, так что подвал часами оглашался, как потревоженный улей, невнятным ворчанием и нетерпеливым громким лаем.

Там же, на пустыре, он долго вглядывался куда-то ввысь, в широкую спину неба с белыми подпалинами звезд, словно чего-то ждал оттуда. Изредка на его запавших от бессонницы глазах появлялась одинокая слеза, но, скатившись по щеке, она бесследно исчезала, и было неясно, что ее вызвало, — излишнее напряжение зрения ли? души ли? Или то, что все малыши во дворе боялись его, дразнили и даже иногда били из рогаток его окно? Хотя, подрастая, они переставали чураться, как-то привыкали к нему. Но каждое последующее поколение вновь со страхом и удовольствием пересказывало друг другу вечерами, сидя на корточках за гаражами, услышанные от братьев, сестер, пап и мам жуткие истории про Блохолова, пожирателя собак и непослушных детей, разбойника, тайного богача, хранящего золотые монеты в банке, наполненной для отвода глаз блохами, и про многое, многое другое...

Некоторые же из тех, кто с упоением придумывал и пугал друзей подобными страшилками, взрослея и постепенно обрстая привычками, документами, мнениями и домочадцами, случалось, заживали в подвал к Блохолову, так, от скуки, посмотреть, как он лечит очередного лохматого пациента. Но если вдруг к тайной радости своей заставляли его одного, просто сидящего на скамье или сосредоточенно штопающего свою единственную шинель, то ничтоже сумняшеся, опасаясь лишь чужого прихода и потому ко всему прислушиваясь, торопливо говорили и говорили, сбивчиво доверяли Блохолову все то, что считали самым сокровенным, навеки укрытым от всех, кроме самих себя. Говорили о чем-то несбывшемся, упущенном, потерянном, о чем-то главном. Когда же их откровениям вдруг что-то мешало, они, не прощаясь, уходили, чтоб вернуться к нему в другой раз и досказать, объяснить, спросить.

Бывали и другого сорта посетители, шумно вваливающиеся к нему втроем, вчетвером, откровенно пошатающиеся, часто приносящие с собой какой-то резкий, тошнотворный запах и всегда настойчиво предлагающие Блохолову причаститься принесенным с собой. Такие, как правило, не найдя в нем понимания и отклика на свои дружеские излияния, оскорблялись, грозили и быстро растворялись за дверью, обескураженные холодным равнодушием хозяина.

Многие и многие уходили, приходили, но всегда оставались она и Музыка, исходящая от любого ее движения, вдоха. Она всегда незримо была там, над его до времени поседевшей головой, и только однажды (Блохолов так никогда и не смог забыть то ее посещение) она спустилась со своих высот к нему (ей было тогда двенадцать, не больше), сама постучала в его дверь, приоткрыла ее, так как никто не ответил, и вошла заплаканная, маленькая, с явно тяжелым, неловко связанным свертком в руках.

Почему-то он сразу стал пристально вглядываться не в ее лицо и глаза (а ведь ему всегда было так интересно узнать, какие у нее глаза), а в ее сверток, и тот, еще минуту назад безмолвствовавший, словно почувствовав его взгляд, зашевелился, заскулил и даже показал острый кончик хвоста. По счастью, в тот час у Блохолова не было назойливых посетителей, и он, кивнув, сделал приглашающий жест рукой в сторону узкого стола. Она сделала шаг, и тут сверток окончательно ожил, показав миру две лапы и лобастую щенячью голову. Девочка еще сильнее прижала наполовину спеленатого щенка к себе и торопливо, чтоб не вырвался, поднесла его не к столу, а прямо к Блохолову. Тот не сразу, но все-таки взял щенка на руки, стараясь при этом как-нибудь не коснуться девочки, поднял и стал внимательно его осматривать. Только приняв его, он уже почувствовал под ладонями нечто тяжелое, усталое и горячее, нечто очень болезненное, а теперь глаза его завершали диагноз.

Щенок был наполовину мертв, и ничто не могло ему помочь. Собачья чума на одной из веселых прогулок пробралась в это маленькое серое тельце и теперь

целиком захватила его. Блохолов даже мог поручиться, что щенку, про себя он назвал его «малыш», остались считанные часы. Глаза у «малыша» слезились, нос был сухим, а сердце билось чересчур быстро, по нарастающей.

Приговор был окончательным, но Блохолов не мог вот так сразу вернуть ей маленького друга и ничем ему не помочь. Он еще некоторое время поворачивал и поднимал щенка в воздухе перед собой, пытаясь высмотреть его ангела-хранителя или хоть какую-нибудь надежду на спасение, но так ничего и не увидел.

Вне щенка была пустота, внутри жила горячая смерть.

Вдруг что-то блеснуло и ударило Блохолова в лицо, прямо в очки, даже не ударило, а ожгло... и он услышал ее смех. Девочка засмеялась, так славно, так искренне засмеялась, что Блохолову отчего-то стало больно и даже уши от этой боли вмиг заложило. А по лицу его, по шее и далее за воротник стекала собачья моча, но это было совсем ничего. Он смотрел на щенка снизу вверх, сквозь омытые столь забавным образом очки и улыбался.

Успокоившись, она потянула его за край рубахи, вылезшей поверх широких штанов. Блохолов, по-прежнему не глядя на нее, но с излишней теперь улыбкой отдал ей щенка. Тот был словно сонный, большая голова никак не могла приподняться и все заваливалась вниз, лапы бессильно обвисли, и только прерывистое, надрывное дыхание указывало, что это смертельная болезнь, а не обычная усталость.

Может, она уже знала обо всем и пришла к Блохолову, надеясь лишь на чудо его волшебных рук, а может, и нет, но теперь, прижимая вконец обессилевшего щенка к себе и не получая никакого ответа от Блохолова, она как-то сама догадалась, что серого малыша уже не спасти...

Кроме этого печального случая, девочка никогда больше не подходила к нему так близко. Щенка она с подружками похоронила на ближнем пустыре. Блохолов видел, как они впятером, поникшие, не по-детски серьезные, медленно и значительно прошли через двор, и каждая подружка сжимала в одной руке смешной песочный совок, а в другой — ветку сирени, похищенную еще утром с огромного цветущего куста в палисаднике соседнего дома, прямо из-под окон тамошней злобной старухи по прозвищу Губа.

Сколько с тех пор прошло лет, Блохолов не помнил. Он вообще не ценил и не знал времени, игнорировал и часы, и календарь. Девочка за это время выросла, стала совсем взрослой, как говорила ее мать. «Жалко, отец тобой полюбоваться не может», — стала добавлять она с последней осени и каждый раз после этих слов приглушенно кашлять.

Отец девочки умер неожиданно и незаметно, Блохолов догадался об этом не по обычным приметам смерти — приглушенному плачу и клейким запахам ели, а по звукам надорванных горем шагов матери и по той тоске, что исходила теперь от каждого движения девочки. После смерти отца девочка почти не играла на фортепьяно и в доме поселилась какая-то нехорошая тишина. Теперь она каждым утром торопилась куда-то, возвращалась поздно вечером, а ее натертые тесными туфлями ножки могли сочинять лишь мелодии усталости и печали. Мать девочки не то чтобы слегла, но целые сутки напролет проводила дома, а ее болезненное шарканье раздавалось в одиноких комнатах не более двух-трех раз на дню.

То, что происходило наверху, было настолько серьезным и странным, что даже вечно дремлющая душа Блохолова забеспокоилась и стала по-медвежьи ворочаться, ежиться, рождая в нем пугающие предчувствия. Все это продолжалось до тех самых пор, пока разом не кончилось.

То есть еще утром Блохолов, занимаясь с одним из своих пациентов, слышал, как над ним ходили, разговаривали, даже ругались чужаки, слышал среди их непрерывного топота, гомона и визга, потревоженной мебели голос девочки, ее потерянные, но все равно такие родные шаги... еще утром он слышал ее... Ве-

чером же, вернувшись со своих пустырей, он обнаружил, что там, где еще утром так неожиданно и сильно вскипела жизнь, теперь ничего не было, царила мертвая тишина.

И он стал ждать. Чего-чего, а терпения у Блохолова было всегда в избытке — он никуда не спешил, ничего не хотел, ни о чем не думал, просто ждал, когда же снова зазвучит музыка ее шагов. Он стал надолго скрываться за городом, приходил в подвал редко, порой по три-четыре дня ночевал в посадках, на теплых свалках, в заброшенных сараях. Появляясь же у себя и застав целую пропасть настойчивых знакомцев, он поспешно помогал четвероногим, чтоб избавиться от присутствия двуногих и побыть наконец одному, послушать, не появился ли кто там, наверху.

И квартира девочки в один из дней ожила. Он не видел тех, кто поселился там, но зато слышал, как постепенно заполняли они свой дом словами, вздохами, солидной поступью и быстрыми хихикающими шажками, каким-то гремучим шипением, а по ночам — взрывами смеха, гулким звоном падающих бутылей и тихим плачем, доносящимся всегда от дальней правой стены.

Блохолов не знал этих людей, не понимал смысла всех этих жутких сочетаний ночных звуков, но шаги их совершенно определенно источали зыбкие волны неприязни и страха. Ему приходилось плавать в этих волнах и мысленно отшелушивать топотливую мишуру в поисках любимых певучих шагов. Однажды ему даже показалось, что он слышит *ее*. Шаг, другой, третий, и он понял, что это иные шаги, создающие другую Музыку...

По прошествии нескольких месяцев Блохолова угораздило жестоко простудиться, и он слег в постель. «Верные» знакомцы его, много лет назойливо пользующиеся его даром, узнав об этой неприятности, по-тараканьи забегали по городу, всюду оставляя весть о его болезни, а поскольку сам он был фигурой неординарной, то и заболевание ему придумали под стать. Горожане наскоро решили, что Блохолов почти при смерти, ибо у него не что иное, как опасная форма желтой лихорадки, неизвестно где им подхваченная и чрезвычайно заразная. Таким образом, за ту пару недель, когда его трясло, знобило и сворачивало калачом, Блохолов смог отдохнуть от всевозможных навязчивых посещений, сопровождаемых утомительным фоном человеческой речи.

Отлежавшись, он стал потихоньку, чаще вечерами, выходить из дома. Вдыхал прохладный воздух, затем с трудом добирался до пищевых баков и, найдя там что-нибудь съестное, возвращался обратно. Для него это была простая необходимость, ведь денег на пищу больше никто не оставлял, но для тех, кто верил в легенду о его сокровищах, выходило так, будто он пытался всех обмануть, внушить мысль о своей нищете, чем лишь подтвердил и усилил общее мнение о скрываемой им в тайнике золотой чертовщине.

Недели через три он совсем поправился и вдруг ощутил давно забытое, но по-прежнему необоримое желание идти, бежать дальше, словно невидимая нить, связывавшая его с городом, оборвалась. Он ушел бы сразу, если б не омерзительная погода, — дождь, град и ветер, сговорившись с палыми листьями, хозяйничали на улицах. Блохолов решил переждать ненастье, да и башмаки его совсем развалились и требовали основательного ремонта.

Тем вечером, последним в городе по его расчетам, он как раз заканчивал сшивать левый башмак (с правым он уже разобрался), руки его то ли от осенней сырости, то ли от толстой сапожной иглы разболелись, особенно нестерпимо ныли подушечки пальцев, да и правая кисть, немея то и дело, просила отдыха.

За окном перебирал свои капельки-четки дождь, а люди наверху шумели громче обычного. Взрывы смеха и обрывки песен, соперничая с порывами ветра, раз за разом штурмовали изнутри стены и стекла дома. Блохолов, закончив пришивать подошву, внимательно ощупал ботинок и, не найдя ничего подозрительного, отставил его в сторону.

Было уже поздно, и он решил лечь, отдохнуть перед завтрашним трудным



походом. Уходить, как и прежде, решил налегке, не брать ничего, даже белья и сухарей, чтоб ненароком с вещами не прихватить опасных воспоминаний.

Он лег, не раздеваясь, на свою шинель и устался в потолок. Он уже не прислушивался к тому, что происходит наверху, а потому и не заметил, как там, словно по команде, все разом стихло, потом раздался приглушенный взрыв смеха, затем кто-то, осторожно цепляясь за перила, стал спускаться по лестнице. Он не слышал, как причмокивающие каблучки нерешительно приблизились к его двери, как кто-то в темноте постучал по косяку... Он уже засыпал, когда дверь открылась и кто-то встал у порога, присматриваясь в полутьме к убогой обстановке.

От ощущения пристального взгляда он и очнулся. Какое-то время просто лежал в темноте, затем приоткрыл веки и увидел, как из темноты дверного провала в комнату шагнула *она*...

Отчего-то он сразу решил, что это *та* девочка... Его девочка. Ведь ему так хотелось, чтобы она вернулась и вновь творила для него свою чудесную Музыку. Блохолов зашевелился, не сводя с нее глаз (а вдруг исчезнет?), сел на кровати и попытался найти босыми ногами свои башмаки, но тут же, забыв об этом, поднялся и шагнул ей навстречу.

Не было ни протянутых рук, ни улыбок, ни слов — только глаза в глаза и обоюдное ожидание чего-то необычайного, удивительного, может, освобождения?

Уличные фонари всегда сторонились его подвала, от их щедрот ему доставалось немного, вот и сейчас призрачный клин света, преодолев множество препятствий, едва достигал середины комнаты. Потому Блохолов оказался на освещенной половине, тогда как гостя его — на противоположной, ночной стороне, все еще невидимая и недостижимая.

Блохолов смотрел на нее во все глаза и никак не мог рассмотреть, так как очки его оставались на подоконнике, и все то, что он видел вокруг, было совершенно размытым. Но, словно догадавшись о его слепоте, она сделала еще один шаг и, покачнувшись, остановилась на линии разбавленного света и густой тьмы. Теперь Блохолов мог видеть ее лицо, ее саму, ее руки, и в этих руках... мирно ночевал оживший серый щенок!

Нет, конечно же, никакого щенка у нее не было, это он осознал через мгновение, скорее это была его шерстка, его шкура, но такая огромная и пушистая, словно он неимоверно вырос за эти годы, и теперь *она* стояла, завернувшись в эту мягкую, теплую шкуру, — немым укором давней ошибке Блохолова.

В это время по дому нагайкой полоснул дождь, ветер, оседлав кроны деревьев, просвистел нечто немислимое, а свет фонаря, поплыв по кругу, обратил всю эту сцену в фантастическую грезу.

У Блохолова даже мелькнула спасительная мысль, что все это сон, просто сон, но... Она что-то сказала ему. Он не расслышал, что именно, только увидел, как губы ее шевельнулись. Она повторила что-то снова, потом усмехнулась и распахнула шубу. Под шубой не было ничего, кроме обнаженного женского тела. Красивая грудь с матовыми сосками и большой неровной родинкой прямо под сердцем, девичий живот, размеренно в себя принимающий и в себе согревающий холодную ночь, ниже в никуда убежала темная дорожка...

И Блохолова вдруг озарило — это же его девочка! Она снова просит о помощи. Она стала щенком или щенок превратился в нее, не суть важно, но что-то случилось, и она теперь просит помочь им обоим. Эта мысль все расставила на свои места, и он, как тогда, прежде, улыбнулся и протянул ей руки, но она резко отпрянула прочь, лицо ее исказилось от страха и отвращения, и даже губы скривились от неприязни.

Она снова выдавила из себя несколько неслышимых слов и, оглядев растерянного Блохолова с седой головы до открытых неприглядных ступней, спокойно вытащила из кармашка шубы маленькую блестящую зажигалку и белую ко-

робочку, вынула из коробочки тонкую сигарету и, все так же беззастенчиво, с холодным любопытством рассматривая Блохолова, небрежно закурила.

Погруженный в облако дыма Блохолов пытался понять... но ничегошеньки не понимал, и тогда он просто закрыл глаза. Дождь в отчаянии все сильнее метался за окнами, однако Блохолов не слышал этого. Не видел и не слышал он и того, как девочка, вернее, та, кого он принял за девочку, пошатываясь, исчезла за дверью, оставив на память о себе лишь легкий запах табака и еще чего-то порочного, пьяного.

Он простоял так до самого рассвета и лег только, когда ноги сами собой подкосились от слабости. Лежал и не слышал, как бесноватый дождь наконец уgomонился, а ветер умчался куда-то далеко в погоню за бездомными листьями. Этот неожиданный звуковой шатер оградил его не только от мира внешнего, но и от внутреннего — вопрошающего, бурлящего...

— Ну и где эти миллионы?! — Белобрысый, с тонкой шеей и пустыми рыбьими глазами разочарованно осматривал в третий раз маленький каменный отсек подвала, отдаленно напоминающий жилую комнату, обращая этот вопрос к своему товарищу, плотному невысокому человеку с плоским незапоминающимся лицом и профессионально поломанным носом, придававшим его сытому облику добрую толику мужественности.

— А ты точно в банке смотрел?! Может, блох обыщешь? Это они твое золотишко тиснули!

Белобрысый изобразил обиду на лице, но двинулся к подоконнику за банкой.

— Ладно, кладоискатель, пора делом заниматься, записывай: пункт пятый, очки в оправе из тусклого желтого металла... Похоже не золото.

— Дай посмотреть... Точно... Михалыч, а как ты все-таки догадался, что у него был кто-то? Следов-то никаких, а ты раз сюда, два туда — и сразу наверх.

Плотный, заметно польщенный, вальяжно развалившись на кровати, еще недавно принадлежавшей Блохолову, нехотя стал объяснять:

— Туда-сюда, эх ты, Ватсон! А пепел, окурочек откуда, если он не курил, а каблук чей, его, что ли, под лестницей валяется?! Этот шалман верхний давно разогнать пора, да только не дают все, кому-то, значит, очень надо.

— Ага, в чей-то карман, значит, денежка капает,— радостно вставил Белобрысый.— Говорят, что туда даже мэр ходит. Самые классные девочки в городе!

— Классные-то классные, только дорогие, твоих ментовских погон и на минуту не хватит. Ладно, пиши дальше, а то до вечера здесь проваландаемся! Пальто... нет, шинель одна, пуговицы из латуни шесть штук, а фиг с ней, не пиши, на дачу возьму, пригодится.

— Ну а эти, наверху, что говорят? Отмазываются, да?

— Чего говорят! Говорят, всю ночь пили, пили, скучно стало, решили пошутить: одну ляльку, самую датую и смелую, в шубу завернули и вниз за миллионками отправили, дескать, давай раскручивай Блохолова, он тебе только за взгляд все золото сдаст. Ну она пришла, повертелась перед ним, он вроде ее лапять, а она наверх ноги сделала, дальше загружаться.

— А чего он умер-то тогда?

— А фиг его знает, чего умер! — Плотный задумчиво сдвинул брови.— Сердце, наверное. Вон и у меня стало пошаливать, без валидола никуда... А может, от испуга, бабу голую лет двадцать не видел, глянул — и хана.

— Лет двадцать... А раньше будто видел?

— Раньше видел. Мне кореш из фээсбешников рассказал, что они в свое время пасли этого Блохолова на предмет заграничности. С банки этой самой,— он кивнул в сторону подоконника,— отпечатки сняли и отследили его. Оказывается, известный пианист был, из Перми или Свердловска, что ли, по стране, блин, по миру мотался, а потом крыша съехала, и он тут, у нас, оказался.

— И чего съехала-то, ведь, наверное, не последним человеком был?

— Чего-чего! У мужика жена при родах умерла, девочку ему оставила, он ее растил, души в ней не чаял, как я своих ращу, ращу, а они мне потом дулю под нос...

— Дальше-то чего?

— Ну они вместе на концертах играли, а она, блин, простыла где-то, пневмония — и все, привет родным во цвете лет.

Плотный замолчал, видимо, задумавшись о чем-то совсем семейном, лицо же белобрысого изобразило легкое сомнение по поводу услышанного, а острый кадык подтащил к поверхности смелую мысль.

— Не, из-за этого крыша не съедет. Ну запить можно, а чтобы так, бомжевать... Наверное, это он из-за бабы или денег. А может, он из этих, «харе рама, рама кришна»? Да, а та, лялька верхняя, правда, ничего?

— Ничего-то ничего, только не по тебе. Давай, контора, пиши дальше...

*г. Ярославль*



## МЛАДЕНЕЦ

## РАССКАЗ

**Х**лоя Петровна очень любила своего сына Юрика. Казалось бы, все матери одинаково нежно относятся к своим сыновьям, но именно Хлоя Петровна с большим отрывом выиграла бы любой международный конкурс материнской любви. Юрик был для нее центром мира и смыслом существования. Она его так и называла — Смыслик.

Когда Смыслик появился на свет, Хлоя Петровна была совсем одинокой молодой женщиной. Ни мужа, ни подружек, ни близкорасположенных родителей у нее не имелось. Работала юная Хлоя на оборонном предприятии, и с этого самого предприятия ей однажды дали путевку в Кисловодск. Там она познакомилась с сероглазым отдыхающим (женат, двое детей), и так получился Юрик.

Даже отчества Юрикового отца Хлоя Петровна не знала и точного адреса, так что некоторое время считала себя очень развратной. Потом это, впрочем, прошло. Сын получился такой замечательный, что Хлоя Петровна даже тайно радовалась: не надо было делить радость обладания с каким-то совершенно посторонним типом.

Юрик стал единственным человеком в жизни Хлои Петровны, который смотрел на нее с искренним восхищением. С самого своего раннего возраста. Его все в ней восторгало, и он улыбался маме так часто, как мог.

Хлоя Петровна вытерла покрасневший нос бумажной салфеткой и снова стала перелистывать альбом с фотографиями.

Вот Юрик лежит голенький в ванне. Крохотный. Как страшно было купать его в первый раз! А вот ему уже полгода, и он сидит в подушках... На следующем снимке Юрик пополз, еще через страницу начал ходить, а вот и первый класс, астры в руке и вместо передних зубиков — трогательная впадинка.

Школьные Юриковы снимки. С друзьями-одноклассниками: никто из них даже близко не мог сравниться с ее сыном. Вот Юрик на субботнике: дурачится, машет метлой из коричневых жестких веточек. Вот уже выпускные экзамены — Юрик тогда сильно похудел, волновался, а Хлоя Петровна вообще перестала спать и есть, только пила кофе галлонами. Юрик просил ее проверять вопросы по физике и геометрии; она слушала неуверенные, с бесконечными откашливаниями монологи и делала вид, что не замечает на столе стопку бумажных «флагов», исписанных тонким чужим почерком.

Вот владелица почерка — красавица Нина. Хлоя Петровна сразу невзлюбила ее, потому что сын смотрел на Нину с восхищением: изменял...

Нина была ветреница, изводила Юрика своими капризами, он страдал, ходил на все ее дурацкие вечеринки, а однажды не явился ночевать...

Вот первый курс едет в колхоз. У Юрика большой рюкзак за плечами и совсем другое выражение лица. Карман куртки оттопыривается — там сигареты...

Юрик за границей — первые поездки, как он говорил, по бизнесу. Из каждой страны — подарок маме. Серебряные украшения, статуэтки, вазочки...

Последние фотографии недавние и самые ненавистные — свадьба. Юрик женился — так рано, дурачок! — на бывшей однокурснице Свете... Вот она в загсе, ухмыляется. Уже заметно беременная... Вот ее родители — тщеславные индюки. Радостные гости — им-то что печалиться?

Хлоя Петровна была там, однако не сказала своей невестке ни слова. То есть она процедила сквозь зубы «поздравляю», но в душе прокляла ее раз и навсегда. Ее и ребенка, который уже скоро должен был вылезти на свет и окончательно разрушить связь между Юриком и Хлоей Петровной.

Дальше в альбоме были чистые листы.

Хлоя Петровна сняла запотевшие от слез очки и высморкалась. Тут же завонил телефон, как будто ждал подходящего момента.

Это был Юрик. Сердце Хлои Петровны запрыгало, как фокстерьер.

— Мамочка, Света родила! Мальчика, у меня сын! А ты теперь бабушка...— Юрик чуть задыхался от радости, у него с детства была такая особенность.

— Поздравляю, Юрочка,— выдавила из себя бабушка. Ей стало невыносимо больно, потому что теперь между нею и сыном стояло сразу двое людей.

Юрик прокричал еще что-то и бросил трубку. А его мать грустно сидела на диване и тихо плакала, утирая лицо руками. В ее жизни с этим телефонным звонком все как будто закончилось.

Хлоя Петровна знала, что не сможет полюбить внука. Это ведь ребенок чужой женщины, которая нахально увела Юрика из дома. Кроме того, она слишком сильно любила сына, чтобы у нее остались чувства еще для каких-то детей. Ей было физически неприятно видеть своего сына влюбленным в чужого человека, и она с большим трудом держала себя в руках, чтобы не устроить истерику с плачем и подвываниями.

Самое интересное, что Юрик ни о чем таком не подозревал. Он очень нежно относился к матери и считал, что она просто обожает детей. Так что новопривышему в семью младенцу, которого нарекли Афанасием, была предписана роль мирноосца. Забегая вперед, скажу, что Афанасий с этой ролью не справился.

Так вот, Хлоя Петровна вяло выслушала восторженные вопли Светиных родителей, которые начали трезвонить через полчаса после Юрика, а потом у нее кончились силы и время сидеть дома. Пора было собираться на работу.

Надо сказать, что в то время Хлоя Петровна работала на полставки в Экспериментальном институте генетики. Конечно, не по инженерной своей специальности — теперь она разбиралась со всякой документацией и прочими бумажками. Чем точно занимаются в институте, Хлоя Петровна не знала, потому что все здесь было засекречено. В здание пускали только по специальному магнитному ключу, и охранник каждый раз бдительно вглядывался в лица сотрудников и посетителей.

Большую часть здания занимали секретные лаборатории, куда было трудно попасть даже штатным работникам. Только те, кто имел непосредственное отношение к работе в этих лабораториях, могли пройти внутрь. Как говорили, у них были еще какие-то магнитные ключи, которые и открывали загадочные двери.

Хлою Петровну эта таинственность мало занимала, она по природе своей была нелюбопытной. Тихонечко делала свою работу и старалась как можно раньше сбежать домой.

Однако в тот день, сделавший ее бабушкой, в институте творилось нечто настолько необычное, что привлекло внимание даже расстроенной Хлои Петровны. Все двери были широко распахнуты, и по зданию носились делегации, состоявшие из людей иностранного вида. С удивлением Хлоя Петровна обнаружила, что группа жестковолосых японцев выстроилась в очередь в лабораторию, и все, даже охрана, делали вид, что так и надо.

— Что случилось? — спросила Хлоя Петровна у охранника с более-менее знакомым лицом.

— Супер-пупер-открытие,— сказал охранник, показывая белую жвачку среди белых зубов.

— Это как?

— Ничего точно не знаю, но сенсация! Вон иностранщины сколько понаехало. Завидуют, черти...

Хлоя Петровна немножко поколебалась, а потом пошла в сторону лаборатории. Там ее остановил другой охранник.

— Вы, пардон, с какой делегацией?

— Я здесь работаю,— обиделась Хлоя Петровна.— Можно и запомнить за пять-то лет.

— Пропуск, пожалуйста.

Пропуска у Хлои Петровны не было, и она с окончательно испортившимся настроением пошла в канцелярию, к рабочему месту.

Там все сотрудники тоже имели какой-то праздничный вид, молодежь собралась возле стола Вали Флягиной и хихикала. Валя повернулась к вошедшей Хлое Петровне и весело спросила, как бы продолжая начатый ранее разговор:

— Вот вы, например, Хлоя Петровна, себе нравитесь?

— В каком смысле?

— Да в каком угодно. Нет? Да? Ну, не важно. Теперь у вас имеется реальный шанс себя переделать. И все благодаря нашему Оресту Пиладовичу!

— Гений, гений! — загалдели девчонки.

— Объясните мне наконец, что тут происходит! — взмолилась Хлоя Петровна и прямо в пальто села на стул.

Валя, девушка от природы добросердечная, принялась рассказывать, хотя по лицам остальных было заметно, что сама новость уже несколько приелась и гораздо заманчивее было бы ее пообсуждать.

Оказалось, что последние дни были историческими не только для семьи Хлои Петровны, но и для Экспериментального института генетики. Именно сейчас директор Орест Пиладович Воробьев завершил многолетние изыскания и раскритерил наконец свое открытие.

Это открытие в самом прямом смысле слова могло перевернуть жизнь человечества. Профессор Воробьев придумал нечто почти божественное и очень на верующий взгляд нахальное.

Три с половиной года в лабораториях института проводились странные опыты. В огромных клетках привозили скулящих собак и отчаянно орущих кошек, которые умолкали здесь навсегда. Впрочем, навсегда или нет, это вопрос. Потому что директор института генетики придумал некий эликсир, деливший живое существо на две части — душу и тело. Сначала профессор и приближенные к нему коллеги просто наблюдали за похождениями души вне тела, а потом Воробьеву пришла в голову потрясающая мысль, за которую лет шестьдесят назад один недобрый человек отдал бы миллионы немецких марок...

Профессор понял, что, отделив душу от тела, он может создать более совершенное существо. Для этого, правда, приходилось вернуть это самое существо в младенческую стадию жизни. Переписать его жизнь начисто. Без помарок, среди которых были и болезни, и дурной характер, и внешнее уродство, и все, что хочешь еще.

Усовершенствованное тело превращалось в маленького беспомощного ребенка, и туда немедленно помещалась модифицированная же душа. Во как!

Конечно, открытие не было бесспорным. Многие граждане впоследствии страшно возмущались, а лидеры разных религиозных конфессий проклинали в прессе профессора Воробьева и весь его безбожный институт. Ведь все понимали, что собачки и кошечки — это только начало. Следующими будут живые люди...

Тем не менее уже в первый день после обнародования открытия возле справочной службы института толпилась целая очередь, потрясавшая справками из онкологических диспансеров, пачками долларов или просто собственными руками.

Желающих изменить себя, то есть добровольных подопытных кроликов человеческого рода, было предостаточно. Профессор Воробьев мог копать в них и выбирать счастливую жертву по своему вкусу.

Вот и все, что было известно Вале Флягиной, а теперь и Хлое Петровне, и пора было приниматься за работу — открытие, конечно, гениальное, но документацию еще пока никто не отменял.

Хлоя Петровна погрузилась в бумаги, хотя тяжелые мысли о невестке и внуке не давали ей спокойно заниматься делами; она думала о далеком прошлом, когда Юрик представлял собой ценность только для нее одной.

Время тянулось медленно, и обеденного перерыва было не дожидаться. Однако благословенный час пробил, и сотрудники дружной толпой рванули в столовую. Хлоя Петровна поплелась по тому же адресу, хотя есть ей не хотелось, но это было все равно лучше, чем сидеть в обрыдшем помещении и думать о ненавистой сопернице.

Дорога в столовую вела мимо директорского кабинета, дверь в который оказалась приоткрыта. Секретарши в приемной, судя по всему, не было, зато доносился негромкий разговор двух мужчин. Хлою Петровну привлекли нежные интонации речи профессора Воробьева, и она невольно затормозила. Беседа была очень интересной.

— Все-таки я не могу с вами согласиться, Иван Семенович, — нежничал Воробьев. — Конечно, гуманизм — вещь роскошная, но для меня важнее всего результат.

Последнее слово Воробьев произнес по слогам, и Хлоя Петровна представила себе, как он потрясает указательным пальцем, украшенным плотным серебряным кольцом.

— Представьте, что получится в результате опыта над большим субъектом? Я не могу так рисковать, поймите! Мне нужен абсолютно здоровый молодой человек, не имеющий вредных привычек, кроме того, должна быть гарантия, что мать этого молодого человека нормально отнесется к нашему эксперименту и возьмет на себя основные заботы по его воспитанию.

— Вы же знаете, как восприняла общественность наше открытие, — отозвался Иван Семенович, один из ближайших помощников профессора, — тем более речь идет о представительнице старшего поколения.

Хлоя Петровна почувствовала, что спасение шелестит где-то в миллиметре от ее носа. Она покачулась, схватилась за стену, потом протерла очки растянутым рукавом кофты и решительно шагнула в кабинет.

Ученые посмотрели на нее не слишком радостно, было видно, что им хочется закончить свой важный спор, не отвлекаясь на постороннюю персону. Впрочем, Иван Семенович вспомнил, что пожилая полная женщина в близоруких очках встречалась ему где-то на территории института, поэтому сменил выражение лица на чуть более любезное и вопросительно приподнял левую бровь.

— По поводу вашего открытия... Хотела бы поздравить... — забубнила Хлоя Петровна, почему-то приседая в реверансе. — И еще... Если добровольцы нужны, то мой сын, он молодой, здоровый парень...

— Подслушивали? — обиделся Иван Семенович, но Воробьев сделал знак, чтобы визитерша продолжала.

— ...недоволен своей жизнью, хотя имеет семью, но женили насильно, не видит выхода...

— А дети у него есть? — спросил Воробьев.

— Нет, что вы! — искренне возразила Хлоя Петровна. — Да и откуда им взыться?

— Потому что с детьми — исключено, я не хочу, чтобы меня потом обвинили в бесчеловечности.

— Детей у него нет, — еще раз соврала Хлоя Петровна, ей было легко это сделать, она ведь ни разу не видела Афанасия.

— Вы ведь сотрудник нашего института? — вдруг заулыбался Воробьев. — Что ж, это очень неплохо, очень даже хорошо. — И захрустел пальцами, запел что-то героическое, так что присутствовавшие ощутили, как не терпится профессору продолжить свои опыты на уникальном живом материале.

Иван Семенович, будучи натурой менее одаренной, а значит, и более подозрительной, продолжил допрос. Он поинтересовался взаимоотношениями Юрика и Хлои Петровны, а также ее здоровьем и достатком. Кроме того, изъявил желание побеседовать с молодым человеком...

Вот тут наша Хлоя Петровна немного струхнула, но вовремя пришла в себя, облизала тонкие губы и продолжила: нет, с Юриком на эту тему говорить не

желательно. Он бы не хотел это афишировать, вот если бы это прошло просто, как медицинский анализ,— ведь, по слухам, операция очень простая.

Воробьев в этом месте хмыкнул, Иван Семенович нахмурился, но оба обещали подумать.

Пока Хлоя Петровна опутывала враньем высокоразвитые мозги ученых, ее сын Юрик носился по городу, покупая разноцветные воздушные шарик, костюмчики фантастической стоимости, памперсы, бутылочки, масло для кожи... Был приобретен даже абсолютно не нужный пока Афанасию огромный плюшевый медведь.

Юрик чувствовал себя совершенно счастливым.

Хотя, если бы вы могли видеть его в субботу, когда Свету и Афанасия выписывали, вы бы поняли, что настоящее счастье пришло к нему только в этот день.

Блестящий, как ворона, джип подвез к парадному входу в роддом целую кучу корзин с цветами, между которых едва видна была Юрикова голова. Когда Света увидела этот цветочный магазин, то захохотала так, что ребенок проснулся. Медсестры улыбались, а другие молодые мамы высунулись из окон и махали руками.

Светины родители тоже утирали слезы и по очереди целовали дочку, внука и зятя.

Немного отравило настроение отсутствие Хлои Петровны, но Света решила не омрачать праздника ни себе, ни мужу и сделала вид, что так и должно быть.

Хлоя Петровна в это время смотрела телевизор и молилась, глядя в потолок. По нему носились солнечные зайцы, и было понятно, что уже началась стоящая весна.

Через два месяца Хлою Петровну вызвали на прием к директору института. Причем вызвали личным телефонным звонком, что само по себе было большой честью.

Хлоя Петровна пришла в приемную ровно к назначенному часу и тут же была принята, что вызвало некоторое недоумение у секретарши...

Воробьев на этот раз был один и грустный. Он усадил Хлою Петровну в мягкое кресло и сказал как будто самому себе:

— Вот всю жизнь так. На свой страх и риск...— Потом будто вспомнил, что Хлоя Петровна тоже здесь, и ласково произнес: — Все мои замы категорически против, но решение лично за мной. Конечно, сначала мы проведем полное медицинское обследование, может быть, у вашего сына есть какие-нибудь дефекты.

— Нет у него дефектов! — смертельно обиделась Хлоя Петровна.

Воробьев улыбнулся нежно и попросил Хлою Петровну прийти завтра с Юриком.

Легко сказать! Это в детстве можно было притащить пухлое румяное существо за ручку куда угодно и еще расстраиваться, что оно, это существо, ни секунды не желает находиться вне маминого общества... Теперь-то Юрик взрослый и у него семья. А мама — на третьем месте. При мысли о семье сына чувства Хлои Петровны снова расстроились и даже голова закружилась.

Надо было все обдумать не спеша.

Света — жутко злая — вышла из детской поликлиники. Ее саму в детстве сюда водили — тогда стены были украшены живописью, посвященной героическим подвигам доктора Айболита. Сейчас сделали ремонт, художества закрасили, но в некоторых местах через плохую краску все еще просвечивали попугаи, крокодилы и мартышки.

Афанасий, упакованный в красивый голубой конверт, вертелся и извивался, как змея, в такт собственным повизгиваниям, не лишенным мелодичности. Свете казалось, что она несет в руках бомбу.



Только что молодая мамаша из очереди отчитала Свету за то, что у нее кричит ребенок.

— Сейчас всё заорут! Почему он у вас без соски?

— А вы почему без намордника? — огрызнулась Света и покрепче прижала к себе заревавшего сына, заговорив: «Ч-ч-ч», как будто это когда-нибудь успокаивало Афанасия.

Очередь приняла не Светину сторону, и ей пришлось позорно уйти из больницы, так и не посетив врача.

«Не могу я справиться с ребенком», — думала Света, усаживаясь в машину и кивая шоферу — домой. Надо все-таки брать няню, хотя так не хочется, чтобы к толстенькому теплому сокровищу прикасались чужие руки... А что делать? Мать у Светы вся в работе и честолюбивых помыслах, а Хлоя Петровна... Тут настроение у Светы испортилось окончательно.

В конце концов что она сделала свекрови плохого? Та ни разу не говорила со Светой, не приходила к ним в гости и вот теперь даже не желает видеть внука. Юрик говорит — болеет. Хороша болезнь, если на работу человек ходит каждый день! Светина приятельница Лариса Курочкина работала в том же институте, что и Хлоя Петровна, и Света пару раз спрашивала ее о свекрови. С ней все было в полном порядке, если верить Ларисе.

Дверь открыл взволнованный Юрик. Свету так удивило выражение его лица, что она даже не спросила, почему он дома посреди рабочего дня.

— У нас мама, — сказал Юрик, принимая из Светиных рук извивающийся конверт с Афанасием. — Она очень сильно заболела. Видимо, мне придется пройти полное медицинское обследование, потому что эта болезнь передается по наследству.

Света села прямо на пол и спросила на выдохе:

— Афанасий?!

— Его тоже надо будет проверить, — сказал Юрик. — Я завтра пойду к маме в институт и все узнаю.

Хлоя Петровна сидела в спальне с очень скорбным лицом. Она едва кивнула Свете и тут же снова залилась слезами. Юрик кинулся ее утешать, разглаживая ладонью седые кудряшки, а Света машинально начала переодевать мокрого Афанасия.

Вскоре Хлоя Петровна ушла, так и не взглянув на внука. Света и Юрик всю ночь не спали, он курил на кухне, а она плакала от страха за мужа и сына.

Спал только Афанасий, по контрасту с родителями почувствовавший себя взрослым.

Наутро полумертвый от ожидания Юрик пришел в Экспериментальный институт генетики. Его обследовали очень подробно и тщательно, выкачали целый чан крови из вен и пальцев, сделали рентген, УЗИ внутренних органов, электрокардиограмму и еще много чего успели за один день — такая вот была замечательная организация дела в этом институте. Результаты некоторых анализов надо было подождать, поэтому Юрик вернулся домой таким же испуганным.

Мама тем временем узнала все про ребенка. Сказали, что если Юрик не болен, то в следующем поколении признаки болезни исчезают, так что мучить Афанасия пока было без нужды.

Свету и ее мужа ждало еще несколько бессонных ночей.

Хлоя Петровна тоже нервничала, пила слишком много чая, и сердце ее по ночам мрачно стучало, сбиваясь с собственного ритма.

В день, когда все должно было выясниться, Юрик хотел взять Свету с собой, но Хлоя Петровна очень попросила его этого не делать.

— Я еще не разучилась поддерживать собственного сына. Кроме того, она то здорова... — И выразительно сверкнула очками.

У Юрика не было сил спорить. Мать сказала ему прихватить паспорт и всякие там зубные щетки: вдруг госпитализируют на месте?

Сначала к Воробьеву зашла только Хлоя Петровна. Профессор сказал, что сын ее действительно обладает безупречным здоровьем.

— Как он сам — готов? Мне передавали, что он в несколько подавленном настроении...

— Это все из-за жены, — жарко зашептала Хлоя Петровна. — Уже сил никаких нет. Вы лучше вообще с ним этой темы не касайтесь, очень уж он переживает. Ну да ничего, сегодня все и закончится.

— Завтра утром, — поправил ее Воробьев. — Работы еще очень много.

Юрик сидел в кресле, скрючив длинные ноги, и думал о своей несчастной жизни. Вот так быстро все и оборвалось... Теперь он умрет, а Светка выйдет замуж за Васильева, он к ней явно неровно дышит. Васильев усыновит Афанасия...

Дальше думать было невыносимо больно, и Юрик даже застонал. Видимо, чересчур громко, потому что проходившая мимо девушка обернулась, и Юрик узнал в ней какую-то Светкину подружку.

Лариса Курочкина (а это была она) присела рядом с Юриком и только успела открыть рот, чтобы поздороваться, как из кабинета вышли Хлоя Петровна и профессор.

— Здравствуйте, юноша, — весело сказал Воробьев. — Вот вы, значит, какой...

Юрик вскочил на ноги, и Лариса Курочкина даже пискнуть не успела, как вся троица скрылась за ярко-белыми дверями оперблока.

Хлоя Петровна нежно держала сына за руку, и он чувствовал ее тепло, как в детстве. Вдруг ему захотелось снова стать маленьким мальчиком, таким, как Афанасий, только здоровым.

— Они сделают еще один анализ, последний, — шептала Хлоя Петровна сыну на ухо, пока высокая молчаливая медсестра набирала в шприц бледно-розовую жидкость. Воробьев, Иван Семенович и несколько врачей внимательно наблюдали за Юриком.

— Не передумали, молодой человек? — вдруг спросил Иван Семенович, и у Хлои Петровны задрожали руки.

Печальный Юрик мотнул головой: чего уж тут передумывать, если надо провести обследование до конца?

— Кулачком работаем, — мрачно сказала медсестра, перетянув Юрикову руку резиновым жгутом. — Уколю! — И правда уколола, но ловко, так что Юрик почти ничего не почувствовал.

А жаль — ведь это было последним, что он мог почувствовать в своей нынешней жизни...

Юрик отключился. Тут же вокруг него зашумели, запрыгали доктора и ассистенты, а Воробьев поманил за собой Хлою Петровну — давайте отойдем.

— Сейчас вам придется покинуть оперблок, — строго сказал профессор. — И подождать до утра в комнате отдыха, если не хотите ехать домой.

— Не хочу! — сразу же сказала Хлоя Петровна. Настроение у нее было тревожно-радостное, как в те далекие дни, когда Юрик должен был появиться на свет.

— Кстати, ваш экземпляр договора, который подписал Юрий. — Воробьев достал из папочки бумажку, украшенную внизу корявой закорючкой — подписью Юрика, которую Хлоя Петровна воспроизводила в совершенстве. — Не потеряйте, но пока старайтесь никому ничего не рассказывать. Журналисты замучают. Вот если эксперимент будет удачным... — Тут доктор закатил глаза, плюнул почему-то через правое плечо и еще постучал себя по лысоватому черепу. Потом подмигнул Хлое Петровне и побежал к столу, где над Юриковым телом шерудили несколько пар талантливых рук.

А Хлоя Петровна пошла в комнату отдыха. Она почему-то была уверена, что все пройдет удачно. И где-то в три часа ночи ей даже удалось заснуть.

Свету сводили с ума тишина в квартире и тихое тиканье часов. Даже Афанасий был непривычно молчалив и уснул, съев порцию каши из бутылочки. Наверху негромко праздновали соседи, пели так, что нельзя было слов разобрать.

Три часа ночи. Юрик все еще не пришел.

Света каждые пять минут набирала домашний номер Хлои Петровны, но в трубке были только противные длинные гудки.

Соседи наконец умолкли, и Свете стало совсем одиноко. И страшно.

Утром Хлою Петровну разбудил веселый голос Воробьева и еще чье-то жалобное мяуканье. Она открыла глаза и увидела перед собой маленький сверток, из которого торчало ярко-красное личико двух-трехнедельного на вид младенца.

— Не раньше, чем через месяц! — строго сказал профессор, прижимая сверток к себе. — Мы должны хорошенько его обследовать, и вообще пусть он пока побудет у нас...

Хлоя Петровна начала было спорить, но очень скоро убедилась, что это дело бессмысленное. Поэтому поцеловала сына в мягкую щечку и пошла домой — ей многое надо было подготовить. Кроватка, коляска, детские вещички — ах, сколько теперь продают нарядных одежек! Не то что раньше — фланелевые распашонки с оранжевыми зайцами и уродливые «детдомовские» ползунки. А ведь Хлое Петровне институт теперь будет должен немаленькую сумму, так что Юрик сможет расти в самых лучших условиях.

Воображение Хлои Петровны уже крутило перед ней заманчивые картины: они с малышом гуляют в парке, вызывая зависть у прохожих...купаются в море — они обязательно будут ездить к морю каждый год. Нет, два раза в год! Она кормит его с ложечки банановым пюре...

Мысли были такие приятные, что Хлоя Петровна даже не заметила, как дошла до своего дома. И очень удивилась, увидев у подъезда цветную коляску и знакомую фигуру.

— Ты плохо выглядишь, Света, — машинально сказала Хлоя Петровна, ображая на ходу, как ей вести себя дальше. Как-то не учла она в своих расчетах этих двоих. Не вписывались они в их с Юриком жизнь, совсем не вписывались.

— Хлоя Петровна, я думала, Юра у вас, — взмолилась Света.

— У меня? — Свекровь так искренне замотала головой, прижимая руку к сердцу, что сам дьявол не усомнился бы в том, что она говорит правду. — Да что ты, Света, он вчера ушел из института часа в два. Кстати, его диагноз не подтвердился, так что, может, где-то празднует, а? Разве он не позвонил тебе?

— Нет, — сказала Света и заплакала. Из коляски послышалось маленькое эхо — плач Афанасия.

— Ну-ну, не волнуйся, — почти мягко прошептала Хлоя Петровна. — Дело молодое, наверное, зашел к какой-нибудь... к какому-нибудь другу.

Света еще некоторое время стояла у подъезда в надежде, что свекровь пригласит ее в дом, но потом убедилась, что у Хлои Петровны какие-то свои планы, и ушла в слезах, громыхая коляской по неровному асфальту.

Хлоя Петровна зашла в квартиру, поставила полный чайник и тоже заплакала — от счастья, которое испытывает человек, совершивший что-то невозможное.

Начиналась новая, прекрасная пора ее жизни.

— Света, ты слушаешь меня? — строго спрашивала телефонная трубка. — Он сказал, что никогда больше к вам не вернется. Он встретил другую девушку, и они уехали... уехали в Заир.

— Негритянка? — спросила Света и сама удивилась своему вопросу.

— Нет, просто Юрику предложили работу, и он согласился. А девушка русская, очень симпатичная.

— Почему ж он с нами-то не попрощался? — тоскливо спросила Света. И отключила телефон.

Не верилось ей, что Юрик мог так поступить со своей любимой семьей. Какая-то странная глупость — сообщить об отъезде Хлое Петровне, и молчок — ей, Свете, родной жене, между прочим...

Может, будет письмо с заирским штемпелем?..

Света грустно громыхала на кухне бутылочками, потом решила успокоиться и ждать вестей от Юрика.

Ребенка он больше не увидит, не дам, заранее решила она. И снова начала плакать.

Хлоя Петровна накупила целую кучу милых детских одежонок — чистый хлопок, между прочим, — и еще взяла роскошную ярко-синюю коляску, кроватьку с балдахинчиком, пеленальный столик...

В приятных хлопотах месяц и пролетел, тем более что львиную его долю пришлось посвятить всяким волокитным делам по уходу на пенсию. Всё, работать Хлое Петровне теперь было не с руки, тем более что и деньги стали не особо нужны — обо всем заботилась институтская бухгалтерия.

Профессор Воробьев и его помощники тоже не скучали — забот с Юриком было много, но пока он очень радовал ученых — развивался согласно общепринятым нормам и вообще все шло нормально.

И хотя доктору не хотелось расставаться с подопытным (он ведь в каком-то смысле был и его ребенком), в назначенный день пришлось вынести младенца из лаборатории и отдать на руки вспотевшей от волнения Хлое Петровне. Она тут же закурлыккала, прижала сына к себе, и Воробьев даже не успел ей сказать, что надо теперь два раза в неделю ходить на осмотры, как счастливая мать исчезла из институтского здания.

Какие сладкие начались дни! Когда Хлоя Петровна вспоминала свои прежние мучения, ей хотелось петь от счастья, что все теперь позади. И она пела — колыбельные песни, которые Юрик уже слушал в своем первом детстве.

Соседки пытали Хлою Петровну: что за малыш и откуда он такой миленький взялся? Но она стойко держалась и рассказывала что-то про непутевую племянницу, которая хотела оставить малыша в Доме ребенка, а она, заботливая и строгая тетя, не позволила.

Здоровеньким рос Юрик, тьфу, тьфу, тьфу, не болел, и в день, когда ему исполнилось три месяца, Хлоя Петровна повезла его в институт. На плановый осмотр.

Воробьев лично встречал немолодую мать возле служебного входа. Взял Юрика на руки и понес в лабораторию. Хлоя Петровна еле успевала за ним.

Осмотр затянулся надолго. Юрик даже раскапризничался, что привело профессора в прекрасное настроение.

— Как настоящий младенец!

Потом доктор предложил Хлое Петровне вызвать машину, но она отказалась — на улице гуляло лето, и ей хотелось не спеша добрести до дома, пускай Юрик подышит свежим воздухом.

— Не забывайте, что в ваших руках — моя научная судьба! — строго сказал Воробьев на прощание.

Напевая от удовольствия, Хлоя Петровна катила коляску по дорожке парка. Она даже чувствовать себя стала лет на двадцать моложе.

Впереди показалась другая мамаша с коляской, и в тот самый момент, когда Хлоя Петровна, узнав, сообразила, что им лучше не встречаться, Света обернулась и увидела свою свекровь. Странно помолодевшую и с детской коляской.

— Работаю нянкой! — вместо приветствия закричала Хлоя Петровна, разворачивая коляску. — От Юрика пришло письмо, он о вас даже не спрашивает ничего.

Света оставила коляску с Афанасием на дорожке и пошла прямо на Хлою Петровну.

— Или вы мне расскажете все, что знаете, или я не знаю, что с вами сделаю...

Оттолкнув Хлою Петровну, она схватила беззаботно спящего Юрика. Младенец открыл глазки и тут же улыбнулся своей жене... Света чуть не выронила его — так поразительно было сходство чужого ребенка с Афанасием, даже однойцевые близнецы позавидовали бы...

— Немедленно верни ребенка, хулиганка! — завизжала Хлоя Петровна, и Света машинально отдала его свекрови.

Хлоя Петровна тут же помчалась к выходу из парка, забыв о коляске. Потом опомнилась, вернулась, еще раз злобно зыркнула на застывшую на месте Свету и окончательно исчезла в придорожных кустах.

Света ничего не понимала. Они с Юриком были знакомы больше пяти лет, и никаких странностей за ним она не замечала. Мама у него, конечно, полный вперед, но с ним-то все в порядке!

Когда первая злость на Юрика прошла, Света начала чувствовать, что дело нечистое. Не мог муж уехать от своей семьи в Африку, бросив бизнес (с работы до сих пор звонили по три-четыре раза в день), любимый город и все, что ему нравилось в жизни!

Не мог он начать встречаться с другой девушкой — у него просто на это времени не было, уж Света это хорошо знала.

Так что концы с концами не сходились, и теперь, после странной встречи в парке, Света была почти уверена — следы Юрика, если он их, конечно, оставил, надо искать в Экспериментальном институте генетики.

В записной книжке на букву «К» оказалось много разных фамилий и телефонов, тем не менее Света сразу увидела запись «Лариса Курочкина, тел. ....»

По рабочему номеру сказали, что такая здесь больше не работает, а домашний откликнулся бодрым «алло» Ларискиного папы.

— Ларочка отдельно теперь живет, Света, — любезно сказал папа. — С каким-то, извини меня, жлобом. Дать номерочек?

Света записала жлобский номерочек тут же, в книжке, и начала названивать изо всех сил, так что Афанасий даже несколько взревновал — мама явно предпочитала ему телефонную трубку.

Новое жильё Лариски ожило только к вечеру, и очень приятный мужской голос сообщил, что Лариса в ванной. Конечно, она перезвонит, как только освободится. Конечно, конечно...

В общем, долгожданный разговор подруг состоялся только в одиннадцатом часу вечера. Лариска очень обрадовалась Светиному появлению и пообещала приехать завтра в гости, тем более что Афанасий ей еще не был представлен.

Наутро Света уныло испекла яблочный пирог и стала ждать подругу. Афанасий вел себя на диво мирно, Света даже смогла постирать и погладить его рубашонки.

— Ой, какой маленький-миленький! — зачирикала Лариска, картинно склоняясь над кроваткой малыша. — Можно поддержать?

Света разрешила.

— Своего мне надо! — решительно сказала Лариска, прижимая к себе вкусно пахнущего молочком Афанасия. — Вот теперь, когда я встретилась с Олегом — ой, так ты же ничего не знаешь... — И перевела дух, чтобы начать рассказ, полный мельчайших деталей.

Света испугалась и потому повела себя довольно невежливо.

— Ты знаешь, Ларис, от меня Юра ушел...

— Как?! — Лариска сразу потухла и грустно, и любопытно смотрела на подругу. — Как это — ушел?

Сначала Света хотела сохранить «лицо», а сейчас плюнула и выложила Лариске всю странную историю с Юриковым исчезновением. Попутно заварила свежий чай.

— Когда это было? — строго спросила Лариса.

— В мае.

— Я видела его в институте — он вместе с мамашкой и нашим боссом пошел в лабораторию... И на другой день меня уволили... Светка! — Тут Лариска поперхнулась чаем от ужаса.— Вдруг это как-то связано с воробьевскими опытами? Хотя... да нет, быть не может!

Света поинтересовалась, что это за опыты такие, и когда Лариска рассказала про гениальное открытие профессора Воробьева, то в памяти ярко вспыхнула вчерашняя встреча в парке...

— Не может быть! — Девушки смотрели друг на друга, а чай быстро остывал в кружках. О нем все забыли.

Орест Пиладович Воробьев сидел в своем кабинете и разглядывал фотографии — старые черно-белые и новые, «Кодак». На снимках был запечатлен один и тот же младенец. Юрий. Живое подтверждение его, воробьевской, гениальности. Подняв голову, профессор лукаво заглянул в зеркало, висевшее на противоположной стене: не видать ли светящегося нимба над головой?

Нимба не было. Зато было блестящее будущее, о котором может мечтать любой ученый... Новые средства на новые программы... Блистательные поездки по всему миру. Триумф над американскими генетиками... Наконец, вечная, повсеместная слава, почет и память.

В груди Воробьева что-то потеплело, и он сдержанно чмокнул фотографию Юрика.

Из приемной донесся какой-то шум, и через секунду перед глазами Воробьева предстала худая невысокая девушка с очень красивыми глазами и очень некрасивым выражением лица — его просто изуродовало яростью.

Не успел Воробьев удивиться, как юная фурия схватила бережно разложенные фотографии Юрика и собрала в пачечку, как будто собираясь унести с собой.

— Вы кто? В чем дело? — судорожно спрашивал Воробьев.

— Я его жена, — мрачно сказала девушка.— Вот этого самого младенца.— Она похлопала ладошкой по снимкам.— У меня, кстати, есть еще несколько фотографий — если интересно. Вот, любуйтесь — наш сын. У которого вы отняли отца...

— У Юрия нет детей,— замотал головой профессор.— Хлоя Петровна... она говорила...

— Что еще она говорила? — поинтересовалась Света.— Неужели вы поверили этой старой мымре? Да она просто сбрендилла от ревности! В общем, профессор,— тут девушка громко перевела дух, и Воробьеву показалось, что она задыхается,— возвращайте мне моего мужа как хотите. Иначе...

— Я не могу, милая! — испугался Воробьев. Перед ним, как кони в цирке по кругу, в последний раз пронеслись мечты о славе и исчезли навсегда.— Я не знаю, как это сделать. Потом, эксперимент ведь еще не закончен, и, кстати, имеется подписанный вашим... э... супругом договор.— Орест Пиладович показал Свете, не выпуская, впрочем, из рук листочек, украшенный внизу чернильной закорючкой.

— Это не Юра подписывался,— убежденно сказала Света.— Кто-то за него подмахнул.

Она села в самое близкое к профессорскому столу кресло и задумалась.

— Сколько ему сейчас? — Так неожиданно прозвучал ее вопрос, что напуганный ученый даже не сразу понял, о ком идет речь.

— Три месяца.

— Нормальный ребенок?

Воробьев расплылся в кинематографической улыбке.

— Абсолютно нормальный.

— Жаль, что я для него теперь слишком старая... А вы точно не можете вернуть все вспять?

— Исключено, деточка,— сник профессор, очень не любивший расписываться в собственном несовершенстве.— В ближайшие десять лет по крайней мере.

— Хорошо.— Света неожиданно встала.— Я дам вам шанс закончить ваши исследования. Не потащу вас в суд, хотя вы этого заслуживаете.

— Что я могу для вас сделать? — участливо спросил профессор.— Вы тоже хотите стать маленькой девочкой?

— Я похожа на сумасшедшую? — невежливо отозвалась Света, но потом смягчилась.— Вызовите сюда Хлою Петровну с Юриком. И приготовьте все ваши эликсиры. Срочно!

— Конечно! О чем речь! — И Орест Пиладович набрал домашний номер Светиной свекрови.

— Немедленно приезжайте! — сказал он в трубку и лучезарно улыбнулся смертельно уставшей Свете.

Хлоя Петровна надела на Юрика свеженький памперс. Глянула на себя в зеркало. Симпатичная дама, чуть в возрасте, с очень добрым и приятным лицом. Юрик смотрел на свою маму восторженно, как в детстве. Ему нравилось все, что она делает.

— Мой козленочек! — умилилась Хлоя Петровна.

Интересно, что вдруг понадобилось Воробьеву так срочно? Обычно он предупреждал о встрече хотя бы за день...

В кабинете Ореста Пиладовича почему-то сидела Света. Хлоя Петровна повернула было обратно, но дверь красиво захлопнулась перед ее носом, прямо как в фильме ужасов. Юрик раскричался, ему передалось волнение матери.

— Ах ты старая сука! — Не очень-то вежливой была невесткина реплика, и Хлоя Петровна причмокнула губами, возмущившись. Света, правда, не дала ей сказать ни слова.— Немедленно отдай мне ребенка!

— Да я его своими руками задушу! — злобно сказала свекровь и прижала одутловатой лапой шею младенца.— А тебе он все равно не достанется!

Света взвизгнула, но Хлоя Петровна не успела ничего сделать: мягко подбравшийся сзади профессор разжал ее руку — шутка ли, попытаться уничтожить свидетельство его гениальности!

— Успокойтесь, дамочки! Сейчас мы все решим,— ласково сказал Воробьев и, бережно взяв Юрика на руки, пошел в лабораторию. Жена и мать младенца поспешили следом.

В лаборатории Хлою Петровну почти силой усадили в кресло, и не успела она даже подумать о том, что происходит, как ловкая медсестричка вколола в ее вену иглу. Потекла бледно-розовая жидкость, и Юрик очень громко заплакал. Света взяла его у профессора и стала успокаивать, говорить свое «ч-ч-ч».

Ларисе Курочкиной давно уже надоело сидеть с Афанасием в Светкиной квартире, и она передумала пока что заводить собственного ребенка. Афанасий двадцать раз описался и непрестанно голосил, требовал маму. Однако мама не явилась даже ночью, и Лариса волновалась. Она укачала Афанасия и уже под утро заснула сама.

Проснулась она от громкого телефонного звонка.

— Лариса,— Светкин голос звучал измученно, как будто ее пытали всю ночь,— ты можешь подъехать с Афанасием к институту? Прямо сейчас.

— Конечно,— сказала добрая Курочкина. Быстренько умылась, собрала малыша, и они помчались по едва проснувшемуся городу в Экспериментальный институт генетики.

Света стояла у входа. В каждой руке у нее было по конверту с младенцем. Один конверт завязан розовой ленточкой, другой — голубой. Ларисе стало дурно.

— А что еще, интересно, я могла сделать? — грустно сказала Света и махнула подъехавшей машине, из которой выскочили напуганные родители.

— Что происходит? — спросила мама и нервно закурила.

— Ничего особенного. Это вот Юра, а это — его мама. — Света поочередно приподняла каждый конверт.

— Дочка, с тобой все нормально?

— Со мной — да, а с ними — не очень... Кстати, профессор, — Света повернулась к напряженному Воробьеву, который стоял рядом, — не забудьте о деньгах, которые обещали. Трое детей, знаете ли. Не шутка.

Воробьев закивал, соглашаясь, и странная процессия покинула институт.

Когда нарыдавшиеся родители и уставшая подруга покинули квартиру, оставив Свету с Афанасием, его папой и бабушкой, она стала пристально вглядываться в их невинные личики и думать, что ждет ее детей дальше.

Младенцы вели себя, как участники синхронного плавания, — одинаково вертели ногами и руками, пускали пузыри. Юрик и Афанасий улыбались, а Хлоя Петровна была еще слишком маленькой и просто морщилась.

— Теперь тебя зовут Надя, — шепнула Света в розовое младенческое ушко.

Орест Пиладович Воробьев, выпив полбутылки микстуры Павлова, до самой ночи работал в лаборатории над новой формулой. С условным названием «Эликсир Обратного Пути».

— Обратного пути у нас нет, — сказала Света младенцам и подошла к окошку.

Воздух остывал, и солнце исчезало за трубами металлургического завода, директору которого часто казалось, что он сам — солнце.

*г. Екатеринбург*





**ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ***Как всегда*

Дым от кофе над чашкой из злого фарфора  
с трещиной. В банке — слепые тюльпаны.  
Сводит зубы привкус дождя и ментола.  
На грязном столе пустые стаканы.  
Впрочем, всё, как всегда.  
...На крыше, верно, сейчас так больно:  
дождь хлещет сухие, разбитые губы  
наотмашь, со злобой. А дальше безвольно,  
невинно летит на железные трубы...  
На самом краю стоять так больно.

Эти стены, пол, потолок и гитара —  
вот и всё, что есть у тебя на сегодня.  
Но тебе отчего-то этого мало,  
и зачем-то манит тебя преисподня.  
Впрочем, как всегда.  
...На крыше, верно, сейчас так страшно  
(разбитыми перьями в камни — брызни!)  
стоять, вспоминая день вчерашний,  
а может, вчерашние, прошлые жизни...  
На самом краю стоять так страшно.

А люди вокруг всё спешат куда-то,  
им нет до тебя никакого дела,  
ведь им всё равно, что душа крылата,  
а тело устало. Бедное тело!  
Впрочем, всё, как всегда.  
...На крыше, верно, сейчас спокойно:  
просто смеяться под синей звездой;  
раскинуть руки крестом так вольно...  
И ветер подхватит, горча лебедою.  
Легко и спокойно...  
Покойно...

\* \* \*

Ребенок с завязанными глазами,  
позвякивая колокольчиком,  
шел по длинной белой дороге  
между вереском, мятой и пылью.  
Заходил на чужие пороги,  
за плечами людей искал крылья  
и верил, что однажды найдет.

Но люди давно забыли,  
как это — летать.

Юноша с завязанными глазами,  
позвякивая колокольчиком,  
долго искал подругу  
с глазами степной волчицы,  
бродил в темноте по кругу,  
заглядывал людям в лица,  
как будто бы мог видеть.

Но люди давно забыли,  
как это — любить.

Старик с завязанными глазами,  
позвякивая колокольчиком,  
уходил по дороге на север;  
между соснами, ветром и мхами  
искал медуницу и клевер.  
А люди кидали камни,  
лишь только его завидев.

Ведь люди давно забыли,  
как это — быть людьми.

\* \* \*

Когда разбивают кумира,  
черепки лежат еще долго  
в пыли, у края дороги.  
Люди проходят мимо,  
смотрят себе под ноги  
и видят осколки мира  
с одной черной звездой —  
розового и огромного.  
Люди приходят домой,  
укрываются теплым пледом  
и кофе пьют из бездонного  
лопнувшего термоса.

А глупец из идущих следом  
склеивает осколки  
окаменевшего космоса  
и поклоняется им.

И только потом невольно  
он видит темные дыры  
вместо глаз и следы от клея.  
Мир розовый тает, как дым,  
и глупец заряжает винтовки.

**А ГЛИНЕ СОВСЕМ НЕ БОЛЬНО.**

Когда разбивают кумира,  
Глупец умирает вторым.

*г. Иваново*



**КРУГИ НА ВОДЕ**

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА\*

*Имя Клёна*

**А**нгел Девятого чина Руахил, что значит *благодатный ветер*, служил на Корабельном поле. Строго говоря, дикому полю, перелеску или маленькой реке не положен отдельный Ангел, но когда-то на Корабельном поле был поставлен закладной крест.

Петр Симонов, известный физик, получил поле и сосновый лес за ним в качестве уплаты по вексялям. Петр Платонович собирался устроить здесь дом и образцовую ферму на английский манер, но все дело ограничилось приездом землемера и благодарственным молебном с установкой деревянного креста на месте будущей церкви.

За восемьдесят с небольшим лет, прошедших с того молебна, из проросшего, не без помощи Ангела, креста вырос Клён. Руахил не знал, можно ли считать это исполнением обета, но каждое утро молился у дерева, которое в каком-то смысле и являлось домовою церковью Симоновых.

Стараниями Ангела чужие люди Корабельное поле не пахали, на нем не сеяли просо и не косили траву. Едва заметная тропка вилась среди кочек и замшелых камней, отмечая кратчайшее расстояние от брода на реке Оредежь до одноименной станции.

На заливном краю поля жили жадные чибисы, на высоком — жаворонки и полевые мыши. Иволга плела гнездо в речном ивняке, и рябиновый дрозд не на шутку бился с воронами, защищая свое воздушное пространство.

Руахил слышал, как прорастают травы, ворочается птенец в яйце, как земные соки поднимаются по жилам Клёна до самых высот. Иногда Ангел беседовал с деревом. Это был странный разговор древнейших земных существ, чей вечный спор о первородстве состоял из одного только слова, которое они повторяли попеременно на разные лады: Ангел — на выдохе, Клён — на вдохе.

У Клёна, как и у Ангела, было имя. Каждую осень, когда созревали семена, он вспоминал его, а едва начиналась зима — забывал.

За годы службы Ангел выучил человеческие имена трав и деревьев и зачастую пользовался ими, чтобы лишний раз не тревожить словами *Третьего дня* короткую память растений, которая есть особый фермент, содержащийся в семенах.

Ангела занимала неподвижность деревьев и, с другой стороны, их готовность повиноваться ветру. Руахил решил, что растения созданы Господом, чтобы отмечать пути ветра, подобно тому, как реки созданы, чтобы видеть пути воды.

Мир сотворен в шесть дней не для одних лишь Ангелов, и никому не осознать совершенства, которым он преисполнен. Так, Руахил понимал, что никогда не сможет достичь той полноты осязания, на которую способен Клён, не разглядит, подобно шмелю, среди множества печальных пустоцветов бутон радостный, плодоносный.

---

\* Роман выходит в издательстве «Амфора».

То, что виделось Ангелу сплетением ароматов и лучей, изящным вензелем Творца, подписью на творении,— служило пищей для иволги. И напротив, грубые краски и резкие запахи, делавшие некоторые предметы отвратительными для Ангела, у пчел или полевок были чуть ли не идолами.

Но все эти наблюдения относились только к Земле. Небо Господь сотворил для невидимых. Каждое утро Руахил с восторгом и ужасом смотрел в небеса, где разворачивалась могучая мистерия света, божественная драма, в которой оживала вся Священная история — от Бытия до Откровения.

Помимо птиц и деревьев, Руахил иногда встречал в поле подобных себе. Ангелы, заметив его, по чину раскланивались, враги стремительно исчезали. Ведь Руахил был Хранителем, и в правой его руке мог в любую минуту возникнуть меч, на широком лезвии которого огненными буквами грозно сверкала молитва с Именем Господним.

Меч, возможно,— самое известное из Ангельских изобретений.

Зарницы и бесы не интересовали Ангела. Это племя было самым младшим на свете и не застало Землю молодой, когда на каждом стволе или камне еще сохранились отпечатки рук Создателя, и эхо сотрясало ветер, ритмично запуская в него тихие, но внятные отголоски слов, из которых был составлен Белый Свет — иллюстрированный лексикон Творца.

У врагов не было памяти, они не знали, зачем живут.

Можно жить в небесах и ничего не понимать, потому что, пребывая внутри постоянно дпящегося чуда, забываешь восхищаться им. Привыкаешь и начинаешь говорить о небе и о себе, как о погоде и здоровье. В горних такое происходит не реже, чем на земле, но внизу *не помнить* — гораздо легче.

На земле вообще жить легко, особенно деревьям. Жизнь их проста и праведна, и даже если дерево кого-то убивает, виной тому буря.

Господь не судит деревья. Когда в липу вонзается молния, она нацелена в того, кто укрылся в дупле. И когда ветер стелет траву по земле, он знает, что трава распрямится.

Руахил смотрел из-под руки на самолет, издали похожий на ласточку, а при ближайшем рассмотрении напоминающий синего кита. На носу сидел Смоил, *Покровитель странствующих*, он печально махнул Руахилу крылом. Руахил понял жест и закрыл лицо ладонями.

Над Корабельным полем качалось серебристое облако.

Когда на Оредежи построили плотину, в верхнем течении реки стало меньше ласточек. Вода подмыла берега, затопила ласточкины норы в красных береговых откосах.

В ночь, когда рыба шла вверх по реке на нерест, Руахил на несколько часов останавливал течение и поднимал заслонку плотины. Крутил скрипучее железное колесо, смазывая механизм молитвой. Стоя на красноватой, прозрачной стене воды, он смотрел, как синие тени рыб входят в неподвижную реку, словно зерна в пашню.

Ангел любил смотреть в воду. Однажды он спустился вниз по реке до самой Луги и дальше, до моря. Он сидел на песчаной дюне и смотрел, как зеленые волны лижут берег. Он помнил море не зеленым, а теплым и золотистым,

когда в море, как хмель в пиве, бродила жизнь, и волны то и дело выбрасывали на берег диковинных гадов, которые тут же расплозились по окрестным пескам.

В море водились твари, которых забыл Господь. Они возникли не по глаголам его, а как бы по звукам, происходящим при вдохе. Это были случайные брызги на холсте Творения, и большая часть этих мелких изъянов была стерта Всемирным потопом. Но те, что обитали в глубинах, просто ушли на дно, и камни служили им пищей.

С тех пор из его реки утекло много воды, прошло много времени.

Ангел представлял себе время, как дерево с горящей кроной. И сгорает оно быстрее, чем растет.

Но это лишь видимая часть. У этого дерева горит не только крона, но и корни. Там, в мрачных глубинах, где реки текут от устья к истокам, а пепел на папиросах курильщиков превращается в табак, скачут из будущего в прошлое четыре бледных всадника, и пыль всасывается в подковы их коней.

Руахил думал, что Господь застыл в благословляющем жесте, и мир поместился между его ладоней, как буква «о» в слове «Бог», но однажды руки опустятся, и случится Большой хлопок.

Конец Света является частью Замысла, и обратный отсчет начался в первые минуты Творения, когда произошел Конец Тьмы.

Ночью на Корабельном поле пел соловей и трещали цикады. Ангел сидел под Кленом и подпевал. Он то передразнивал арабески птицы, то уходил в фоновые переливы насекомых, то решался на соло. Тогда поле затихало, и только синие колокольчики мягко позванивали в такт его горним распевам.

Пение служило Ангелу тем же, чем человеку речь,— средством общения. Руахил умел говорить на трех языках, принятых в Церкви, и еще на русском, но пользовался ими только применительно к травам. В человеческой речи для Ангела слишком мало глаголов. На небесах не называют предметы, там описывают их сложные движения и взаимодействия. Руахил знал триста глаголов, характеризующих ветер. Вообще-то и сам ветер не являлся для него существительным.

Даже человеческое ухо слышит в этом слове: *вертеть, веять, петь*.

Поиски точного слова — не праздное занятие для Ангелов. Их слова материальны, и поговорка «сказано-сделано» — вульгарный перевод с Ангельского.

Как-то раз Руахил одним словом запретил тем, кто ростом выше травы, ходить на Корабельное поле. Козы, собаки, лисы получали щелчок и поворачивали прочь. Но когда дети дачников со своими корзиночками и удочками стали биться о прозрачную сферу, словно чижи о стекло, Ангел поймал слово в воздухе и съел его. Слово было на вкус как щавель.

Руахил был существом в основном невидимым и в этом своем состоянии походил на порыв теплого ветра, на отсвет солнечного луча. Для полетов ему нет нужды в крыльях. Крылья — это традиция, канон, которому следуют Ангелы на глазах посторонних.

Ангел Корабельного поля делался видимым в минуты глубокой задумчивости или печали.

Руахил не построил себе дома, как человек, и не свил гнезда, как птица. Ночью он привязывал себя за пояс шелковой ниткой к ветке и парил над деревом-церковью, словно золотой шар.

А когда он смотрел на ночное небо с земли, сквозь крону Клёна, ему казалось, что звезды висят на ветках, как яблоки в Едеме. Ангел даже слышал их запретный запах.

Ангелы видят гораздо больше звезд, чем люди, и, по их представлению, они иначе сгруппированы на поверхности неподвижных сфер. В небесах Ангелы видели не языческих богов и животных, но вселенскую Азбуку, которую Господь записал на тверди в четвертый день Творения, уже после того, как создал дерево.

Ангел Девятого чина Руахил стоял над полем, которое называют Корабельным, как туман над рекой. Ветер качал колосья мышиного ячменя, и они касались усиками сандалий Ангела, тербил его белый хитон, трепал каштановые волосы, гудел в синих, с серым отливом, маховых перьях. Ангел стоял, опустив голову, и рассматривал гнездо жаворонка, спрятанное в коленях травы. В гнезде лежали три крапчатых яичка, жаворонок тревожно порхал поблизости.

Ангел улыбнулся, поднял руки, и жаворонок послушно уселся ему на ладонь. Ангел поднес птицу к лицу, осторожно развернул крылышко и стал рассматривать, как оно устроено.

На поле набежала тень облака. Ангел посмотрел вверх, легко подбросил жаворонка, и тот взвился так высоко, что даже Ангел на мгновение потерял его из виду.

Вдали, за прохладным хвойным лесом, загудела электричка. Ангел прищурился, словно вспомнил что-то важное, расправил огромные крылья, которые стали теперь почти прозрачными, не делая взмаха, поднялся над полем и по спирали ушел в зенит, туда, где звенела узорчатая песенка жаворонка.

### *Физик и зверолов*

Река Фисон обтекает землю Хавила, где оникс, золото и горный хрусталь.

Река Гихон уходит в землю Куш.

Река Хиддекель следует в пустынные земли, теряется там, в богатых рыбой и лотосом зарослях тростника.

Река Аракс проваливается в Преисподнюю.

Река Евфрат течет по Небесам.

Я лежу на спине и смотрю, как рыбы парят в ее вязких сиреневых водах.

Рыб называют звездами, хотя похожи они совсем на другие знаки.

Я лежу посредине русского поля, в поле — ночь, в ночи бормочет Оредежь. В деревне за лесом брешут собаки, и тяжелые люпины у меня в головах занимают с ветром любовью. Колос тимopheевки согнулся от аварийной посадки майского жука. Я никому не мешаю, лежу тихо. Никто не станет искать меня здесь, тем более что это не единственное место на свете, откуда видны небеса.

Мои старые родственники почти все уже умерли, а молодые спят.

Ветер нагоняет с Балтийского моря мелкие облачка, они затягивают реку Евфрат, словно ряска.

Я замерз и запутался в травах. Кажется, я лежу тут с прошлого века.

Дед по матери научил меня неподвижно лежать часами. Дед был сильный зверолов перед Господом. Его крепкий бревенчатый дом был украшен перьями стерха, рогом изюбря и простреленной в двух местах шкурой медведя. Из детства мне особенно памятливы его охотничьи амулеты: волчьи зубы и зеленые самоцветные камни, похожие на глаза.

Когда бы я не увидел небесную реку, жизнь моя могла бы сложиться иначе. Только вообрази себе: дед всю жизнь истреблял зверье, а внук его — зверь.

Зверем быть не стыдно. Каждая тварь причастна к Священной истории, был конь, которого сотворил Господь, а назвал Адам, был волк, которого призвал на Ковчег Ной, был голубь Иафета и ворон Хама.

Над полем полыхнули зарницы. Говорят, это тени существ, обитающих в пламени. Должно быть, на брошенной ферме загорелась гнилая солома.

Во время войны зарницы кружили над городом, как вороны над цыганской лошадей, и бросались на деревянные склады и библиотеки, опережая порой зажигательные бомбы. Это называется *самовозгоранием*.

За войну род зарниц разжирел.  
Война многим служила хорошим прикормом.

Мой дед, например, покупал у мародеров серебро, расплачивался проросшим зерном и вяленным мясом. Серебро хранилось в бане под полом. В семье до сих пор запрещено говорить об этом с посторонними.

Как-то раз дед заперся в бане и шесть дней сидел там на одной воде. А когда на седьмой вышел, в руках у него был не известный науке прибор. В основании прибора располагался ящик, наполненный серебряным ломом, к ящику крепилась проволочная рама, на которой, в свою очередь, была натянута тонкая шелковая сеть.

Это была *ловушка* для Ангелов.

Яков Фомич Шальнов, мой дед по материнской линии, считал, что на всех нас лежит проклятие — не исполненная каким-то не очень далеким предком епитимья. Нашего дома сторонятся Ангелы. Оттого-то никто из мужчин нашей фамилии давно уже не умирал своей смертью. Женщинам же не удавалось сохранить ясность рассудка.

Сто пятьдесят лет Шальновы-мужчины гибнут в войнах, на охоте, в авариях, а женщины сходят с ума, ожидая похоронок и срочных телеграмм.

Некому отвести от сердца свинцовую пулю, повернуть эбонитовый руль. И никто не нашепчет вдове утешительную молитву, не распишет ее окна ледянками-елочками на Рождество.

Когда в доме нет Ангелов — там тоскливо и сыро, и простые, как яблоки, материнские просьбы не долетают до Бога, разбиваются об облака.

Никто не знает, в чем именно состояла епитимья, но, судя по наказанию, была наложена за убийство. Предок был, видимо, человек веселый и беспечный, и нож, который он воткнул в брюхо собутыльнику в придорожном трактире под Ельцом, подрезал наш род до седьмого колена.

Единственным шансом на спасение семьи, по размышлению деда, могла стать поимка Ангела. Привлеченный блеском серебра, Ангел должен был запутаться в сети.

Начищенный золой белый металл полыхал прозрачным огнем, как вода на ветру. Дед поставил ловушку под цветущей яблоней и отправился было колоть дрова, но вдруг упал, разбитый ударом.

Я только таким, парализованным, его и застал. Жалкий, вонючий, с усохшей ногой и почерневшим лицом, он лежал в белой горнице, в красном углу. Когда я подошел ближе, дед заплакал.

Господь не послал старику Ангела. Он дал ему то, чего дед не умел попросить,— непостыдную и мирную смерть.

В устройстве же ловушки было рациональное зерно. Разумеется, Ангела нельзя поймать в сети. Некоторые из них проходят сквозь солнце, не попав в пера, но любопытство их безмерно. И ящик с небесным пламенем под белым деревом вполне может служить приманкой.

В «Omni» как-то писали, что ирландские натуралисты обнаружили Ангела в подземных муравьиных садах. И занимался он там, кстати, примерно тем же — изучал замысел Творца. Правда, для этого ему не пришлось разорять муравейник.

Усилия науки, агрессивно познающей мир, смешат меня. Создатель Вселенной обдумывал свой план на протяжении Вечности, чтобы сотворить в семь дней. Не было ни пространства, ни времени, лишь тьма над бездной и дух над водой. И тьма эта не рассеялась, пока не была найдена форма каждого пятна на пере ястреба, каждой прожилки на листе герани.

У любопытствующих слишком мало времени, чтобы самостоятельно понять, как устроена божественная игрушка, и слишком низменные цели, чтобы рассчитывать в этом занятии на помощь свыше. Будильник не поймет часовщика, даже если объяснит некоторые движения своего механизма последовательным вращением шестеренок и осей, на которых, как известно, и держится Мир.

Я открыл глаза, провел по лицу ладонью. Откуда я взялся здесь? Ночью, один, посередине поля, на дне холодной реки Евфрат.

Я закрыл глаза и стал вспоминать.

Так: я сел в самолет в Хитроу и полетел домой, потому что у меня кончилась виза и еще потому, что накануне мне звонила сестра, ей срочно нужно было со мной повидаться. В дороге я разговаривал с оробевшей от перелета студенткой, пил воду без газа, зачем-то отказался от обеда, спал.

Я даже помню, что мне снилось — тихий прозрачный лес, золотистый свет, начинается осень. В лесу нет ни души, только тихое движение в травах.

Воспоминания о сне становятся первыми кадрами нового сна, или старой яви: лес быстро редел, за ним началось желтое овсяное поле, за полем — дорога, овраг. На высоком берегу оврага старый дом красного кирпича, в котором я жил с мамой осенью семидесятого года. Дорога спускалась в овраг, к тракторному кладбищу и мастерским. Весной и осенью трактора месили на ней липкую грязь, вязли, утопая по втулки. Летом грязь превращалась в пыль. Пыль закручивалась на ветру в невесомые спирали, разбрызгивалась, как вода, под ногами пешехода или под колесами грузовика. В жаркий день на дороге можно было найти место, где пыли выше колена.

На дорогу можно было прыгнуть и кувыркаться, нырять, ударяясь о камни и гайки на дне. Можно было кидать на дорогу комья глины, что оставляли в пыли воронки, как бомбы, или кратеры, как болиды,— смотря во что играешь. На вкус пыль была солоноватой, на цвет не отличалась от морского песка.



Она была словно горячая кожа, наши прикосновения были почти греховны и задевали во мне что-то нежное. Я многим обязан этому праху, а чем расплатиться — не знаю.

Возьми тело мое, мать-земля.  
Отец-ветер, свей из меня спираль.

Род Шальных от вымирания спас не Ангел-невольник, а мой отец. Брак моей матери с младшим сыном известного физика Петра Платоновича Симонова поправил дела семьи. Отец в те годы был человеком добрым и энергичным. Кроме того, по меркам времени, о котором речь, он был просто богач.

Отец перестроил шальныйский дом, превратив его в дачу, рога и шкуры велел убрать в кладовку, а на освободившихся гвоздях развесил картины своих друзей — безродных космополитов.

Деда-физика я не помню, мы разминулись с ним на тридцать пять лет. Семейное предание гласило, что именно мне, первенцу своего младшего сына, он завещал кое-какие бумаги, вроде бы даже купчую на землю, но завещание вместе с архивом, коллекцией французских гравюр, рукописным Уставом Калязинского монастыря и другими фамильными ценностями то ли сожрал пожар, то ли закатил куда-то один из переездов.

Не исключено, что именно симоновское серебро надраивал в бане Яков Фомич. Знал бы зверолов, с кем породнится его дочь-дурнушка, был бы с нею поласковее.

Отец помог моим теткам найти работу на какой-то новой фабрике, где шили форму для летчиков. Как говорила мама: если бы они не повыскакивали замуж, он бы на всех сразу женился. Жизнь налаживалась, и даже когда мы на три года уехали в другой город, ничего страшного за время нашего отсутствия не случилось. Разве что мой дядя врезался в грузовик на мотоцикле, но не погиб. Даже не стал инвалидом.

Сестры Шальные поняли: старое проклятие дает отсрочку. Так мы и жили потом много лет в перемирии с судьбой.

Помню только отец однажды сказал:  
«Часа рождения человек не помнит, а часа смертного — не знает. Живет, как камень с горы падает. Сомкнешь глаза — а в ушах шум ветра, закроешь и глаза и уши — кожей чувствуешь опасные стенки пропасти».

Дело было, кажется, в Лосево. Мы стояли на мосту и смотрели, как вода, изгибаясь, катится на пороги. Я удивился. Отец, оказывается, как и все мужчины в семье, боялся внезапной смерти. Меж тем его Ангел хранил нас всех.

У меня странные отношения с родителями. Я люблю тех людей, с которыми прошло мое детство, но эти жадные брюзжащие старики ничуть не похожи на них. От тех, прежних, не осталось ничего, даже одежды. Те были великаны, небожители, умеющие поймать чижа и отогнать палкой грозное облако от речного пляжа. А эти верят в прогноз погоды и *неблагоприятные дни*, экономят на электричестве, вместо *Благодать* говорят *энергия*.

История наших отношений называется *Гибель Богов*.

Или это сравнение с камнем. Я не понимаю, почему человек, столько претерпевший, чтобы правильно сложить свою жизнь, боится смерти. Ведь только там, за горизонтом, его усилиям дадут настоящую цену.

В поле сладко запахло клевером. Мои сестры по солнцу, воздуху и воде — ласточка, иволга и синица — начали первыми. Постепенно к Корабельной оратории подключались и другие инструменты.

Я тоже открыл глаза, и в такт им дышал.

Прошло некоторое время, и я смог, наконец, подняться. Над лесом совершалась заря. Я собрал с листьев росу, умылся. Потом перекрестился на восток и побрел к лесу.

Я видел, как ворона крадет яйцо из гнезда чибиса, как купается в утреннем ветре липа. Вершины синих небесных холмов наливались розовым цветом. Я был на холме земном. Передо мною стоял русский пейзаж, в котором нет места человеку: голубое небо, изумрудные травы, неоскверненные мужицкой косой, белый камень в ложбине и огромный ветвистый клен — там, откуда расходились лучи.

Я догадался, что случилось вчера. За спиной завыл осиротевший чибис. Я оглянулся и долго смотрел на медную реку.

И вдруг понял отчетливо и ясно, что не чужой здесь, потому что уже не вполне человек.

### *Волк Ноя*

Все твари земные старше человека. Мир уже существовал, когда Адам открыл глаза и увидел его. Из Священной истории мы не знаем, что предстало его юному взору. Наверное, река, подернутая золотистой рябью, дерево, уходящее кроной в небо, безымянное существо, шуршащее в палой листве.

Адам был первым человеком, первым волком был Гер, и к тому времени, когда Адам обнаружил себя лежащим на берегу реки Хиддекель, Гер уже обследовал сухую часть мира, оставляя мускусные метки на толстолобых валунах и белых стволах платанов. Гер не был травоядным, но и не охотился. Птицы, звери и гады питались тогда душистым ветром Едема. Ветер служил первым пристанищем Господа, и когда Творец отделился от ветра, он оставил в нем Благодать.

Первый волк получил имя от Адама, и означало оно — *Странник*.

Кроме адамовых имен, Едемские твари помнили и те глаголы, которыми их сотворил Господь. Звериная глотка не может произнести эти звуки, да и не следует. Слова Господни даны всем видимым, кроме человека, вместо бессмертной души.

Гер был отцом всех волков, а Луна — матерью. Ее серые глаза видели Ангелов до седьмого чина включительно, и на холке, среди голубоватой шерсти, она носила прядь холодного огня, в том месте, где Господь коснулся указательным пальцем.

Гер и Луна спали в густой траве, когда Адам поднялся с земли и отмывался в реке от избытка глины, которой были заполнены его рот и уши. Волк вдохнул ветер. Запах нового существа тревожил его. Адам стоял на желтой речной отмели на коленях и пытался рассмотреть в воде свое отражение, но видел только водяных жуков, что ползали по дну среди горячих солнечных бликов.

До сих пор все видимые были равны, никого из них Творец не выделил, не уподобил себе. Волк понял, что Адам на особом счету у Создателя, и ревновал.

Адам поймал водяного жука, с хрустом съел. Волк поморщился и опустил голову.

Луна тянулась носом в его ухо. Гер фыркнул, лизнул волчицу. Глаза ее горели желтым любовным огнем. Ночью Гер и Луна ушли за Тигр и там, в прозрачной роще, где росло дерево гофер, устроили первое в мире супружеское ложе. Луна пела о прозрачном огне, что заполняет пустоту между небесными светилами, и о желтоглазых *Силах*, которым дана власть над этим огнем.

Гер спал у ее ног и слышал сквозь сон, как в животе у волчицы ворочаются первенцы — Рем и Ромул. Ему снились сизые камни, сонные поля конопли, скользкие отражения звезд в зеленой воде. Сон волка ничем не отличался от яви, и порой ему трудно понять, на каком он свете. Волк спит с открытыми глазами, но взгляд его не поймать.

Гер проснулся, потому что из его зрения внезапно исчез цвет. Волк вскочил, затряс головой, стал тормошить Луну. Волчица дремала. Ее миндалевидные глаза были наполнены слезами, в которых плавали тени щенков.

Мягкое брюхо ночи распорол удар грома. За рекой, в Едеме, кто-то заголосил.

Волки заскулили от страха. Луна прижалась к земле, прикрывая живот. Отец волков исподлобья смотрел, как от пахнущего дымом ветра сворачиваются листья на деревьях, и ощущал, что в нем рождается еще одно не знакомое раньше чувство — голод. Тупая боль раскручивалась у него в утробе, пробивала от *чутья* до когтей. Словно внутри сидел еще один волк, который хотел выбраться, царапался и глодал изнутри позвоночник.

Луна подскочила и побежала от *отца* прочь. Гер жадно глотал сухой мох и кусал землю.

Утром первого дня после грехопадения Адама и Евы Гер вкусил первую кровь.

Он бежал по берегу, держал след волчицы и вдруг увидел молодую лань на речной косе. Лань сломала ногу и оцарапала о камни спину. Видимо, упала с обрыва. Гер остановился и долго вдыхал запах крови. Его мускулы, как змеи на равноденствие, свивались в клубок. Восточный ветер после того, что случилось ночью, уже не мог насытить его.

Гер качнулся назад и совершил боевой прыжок.

Когда пришел вечер, к реке спустилась Луна. Отец знал, по каким приметам она нашла его. Он облизал ее морду и довольно заурчал. Волчица робко притронулась к мясу.

Ночь украсила небо звездами, и знамение, в которое они сложились в ту ночь, предвещало изгнание, кровь, пот и тяжелые роды.

Стоя на горе Анк, они смотрели, как птицы кружат над первобытным лесом, как уныло бредут прочь из него звери и спасаются бегством гады. Господь оставил без наказания только деревья, хотя от их плодов все и началось.

Долго ли, коротко ли искали волки себе приют, но жизнь их помалу устроилась.

Однажды утром мать разбудила отца до света. У нее отошли воды, и выглядела она очень смешно и рассеянно. Отец ткнулся мордой в ее плечо, успокаивал. Волчица вдруг стала его гнать, оскалилась, зарычала.

Волк отбежал за камень и смотрел оттуда, как кости раздвигаются в теле матери и открывается чрево. Из лона волчицы текла терпкая слизь. Луна волнообразно извивалась, заходила в монотонном крике.

Волк покачивался и в такт подпевал, когда услышал, как плачут щенки.

Отец показался из-за камня и сказал, обращаясь к Рему: *«Я видел, как ты родился, ты увидишь, как я умру, и, значит, род наш не пресечется»*.

Гер сказал эту фразу на певучем наречии Ангелов, потому что она не ложилась на волчий язык.

Язык волков гортанен и неблагозвучен. В его основе три группы звуков: писк, хрип и вой. Трагедия волка в том, что, имея абсолютный слух, он не может повторить музыку. Лексикон волка мал и схематичен. Свободно он может объясняться только на две темы: охота и любовь.

Разумеется, есть исключения. Средневековая легенда гласит, что Хильдегарда Ван Бинген беседовала на латыни с волком по имени Птолемей и даже вставила некоторые его изречения в трактат *«О дыхании»*.

После Рема и Ромула у Луны девять лет не было детей.

Рем любил слушать песни матери про горний огонь, подземный ветер и синие пальцы Создателя. Ромул изучал ремесло отца. Он стал лучшим охотником в допотопном мире, жестоким и хитрым, и даже бесплотные духи опасались его. Ромул видел смерть столько раз, что перестал ее бояться, и убивал не для того, чтобы насытиться. Его огорчало лишь то, что, кроме Луны, на свете не было ни одной волчицы.

Однажды, когда Рем и Гер крепко спали, Ромул вошел в логово своей матери и познал ее. От срамного любовного жара у Луны вытекли оба глаза.

Когда взошло солнце, Рем искал Ромула, чтобы убить его. Гер встал между ними, посмотрел на блудного сына так, что у того пошла носом кровь.

*«Никто не будет вредить ему, — сказал Гер. — Вот мое слово: пусть он уйдет. Не весь мир перед ним, так пусть он от меня отделится, если ему налево — мне направо. Я, Гер, говорю это, пао»*.

Ромул ничего не ответил. Он ушел в землю Хавила, где ложа рек выложены золотыми самородками, а из трещин в скалах капает дикий мед. Там он взял себе в тени змееголовую Лилу, и от его семени произошли псоглавцы и василиски.

Рем отправился в землю Куш, где соль выходит из земли, и лизал соль.

Луна понесла от сына своего и родила белый камень, похожий на яйцо. После этих родов с нею случилось происшествие. Она как бы слилась с ночным светиллом. Сделалась родимым пятном на его лице, когда встречала желтый восход на горе Зеон.

От того проходивший мимо Адам и назвал ее тем же именем.

Мать волков спускалась с холодной горы лишь в новолуние, когда свет засыпает на руках тени. За сорок лет Гер тридцать раз познал слепую жену свою, и она принесла ему множество детей.

Дети Луны и Гера распространились по всей земле, и земля кормила их, как некогда их родителей кормил ветер.

Когда Гер умирал, задавленный деревом, лет его на земле было семьдесят семь. Волк-одиночка, белый от соли, с кристаллами вместо глаз пришел проводить его.

Луну же никто не увидел мертвой.

В морозные русские ночи волки молятся своей матери, протяжно и заунывно призывают ее.

Дети Луны стали называть именем *Гер* своих вожаков. От Адама до Ноя их было ровно двести, и последним был Гер Синеглазый — грозовой волк. Когда он особым образом смотрел на жертву, из темного зрачка его, тонко звеня в воздухе, вылетала молния.

Однажды Гер Синеглазый спал в серебристой траве на песчаной дюне и ему в сновидении явился Ангел в образе буревестника.

Ангел протянул волку желтую кость и заговорил:  
*«Собери народ свой, и мечите жребий. Тот, кому выпадет, пусть возьмет себе жену, и отправляется к дому человека по имени Иафет сын Ноя. И пусть делает все, что скажет ему».*

Гер Синеглазый взял кость и одним прыжком вернулся обратно в явь.

Триста Ангелов повернули небесное колесо, *механика* скрипнула и завертелась. Над дюнами попарно зажигались супружеские планеты и звезды. Взошла Луна.

Гер Синеглазый задумался. В глазах его угрожающе блеснуло электричество. Он резко, как горнист, вскинул голову к небу и выкрикнул условный сигнал.

У горизонта его эхом повторил другой волк.

К утру, когда звезды поредели, тревожная весть обошла круглую, как хурма, Землю, и застала Синеглазого на горе Анк, где собиралась стая.

Гер сказал, что было открыто. Волки молча уселись в круг и передавали жребий друг другу, пока Синеглазый пел.

Синеглазый остановился.

Желтая кость выпала рыжему Улиссу. Никто не знал, зачем нужен был выбор, и потому никто ему не завидовал.

Улисс взял в жены Волгу, молодую волчицу, просторное тело которой было хорошо для потомства. Он сразу выбрал ее из тысячи двухсот и, не умея понять причину, считал, что это любовь. Улисс и Волга отправились искать человека. Погода стремительно портилась. Ветер срывал ядовито-зеленую пену с разволнованных рек.

Волки стояли на священной горе серой и плотной, как грозное облако, стайей. Дождь то хлестал гору хлыстом, то покрывал покрывалом. Красные токи реки Фисон вошли в зеленую реку Хиддекель, как огонь в траву. Стихия пенилась,

взрывалась и наступала, фонтанами била из-под земли, лилась из небесной бездны.

Изредка в прорывах стремительных облаков мелькала Луна, на миг казалось, что битва утихла, но с востока подтягивались новые тучи, и все начиналось сначала. Когда река подступила к стае вплотную, Гер Синеглазый велел задушить волчат.

В гору ударила молния, запахло паленой шерстью. Из пробитого камня на вершине капал металл.

Хрустальная сфера лопнула, и на землю посыпались осколки первого неба. Стало светло, как в полдень, и Волки увидели ковчег. Он прошел совсем близко, едва не пропоров смоленый борт о скалы. Вожак бросил на ветер слова прощания.

Шторм затихал, но ливень только усилился. Волки стояли по плечи в воде. К горе подбирались жестокие морские гады.

Улисс и Волга спали в трюме обнявшись. Рядом с ними возилась дикая свинья. Причитала обезьяна.

Улисс видел во сне, как его отец касается языком лунной дорожки, жадно пьет из нее, захлебывается.

Волга не видела снов. Она была еще молода, чтобы общаться с бесплотными. Волга просто отсыпалась впрок. Впереди у нее была вся мировая история.

### *Город Ангелов*

До того как возникла Англиканская церковь, Теофил числился по небесной табели в Девятом чине. Ему было предписано содержать в порядке мост на реке Кэм, сажать корабельные леса в защищенных от северного ветра долинах и отмечать родинками детей, которые пяти лет от роду продолжали видеть его. Такие годились в лоцманы и священники.

Когда, движимый гордыней и похотью, король провозгласил себя Наместником, многие Ангелы отвернулись от него и покинули Британию. Одни из них пересекли Ла-Манш, другие, которых Бог отметил рыжими волосами, отправились в Ирландию, где в полях устроили свои невесомые дома и учили крестьян грамоте.

Теофил не мог бросить свои еще неокрепшие леса и остался. Тем более, что после Исхода некому стало отводить от Острова шторма, и ненастными ночами морские брызги и хлопья пены долетали до реки Кэм. Так он стал младшим Ангелом и, молясь об изобилии плодов земных, поминал теперь не Папу, а короля.

Когда в стране становится мало Ангелов, ей требуется больше образованных людей. Забот у Теофила прибавилось, теперь он присматривал еще и за Университетом.

Он появлялся на ярмарках, публичных казнях и сельских праздниках и выкрикивал афоризмы великих философов древности в собственных переводах на Ангельское наречие. Те, кто слышал в плеске толпы хоть одно постороннее слово или даже пустой звук, годились в студенты. Но таковых находилось немного, и тьюторы возились с глухими.

Однажды в Бристоле, в портовом кабаке, он нашел женщину, которая не только слышала его, но и умела ответить. Теофил почувствовал в ней родную кровь, и это ему не понравилось. Ангелиде не пристало вытирать жирные руки о фар-тук, разбавлять ром водой и браниться с матросами. Кроме того, колледжи для женщин были закрыты, и вместо *Даршиловой дочери* Теофил завербовал бледного юношу по фамилии Вульф, ставшего вскоре отличным хирургом.

Постепенно Ангел перешел с чужих афоризмов на собственные и до того увлекся сочинительством, что даже написал пьесу на французской бумаге своим пером и анонимно переслал ее известному издателю. Впоследствии это сочинение было приписано Кристоферу Марло.

Теофил догадывался, что многие произведения, которыми гордилась ныне британская литература, имели подобное происхождение.

Леса Ангела исправно вооружали королевский флот первоклассными мачтами, Университет процветал, и Теофиловы рекруты умножили его славу. Один из них открыл новый архипелаг, другой нашел противоядие от укуса болотной гадюки, третий — разгадал секрет дамасской стали. Ангел мог бы гордиться своей главой в Книге Жизни, если бы жизнь не наскутила ему.

Он исправно выполнял свой урок: вытягивал сосны, укреплял опоры моста перед паводком, навещал гуляния, но больше не распахивал крыльев от радости, когда какой-нибудь заспанный бакалейщик вдруг начинал шептать вслед за ним *Sal Ben Ion Rosh...*

Раньше при одном его появлении бесноватые бились в судорогах и захлебывались пеной, а теперь просто переходили на другую сторону улицы. Одержимые, у которых от его взгляда, случалось, обугливалась кожа, нынче лишь чесались и отводили глаза. Сила покидала его и не возобновлялась с молитвой, крылья потускнели и стали терять перо.

Теофил сначала удивлялся себе, потом встревожился и, наконец, смирился. Он думал: все Ангелы стареют и крутятся в Господней мельнице бездумно, как жернова, перемалывая зерна, которые кто-то там наверху отделил от плевел. Быстрее вертеться — нет смысла, а медленнее — не дадут. Он любил детей и деревья, но его угнетала мысль, что дерево растет лишь затем, чтобы стать палубой, а ребенок — чтобы присоединить к империи еще один туземный аул, полный язычников и дизентерии.

Что наверху, то и внизу, — думал Ангел, — Небо и Земля — те же жернова. Значит, само Солнце не свидетельствует о славе Господней, а способствует росту растений, и бессмертная душа не мечется в поисках Бога, но своим движением служит *обществу*.

Он молился, чтобы Господь вразумил его, и боялся признаться, что с тех пор, как Папу сменил Государь, небеса над островом словно бы захлопнулись, а знамения служили лишь для навигации, астрономии и расцвета точных наук.

Кто же превратил нас в *механику*? — думал Ангел — кто льет воду на колесо, кто наполняет ветром крылья? Если Бог, то на кого Он работает, перемалывая леса на кораблях? Если король, то разве мы в его власти?

Теофил сидел на вершине мелового холма, смотрел, как ковыляет в нору, переваливаясь с боку на бок, беременная крольчиха. Он не вышел на работу и был этим немного смущен. Сегодня, — решил он, — я тружусь здесь, сижу и пытаюсь понять, зачем Господь сделал кроликов такими плодовитыми.

Когда солнце село, Теофил понял, что никто его не хватился. Он поднялся над холмом и полетел к морю. Пришло время вечерней службы. Ангел молился в полете, и море шумными вздохами возглашало *Славу* после каждой *статии*, пропетой им.

Сонные чайки поднялись со скал и сопровождали Ангела. Он рассеянно оглянулся и вдруг увидел, что не малая стая, но все небесное воинство летит вместе с ним. Девять чинов Ангельских явились ему в виде огненной колесницы, и он не был в ней даже гвоздем, но лишь бликом на колесе.

Ангел рухнул на землю, упал на колени в полосе прибоя и до утра повторял молитвы мытаря, бил поклоны, всякий раз попадая в волну лицом.

Утром жена *малого полосатика* родила в намоленной бухте детеныша и теперь мычала, как корова, выталкивая его на поверхность бугристым носом. Теофил понял, что вины за ним не находят, и благословил китенка.

*Любящий Бога* поднялся и пошел по берегу вдоль скал. Вскоре он отыскал продуваемую ночными ветрами пещеру и поселился в ней. Здесь он положил на музыку двадцать восемь псалмов, по одному на каждый день месяца, и составил акафист святителю Николаю, восточному чудотворцу, покровителю мореходов и китов.

Как-то раз в первое полнолуние после весеннего равноденствия Ангел лежал на крыле и смотрел в звездное небо, читал известные от Начала Времен слогги — созвездия. Соленый ветер надувал слезу, в глазах у Ангела помутилось, и он увидел в горних стрелку, нацеленную на север, и надпись под ней *Город Ангелов*, в каковую сложились знаки Рыбы и Тельца.

Теофил закрыл глаза, прочитал *Отче наш*, а когда открыл — все было по-старому, как в Начале. От конца ночи до боли в глазах он смотрел в небо, но знамения не повторяются. Как он помнил, есть только два воздушных города, один — в Едеме, на Востоке, второй — высоко в небесах, куда младшим ангелам путь заказан. Впрочем, за семь тысяч лет могли появиться и другие города.

Он поднялся, облачился в одежды паломника и пошел на Север, где Земля висит над пустотой *ни на чем*. Волны покорялись ему, ветры пробивали дорогу в тумане, когда он шел через океан. Морские гады подступили к Ангелу, плавники их были остры и яркие, что выдавало наличие яда. Теофил сказал про себя *Слово*, затем вытянул его изо рта. Слово было острое, как опасная бритва. Ангел бросил его в воду. Старые моряки говорят, что море в этом месте до сих пор дымится и вода прошита кровавыми пузырями.

К Ангелу вернулась Благодать, но он был так увлечен дорогой, что не заметил этого.

Он видел в море острова из птичьих перьев, где обитали змееголовые женщины, покрытые волчьей шерстью. Свадьбу норвежской сельди, которая сбивалась в огромные стаи, блистающие под водой, как облака. На свадьбу приготовили столько снеди, что рыбацкие шхуны увязли еще в закусках и не тревожили гостей.

Земную ось, нижним концом она упиралась в гору Зеон, что в языческом Аиде, а верхнего — никто не видел, потому что ось тянется до самых *Властей* и *Сил*.

Ось была гладкая и толстая, в три ангельских обхвата, по ней сверху вниз текло отработанное Время, сладкое, как патока. Теофил наполнил фляжку про запас, он чувствовал, что приближается к цели своего путешествия, и не удивился, ког-



да на горизонте появилась ледяная гора, на вершине которой высились купола храмов и острые пики сторожевых башен.

Горнист на одной из них заметил его и протрубил тревогу. Из города, грозно сверкая копьями, поднялась небольшая стая. Теофил стоял на пенном гребне и как замороженный следил за полетом боевого отряда. Впервые после долгого перерыва он видел все совершенство подобных себе. Узкие крылья Стражей чертили на воде стремительный след.

Теофил сотворил крестное знамение и, улыбаясь, глядел, как одежды бойцов меняют цвета, как если бы стрижи стали превращаться в чаек, и больше не пикировали, жала стальными клювами в темя, но кричали, суетились, хлопали англичанца крыльями по спине.

Страннику дали три часа, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Его оставили в гостевой башне, в круглой комнате с гобеленами, предварительно сообщив, что сам архангел Гуриил — Архипастырь, Комендант крепости и Хранитель печати — хочет побеседовать с ним.

Теофил уже облачился в блистающие одежды и убрал волосы в косу, когда дверь отворилась и в комнату вошла рыжая девочка в белой тунике и лавровом венке.

«Ваше Совершенство,— обратилась она к Ангелу по Девятому чину,— прошу Вас следовать за мной».

Теофил ответил девочке коротким поклоном, и они стали спускаться по винтовой лестнице. Ступени и сами стены были ледяные, но холода Ангел не чувствовал. На улице их ждал паланкин, четверо уже знакомых Стражников легко подняли его и понесли вверх по широкой спирали к Собору Святых Верховных Бесплотных Сил, где у Гуриила была кафедра.

Теофил хотел было рассмотреть город получше, но на дверях паланкина было цветное витражное стекло, сквозь которое видны были лишь смутные силуэты. Ангел понял, что город ему откроют лишь после того, как Комендант лично убедится в чистоте его помыслов. Девочка сидела в уголке, поджав ноги, и что-то писала тонким перышком прямо на ладошке. Она почувствовала взгляд Теофила, подняла глаза и улыбнулась ему.

«Его Высочайшее Совершенство примет вас в верхней резиденции на куполе собора,— сказала девочка.— По нашему уставу в Церковь нельзя входить с оружием и письменными принадлежностями. Вам придется оставить мне меч, перо и записную книжку».

«Назови свое имя»,— сказал Теофил с улыбкой.

«Меня зовут *Раса*, я ангелида, мне поручили вас проводить».

«Ты покажешь мне город?»

Девочка кивнула. Паланкин остановился, Теофил открыл дверь и задохнулся от *осеннего света*, которым был вызолочен купол Собора Высших Хоров.

Верхняя резиденция оказалась небольшой комнатой в фонаре, что находился на куполе, под самым крестом. Там стоял круглый стол и четыре кресла. Сесть Теофил не осмелился и застыл в пояском поклоне, пока четырехкрылый, как все Архангелы, Гуриил закручивал свитки и запирали на замок книги, с которыми только что работал.

«Прошу садиться»,— сказал Гуриил по-латыни и снял очки. Теофил повиновался.

«Ваше имя и чин?» — Архипастырь перешел на греческий. Теофил представился.  
«Как вы нашли нас?» — вопрос прозвучал на арамейском.

Теофил вкратце пересказал свою историю. Экзамен был окончен, и разговор продолжался на Ангельском наречии, глаголы которого, как известно, порождают живые картины, иллюстрирующие сказанное.

Гуриил говорил, а Теофил видел, что город на ледяной горе выстроил первый среди семи равных Первоархангелов — Гавриил. Когда-то давно, еще до Первого Пришествия, Гуриил служил у него келейником, но Господь по милости Своей вскоре призвал Гавриила в такие Сферы, где нет воздуха для дыхания всем Чинам, кроме первых трех, и молодой послушник не смог сопровождать своего наставника.

Говорят, что пустота между средними Сферами наполнена огнем Его гнева, и в огне этом нет брода, а над ним — моста. Там зреет в черной раковине Звезда Полярная, и сторож ее — Ангел Ариил — твердит про себя пять нот — позывные Судного Дня.

Гавриил создал Город то ли в семь дней, то ли в седьмом часу. Первоначальное его назначение — форт, перекрывающий северные выходы из Преисподней. Город даже выдержал непродолжительный штурм, но с восходом Рождественской Звезды война была окончена. Гуриил видел сам, как от ее тихого, но горячего света у бесов лопались глаза.

Ад переучивал штурмовиков в отравителей, террористов и сектантов, а грозный северный форт стоял пустым, пока в Горних не возникла нужда в своего рода Академии, которая разобралась бы в межконфессиональных проблемах и отделила бы Веру от ереси.

Гуриил в то время подвизался в ближних пещерах Киевской лавры. Бывший наставник явился ему и положил новое послушание — кафедру в Городе Ангелов. Гуриил успел заметить, что у Благовестителя выросла борода и поседели волосы.

В новом Городе разрешалось создать малый ангельский хор, где были бы голоса всех земных Церквей, признающих св. Троицу. Предпочтение отдавалось Ангелам, проявившим способности к языкам и сочинительству, так как возникла нужда в переводе многих книг.

Из подаренного Гавриилом лука Гуриил запускал в небо стрелы, которые ловили будущие академики.

Сейчас в городе было триста шестьдесят четыре Ангела, не считая служек, Стражников и ангелид. Теофил был последним и дополнял число. Голос Гуриила считался високосным.

Архипастырь закончил рассказ, Теофил учтиво поблагодарил его, взял благословение и раскланялся. Он не вполне понимал, чем ему предстоит заниматься, но вопросов благоразумно не задавал, отложив это до утра.

*Раса* ждала у дверей. Она взяла его за руку и повела по ступеням вниз, туда, где под куполом на барабане располагались смотровые площадки.

После живых картин у Ангела слезились глаза, он едва различал цвета, но все же, едва *Раса* плавным жестом обвела панораму, Теофил вскрикнул. Вид, что

открылся ему, был прекрасен, как сбывшийся сон, когда вздыхаешь с облегчением: так вот что мне снилось последние годы.

Город стоял на песчаной косе. Справа — тускло мерцало старым серебром холодное море Севера; слева — парило золотое африканское течение. Башни и колокольни города переплетались, как пальцы влюбленных, изогнутые ветром сосны звенели на желтом песке, как иерусалимские гусли, а на голубом снегу — гудели как иерихонские трубы.

Эти деревья, — подумал Теофил, — никто еще не тянул за макушки. *Раса* открыла ветру объятия и стояла, зажмурившись. Ангелиды не умеют летать, но это ничего не меняет. Если верно, что все Ангелы — братья, — решил Теофил, то *Раса* — моя племянница.

«Смотрите, — сказала *Раса*, — вот там, у бухты, где старый маяк, — ваша башня».

«Очень хорошо, — сказал Теофил, — я туда и отправлюсь».

Он попрощался с девочкой и полетел над Городом. Ангел хотел спать.

Его разбудил горн. Ангел встревожился, но вскоре понял, что страж трубит не тревогу, а его, Теофила, собственную мелодию на сто третий Псалом. Над морем, повествуя о славе Божьей, вставала звезда. Теофил помолился вместе с горнистом и снова уснул.

Ему снилась огромная зала с колоннами, сводчатый потолок ее венчали два круглых окна. В одном бледнела ущербная Луна, в другом сияло полное Солнце. Посреди залы помещался просторный стол, покрытый тканой скатертью, которая есть истинная карта мира, и мир был расположен, как указывалось в ней, в ледяном колодце или трубе, на одном конце — Ад, Луна и материнское чрево, а на другом — Рай, Солнце и смерть.

На четырех углах стола стояло четверо часов:

*Земные*, где, отмеряя время, пересыпались песчинки с окраин Венеции; *Водяные*, снабженные органом Ктесибия, воду для них привозили с озера Севан, оставшегося от Потопа; *Огненные*, что отбивали ход, выплевывая золотые шарики, заплавленные в ароматнейший малороссийский воск; *Воздушные*, что изобрел присутствующий в зале Ангел по имени Мануил. Их циферблат вращался относительно неподвижных стрелок при помощи ветра.

Вдоль стола стояли стулья с высокими спинками. Их было по числу дней в году, и на каждом сидел Ангел. Тут были:

Ладомил, Златые Власа, служивший подмастерьем при св. Андрее Рублеве и удостоенный чести вместе с ним лицезреть св. Троицу;

Вергиил, мрачный Ангел, что поведал Данте свою историю о путешествии в Ад;

Агадгандил, Хранитель исчезнувшего народа, специалист по мертвым языкам;

Джабраил, Ангел Аравийской пустыни, писавший свои стихи на песке;

Девясил, неведомый Дух, принявший святое Крещение в Днепре и поставленный смотреть за домашним скотом;

Дедалил, великий изобретатель огнива, колеса и секстанта. Говорят, в разные годы он был Хранителем Марко Поло и Микеланджело;

Иеремиил, спутник Ветхозаветных мудрецов и Пророков, один из первых комментаторов Торы;

Афирусаил, могучий Ангел с головой волка, испросивший у Господа этот страшный дар, дабы своей красотой не прельщать поселянок;

Емораил, златокрылый грифон, служивший в свите Архангела Смерти;

Игнуил, имеющий власть над земным пламенем и носящий его вместо ризы;

Электрил, брат его, служитель пламени небесного, явившийся в залу в образе молнии;

Агиазил, Ангел Средиземного моря, в мраморных волосах которого располагались кельи раков-отшельников;

И еще триста пятьдесят три ангела, среди которых Теофил, проснувшись, обнаружил себя.

Ангелы постных дней были в черном, дней скоромных — в сером, воскресные — в желтом, праздничные — в белом. Один, удостоенный в этом году особой Благодати символизировать Пасху, носил красное, а другой, именем Мельхиориил, был в честь Рождества всегда в синем. Молитвы этого Ангела столь сильны и красивы, что от его дыхания окна в домах покрываются узорчатой горней вязью.

Вестники говорили негромко, каждый в свою очередь, и Теофил не понимал многих слов, что сверкали в их совершенных речах. Одни изъяснялись притчами, другие — на тайных языках, третьи — просто молчали.

Теофил, когда дело дошло до него, встал, представился и прочел сонет собственного сочинения про осень, дождь и картофельное поле. Джабраил одобрительно улыбнулся, Теофил сел, разговор продолжил Стратиил, птичий Ангел, голос которого напоминал крик петуха.

Позже Теофил узнал, что на *голубином языке* Стратиилово «*кокиереку*» означает: *Господи, яви миру свет!*

Ангелы встречались каждый день, кроме Субботы и Воскресенья. Иеремиил призывал праздновать еще и Среду, в память о Дне, когда были сотворены Силы Небесные, но его предложение было отклонено. На собраниях они пели молитвы, каждый на своем языке, внимательно следили, чтобы все строки укладывались в первоначальный размер. Составляли акафисты, писали иконы тех Святых и Бесплотных, которых знали в лицо, иногда просто беседовали о чем-нибудь интересном для всех. Например, о природе света.

Мало-помалу Теофил вошел в их общество, но почему-то все чаще стал вспоминать свои леса, ярмарки и пребывающие в старинной вражде реки Темзу и Кэм.

Из окна своей башни Теофил часами наблюдал за играми Ангелид. Беспечные девочки чертили на песке схему мироздания и прыгали по ней на одной ноге, толкая перед собой битку — символ судьбы.

У них были короткие имена, словно от прежних им оставили половину: *Дайва, Раса, Вейга, Лука*.

Сердце Ангела переполняло умиление, он восхищался благородством Гуриила, который собрал Ангелид со всех папертей Европы и базаров Азии и приютил в

своём Городе, где они из битых жизнью женщин, проклинающих свое бессмертие, снова превратились в детей.

Все девочки были сиротами. Матери их умерли в самом начале истории, а отцы — не смели к ним приближаться, да и не имели на это времени, потому что всегда были заняты делом. Они держали за холку ошалевший Ад, выслеживали и жгли еретиков и отводили от древних монастырей бомбы, выпивая взрывы в воздухе, как кислое вино.

От земных женщин у Ангелов почему-то рождались только дочери, которые в свой черед не давали потомства, хотя у иных бывало по сорок мужей. Ангелиды могли понести только от Ангелов, но подобный брак считался греховным кровосмешением.

Дочери Вестников напомнили Теофилу об учениках, он даже пытался вернуться во сне в Кембридж, но наткнулся на городскую стену, выходить за которую не позволялось ни во сне, ни наяву. Сновидение — считал Комендант — это запахнутые врата, сквозь которые проникает *враг*. Теофил сделался рассеян и печален, отвечал невпопад и злоупотреблял глагольными рифмами.

Однажды, когда в Академии слушался вопрос о различиях в крестном знамении у восточных и западных христиан, в залу явился Гуриилов келарь, извинился перед высоким собранием и сообщил, что Владыка просит Ангела Англиканской церкви срочно пожаловать к себе.

На сей раз Архангел принял его в трапезной. Гуриил предложил посетителю вина и манны, *хлеба Ангельского*, они молча ели и слушали житие Марии Египетской, которое монотонно вычитывал псаломщик.

«Видишь, — сказал, наконец, Гуриил, — бедной женщине потребовалось семнадцать лет, чтобы отвадить беса, а разве Ангелов искушают не ббльшие, чем людей?»

Теофил молчал. Очертания его размылись, и все внимание обратилось на мейандр, что бежал по кромке скатерти.

В глазах Гуриила мелькнула улыбка, и он продолжил: «Оба твои акафиста одобрены и отныне будут исполняться, у тебя хороший слух и чистые глаза. Беда твоя в том, что ты еще мальчик. Некоторые взрослеют медленнее прочих, а тебе и семь тысяч лет — не срок. Не работа гнетет тебя, и не по дому грустишь ты. Тоска выдает неокрепшую, а значит, тонкую душу. Ты плачешь, когда все еще живы, и слишком далеко смотришь в туман своей судьбы.

Все в мышце Господней, и составители вечного календаря устыдились, когда Бог остановил *Солнце* на небесах в день битвы Иисуса Навина при Гаваоне. Мы же с тобой — не песчинки ли на ветру, и нам ли гадать, куда Он нас понесет.

Следуй за ветром, ходи по путям его, и душа твоя закалится. Но помни, что и с Ангелов спросится, когда придет День гнева Его».

Теофил сидел, закрыв лицо руками.

«Мне велено передать, — сказал Гуриил, чуть помедлив, — что тебе отпущен особый дар — свобода. Отныне ты будешь сам выбирать себе подвиг».

«Это отлучение?» — прохрипел Теофил.

«Это дар, — отвечал Архангел, — многие в Девятом чине мечтали о нем и каялись на исповеди в своей мечте».

«Я прошу благословения оставить Город и вернуться к прежним трудам»,— сказал младший Ангел.

Гуриил благословил его и дал руку для поцелуя. У старика были длинные красивые пальцы. Теофил заплакал.

Его прощание с Городом было коротким. Он только и успел что поцеловать *Расу* в лоб да воткнул любимое перо в дверь Джабраиловой башни. Стражники проводили его до околицы, дальше он пошел один.

Ночью из корпуса Ангелид было видно, как на горизонте, словно сигнальный фонарь на мачте, маячит его красный нимб.

На Теофилово место был призван Кириил, гений из горного сербского монастыря, который придумал начертания недостающих букв для славянской азбуки.

Теофил до сих пор служит в Кембридже, он выпустил под псевдонимами несколько книг в университетском издательстве. Иногда он является во сне нерадивым студентам и побуждает их к прилежанию. А сам Ангел спит и видит Белый Город, где умная девочка *Раса*, дочь Риммы и Самариила, случается, вспоминает о нем. Теофил обходит Город по кругу, но не смеет приблизиться, памятуя, что сны — суть трение души о плоть, а у Ангелов — нет плоти и, следовательно, не бывает снов.



*МИГ И ЧАС*

\* \* \*

Морозить будет и дождить.  
Не раз спалит и смоет всходы...  
Ах, до такой ли непогоды  
Мне предстоит еще дожить!..

Я дорасту до новых бед  
И, с каждой делаясь мудрее,  
Я до таких потерь дозрею,  
Которым и названья нет.

Тогда не буду, сжав виски,  
Всечасно цепенеть в неволе  
У послезавтрашной тоски  
И лишь предчувствуемой боли...

Но безбоязненно взглянуть  
На всё, что случилось и осталось,  
Пусть помешает мне усталость,  
Остановив на вдохе грудь.

\* \* \*

Как мало времени у нас!  
Себя смущая и тревожа,  
Не понимаем: миг и час —  
Увы, увы! — одно и то же.

То просим: день! То молим: год!  
Дрожим: хоть что-нибудь осталось?!  
И дарит вечность от щедрот  
Нам эту призрачную малость.

\* \* \*

Снится серая вода,  
Как тяжелая беда.  
Снится синяя вода,  
Словно счастье навсегда.

О какой печали весть?  
О какой надежде речь?  
То ли в этом что-то есть?  
То ли этим пренебречь,

Позабыть, не верить сну?  
И гадаю наяву:  
То ли в серой утону?  
То ли в синей оживу?

\* \* \*

«Когда я буду старой и богатой,  
я буду жить в большом красивом доме  
и заведу большого попугая,  
большого попугая с хохолком!..  
Он будет повторять, что он хороший,  
он будет говорить “дурак!” и “здравствуй!”  
и, как в кино, казаться остроумным  
он будет, мой веселый попугай...»

«Когда я буду старой и богатой...» —  
она любила повторять, поскольку  
и старость, и богатство были слишком  
тогда для нас абстрактны,  
ну а бедность совсем не тяготила —  
было в ней богатство ожидания...

«Когда я...»

«Когда я буду старой...» — без кокетства  
она теперь, наверно, произносит,  
а впрочем, вряд ли эта фраза нынче  
ее могла бы, как тогда, развлечь...

А попугай, хохлатый и веселый,  
твердит, что он красивый и хороший,  
и радуется своим картавым «здравствуй»,  
ворчливым и безадресным «дурак»...

\* \* \*

Листья шумели сухо и жестко,  
Будто противясь стыть на весу...  
Словно забывшись, в мерзлых обносках  
Ржавела осень в зимнем лесу.

Были все тропки спрятаны снегом,  
Мы целиною шли наугад.  
Что-то случилось с лесом и небом —  
Не состоялся тот листопад.



От предсказаний и до оглядок  
 Давняя осень вся на виду —  
 Даже в природе был не порядок  
 В том катастрофном, страшном году.

### *В храме*

Прости меня, Боже, за малую лепту  
 И этот расчет не сочти за обман:  
 На блюдо кладу я помельче монету,  
 А крупную спрячу поглубже в карман,

Отдав предпочтенье двум стареньким плошкам,  
 Неужто взаправду Тебе изменя?!  
 Две милые твари, собака и кошка,  
 Быть может, попросят Тебя за меня...

\* \* \*

Вспоминай меня, сынок, за картошкой:  
 Как сажала, как полола, пекла...  
 И дрожала на ветру понарошку,  
 То седея, то алая, зола.

И сливался с кожурою шершавой  
 Рук тяжелых огородный загар.  
 А потом водой болотною ржавой  
 Заливали затухающий жар.

Будет жизнь другой, должно быть, немножко,  
 Ну а может, не похожей ничуть...  
 Всё же помни и костер, и картошку,  
 Лучше что-нибудь другое забудь.

### *Старая сказка*

От века и досель  
 Всё так, из жизни взятое:  
 И тридевятнадцать земель,  
 И царство тридцатое.

Всё так оно, всё так,  
 Читаем сказку древнюю:  
 Опять любим дурак  
 Народом и царевною.

Всё так оно и есть:  
 Слабей бесчестных сильные.  
 Не ту приносят весть  
 Похмельные посылные.

Всё так, увы, и тут  
 Не сделать ничегошеньки.  
 И в никуда ведут  
 Опять все три дороженьки.

*г. Щёлково  
 Московской обл.*



Глава VII

«— А как вы считаете, существование Бога Кант, скорее, доказал или, скорее, не доказал?

— Бога Кант не доказал. Не доказал, и невозможно Его доказать. Теории Декарта и всех других ошибочны. Что за иллюзия! Все эти ша́ги доказать существования Бога являются ошибкой. Это как раз главная заслуга Канта. Потому что существование — это не имя прилагательное, существование — это не атрибут. Есть люди существующие и несуществующие. Есть люди, которые существуют, есть Леонардо, который существовал, и пять других Леонардо, которые тоже были там, но *не* существовали. Что он был высоким — да; что у него была борода — да; что он жил в XVI столетии — да; что он писал картины — да; но что он существовал, это должен сказать сам Леонардо, это не атрибут, который можно отнять или принять. Поэтому доказательства всех этих людей... Вы знаете это доказательство через совершенство: что везде совершенное, везде совершенство, что совершенство должно существовать, что если бы его не существовало, чего-то недоставало бы — а то, что совершенно, имеет все, включая существование. Так что объект — существование — не есть quality, атрибут...

Он верил в Бога, он считал, что, если нету Бога и нету того мира, так это слишком плохо, представить себе нельзя. Это было *не* так. Он верил, но можно ли веру доказывать?.. Я вам расскажу историю про Бога. Был в Германии граф Цинцендорф. Цинцендорф. Он был один из этих муравьевых братьев, о которых Толстой пишет. Из муравьевых братьев, в Моравии. В Моравии были эти полумистические христианские секты, из которых методизм и баптизм, все эти движения оттуда идут. Он сказал очень острую вещь: “Человек, который доказывает существование Бога рациональным путем, атеист...”

Еще про Канта. Кант был первый, кто сказал, более или менее получилось у него, что Добро и Зло — не только Добро и Зло, но и, как это сказать Right and Wrong — по-русски этого нету. Что такое обязанность? Я обязан. Если я не исполняю обязанность, я делаю что-то не только плохое — неверное, неправильное. Морально неправильно — можно так говорить? Этически неправильно?

— Не очень.

— Но в этом есть нужда, Right and Wrong, это есть на всех языках, — но, может быть, нет по-русски. You must do what is right — вы должны делать то, что правильно, но в каком отношении правильно? Как вы скажете? *Морально* правильно?.. Во всяком случае: Кант сказал все эти вещи: правильно — неправильно, всякий человек знает, это написано у него в душе, для этого не нужно иметь представлений, это абсолютно, и каждый человек живет под этим и знает, что

он живет под этим. Никто раньше этого не говорил. Раньше говорили, что это имеет какое-то отношение к добру и злу. Он сказал: нет, не то».

Верующий человек из России остро чувствует разницу в одних и тех же словах, когда разговор о Боге, подобный тому, что вел Берлин, идет за границей или на родине. За границей чувство принадлежности к своей церкви напряженней; почти все стороны повседневности — другие: вся культура, быт, язык — а она равна себе. Русские православные составляют в Оксфорде небольшую общину и вместе с греками и православными англичанами сходятся на службу в той самой, как окрестил ее таксист, «Русской Греческой Стамбульской Турецкой Православной Церкви» на Кентербери Роуд. Русские в столице приезжают в Лондонский Успенский собор, где многие годы епископствовал Антоний Блум, самая значительная и заметная фигура Русской Церкви в Европе последних десятилетий. И есть еще одно, особо притягательное для русских верующих, уникальное место в Англии — монастырь Иоанна Крестителя в Эссексе. Его основал в маленькой деревушке и до своей смерти в 1993-м возглавлял архимандрит Софроний. Я несколько раз ездил туда, однажды он позвал меня к себе и потом приглашал меня гулять — медленно, внутри монастырской ограды. Ему было за девяносто тогда, и вера, и религиозное проживание жизни выражались в нем совершенно конкретно, этого нельзя было не почувствовать.

Именно после одной такой прогулки, например, мне сравнительно ясно представились границы надежды на милосердие. Конечно, для всякого, кто верит в Бога, есть только она одна. Но у нее есть степени: когда знаешь, что стараешься жить, как следует, но все равно желаемого результата *заслужить* не можешь; и когда плывешь по течению и знаешь, что ты дрянь. Не дурной, а больше дрянной. И в таком случае иногда, в минуту честности, думаешь, что не надо милосердия, потому что используешь то, что Бог милосерд, — «обманывая Его».

Как-то раз под ясным ночным небом, когда Софроний показал палкой на маленькую звездочку, а я удивился, что он, жалующийся на зрение, ее разглядел, и он сразу, как будто заранее к моему замечанию и ответу на него готовый, проговорил: «Да, да, я симулянт. Я не такой дряхлый и больной, как моя видимость. Я симулянт — но из тех, которые все-таки умирают», — я задал ему два вопроса, один за другим, без паузы, как если бы то, что он умрет, заставляло предельно экономить время. Об истощении истины при уточнении ее; и о роли евреев на протяжении *всей* их истории, а не *до-* и *после*христианской. Он не ответил прямо, а скорее исправил мои вопросы ответами — возможно, по принципу, что «думают, что просят рыбу, а просят змею, потому и не получают», как сформулировал его один русский богослов. Он заговорил о грандиозности «Я есмь Сущий», что предопределило не только избранность, но и высокомерие евреев. «Моисей — величайший пророк: как он смотрит на иконе на купину!» Ему написал в письме протестантский богослов, что Блаженный Августин сказал: «Я могу показать вам путь: там Христос. Но я не могу показать вам Христа...» «Теперь будет имя тебе Авраам... Сарра...» То есть не клички Аврам, Сара, а — «теперь будет *имя* тебе». На следующий день, после завтрака была его беседа — для братьев и всех, кто приехал в монастырь. Он рассказал про монаха, которого он спросил, что бы тот сделал, если бы имел абсолютную власть, — «Ничего, потому что не мог бы ее употребить в силу именно абсолютности». Так и Иисус, имея абсолютную власть, употребил ее, чтобы взойти на крест, то есть абсолютно смириться. Он показал, что значит «исполнить *старый* закон до иоты»: так его исполнял, чтобы научить смиренной любви, научить истощанию ее — чтобы

люди не боялись приближаться к Богу. Потому что все ложные боги — пожигающие, а Христос — купина несгорающая».

За каждым звуком речи стояло знание, а не догадка; ведение, а не принятие на веру — и потому убежденность, точность и естественность. Когда он сказал, что Иисус взял на Себя грех мира, то на глазах у него показались слезы, и он на минуту замолчал. Молитвы, которые он прочел перед беседой и после — к Божьей Матери, к Иоанну Крестителю, к Силуану, — интонацией, размеренностью произнесения создавали ощущение, что достигают слуха тех, к кому обращены. Вечером, гуляя с ним, я сказал об этом — он ответил подтверждающе: «Да, мы разговариваем с друзьями». Потом прибавил: «Это народная патрология — безошибочный тон обращения, например, к Целителю Пантелеимону, мирян, прикладывающихся к иконе». В другой раз, когда он пригласил меня к себе в домик и мы говорили — он оптимистично, а я с тревогой — о моем восемнадцатилетнем сыне, которого он знал и которого я оставлял в Англии одного, и я попросил: «Вы уж его не забывайте...» — я имел в виду, но не произнес «...вашими молитвами», — он отозвался: «А вы думаете, я все это без молитвы говорил?»

Он любил говорить весело и шутить. В молодости, до радикального религиозного обращения к Богу, он был художником, у него были выставки в Париже, в Европе, потом он брал кисть, уже только чтобы расписывать церкви и писать иконы. Композитор Пярт и его жена, купившие дом неподалеку от монастыря, показывали владельцу студии звукозаписи, навестившему их, роспись монастырского храма: миниатюрная хрупкая жена объясняла: «Белые части херувимов — те же паузы, что в музыке Пярта; штукатурка». Софроний, встретив в один из мартовских дней ее и меня на дорожке, обнял ее и, улыбаясь, произнес с торжественной назидательностью: «В маленьком футляре крупная вещь», — потом мне, с театральным жестом, пушкинские полстрочки из стихотворения «Поэту»: «Ты царь: живи один». И мне же при другой встрече, когда я рассказал ему про ходившие десять лет назад настойчивые слухи о возможной канонизации патриарха Сергия, фигуры двусмысленной, проповедника симфонии между церковью и государством, уничтожившим церковь, он ответил почти резко: «Вы черпаете ваши сведения из источника, из которого течет нечистая вода». И, опять как будто не на тему, продолжил, как, в 1958 году приехав в Троице-Сергиеву лавру, просил тогдашнего патриарха оставить его в России, и тот сказал: «Я не все могу». Помолчал, потом, улыбаясь, поднял указательный палец: «Промыслительно».

И Софроний Сахаров, и Антоний Блюм, как и Берлин, родились в России, первый был на десять лет старше, второй на пять моложе. Знавший Блюма еще в молодости в Париже Дмитрий Дмитриевич Оболенский, с которым мы на Рождество оказались вместе в Успенском соборе и потом возвращались на автобусе из Лондона в Оксфорд, сказал, что сегодняшняя проповедь Антония была из удачных. Мне же хотелось, чтобы эта служба прошла вообще без проповеди. Антоний говорил, что сейчас стоит такое историческое время, что надо особенно любить, любить друг друга и всех. Говорил проникновенно, просто, убедительно. Но я слушал это ушами слушающих в России трансляцию рождественской литургии по Би-би-си — и уже невозможно было слушать *слова*. Не именно *эти*, а любые: *там* слушать *отсюда*, из отнесенного в нерусское, чистое, ухоженное, пронизанное ангельскими голосами певчих и нежным звоном кадил пространство почти идеального *далёка*. В сферу, по отдаленности своей близкую той нездешней, где и мог младенцем родиться Бог. Именно *бессловесный* в Рождество Бог — потому что младенец. В странной *лондонской* церкви. В церкви, как обычно по таким дням, более светской, чем всегда, — не только принаря-

женностью, но и праздничной манерой поведения, радостностью встреч, приподнятостью обращения друг к другу.

Уезжая из монастыря, я со всеми по очереди прощался, я слышал от Софрония: «Вы желанный гость». Гуляя — по лугам и по тропинке в сторону моря, я сталкивался с кем-то, кто, как и я, гостил в монастыре, с теми же Пяртами — мы здоровались, как добрые знакомые, перебрасывались несколькими фразами, останавливались, чтобы поговорить подольше, продолжить путь вместе. Садясь за стол, я оказывался в многочисленном обществе местных греков, которые были все-таки «свои» и все казались милягами. И это чувство свойскости, казалось, тем более — а лучше сказать: само собой — распространяется на *своих* по определению. Само собой, и на Берлина. Потому мы, так сказать, и свои, потому мы и называемся «мы», что тем же способом, что и каждый другой из «нас», думаем, любим, верим. Не обязательно в того же самого Бога, не в «христианского» пусть, а в «еврейского», в «мусульманского», но, во-первых, *принимая* то, что можно верить и в пленившего других, а главное — *верим*. Как и любим не то и не тех, что другие, но принимаем, что можно любить и любимое ими, а главное — любим. Поэтому растерянность моя была классической, полной, когда я почти мимоходом бросил в разговоре с Исайей: «Вот вы, верующий человек...» — и услышал перебивающее и, как мне показалось, совершенно в эту минуту в этом месте обсуждения далекой от Бога темы не требующееся: «Нет».

Слушая потом, уже после его смерти, записанную на магнитофонной ленте паузу, последовавшую за «нет», а она длилась и длилась, передавая мою обескураженность и его удовлетворение от нее, я в конце концов в голос засмеялся. Беспомощно и обреченно, зная, что его «нет» неотменимо и мое представление о безусловности его веры невозвратимо, я через тридцать, через сорок секунд говорю: «Но вы верите в то, что Бог есть...»

— Нет. У меня проблемы с Богом. Я не говорю, что... Я не атеист. Атеисты — это люди, которые понимают, что такое Бог, и говорят: нет такого. Потом есть люди, которые не знают, есть ли Бог или нету. Это тоже не про меня. Моя трудность в том, что слово “Бог” ничего не означает. Я не знаю, *что* люди под этим думают, что это такое. Понимаете, есть такой микеланджеловский такой старик — в это я не верю. Но если это не старик из Микеланджело, тогда я понятия не имею, я вам правду говорю, не знаю, что такое есть Дух, который витает над землей. Не знаю, что такое есть бесконечная, так сказать, какая-то сила, которая нами правит, которая нас создала.

— А тогда что...

— Если Бог существует, он личность. Если он не личность, то и молиться некому.

— А что такое тогда первые две главы Бытия? “Бог создал небо и землю”, и так далее...

— Да, да — я прочел это вполне спокойно, не удивляясь. Думая, что, вот, они это говорят.

— Они говорят, но вы так не думаете?

— Ни да, ни нет. Тогда — когда я был ребенком.

— А сейчас?

— Сейчас это ничего для меня не означает. Я хочу сказать: я понимаю религиозные чувства. Религиозная музыка — я понимаю. Религиозная какая-нибудь поэзия, живопись религиозная — она мне не чужда. Я не такой острый атеист. Не сухой атеист. Да нет, я понимаю, что такое быть религиозным. Что эти люди, которые религиозные,— какие у них чувства, я понимаю. А к кому, к че-

му это относится, понятия не имею. В традиции я верю. Я принадлежу к синагоге.

— Я как раз хочу про это спросить: вы принадлежите к синагоге, а там все-таки, я прошу прощения, Бог — мягко говоря, центральное место.

— Еще бы.

— И что вы в таком случае делаете, когда об этом недвусмысленно объявляется?

— Ничего. Ровно ничего. Я просто хочу каким-то образом идентифицироваться. С этой расой. Которая продолжалась три-четыре тысячи лет. Я член ея, и я хочу быть членом ея во всех отношениях. Быть с ними — быть с ними. “Бог” — меня не обижает, слово “Бог”, кто они имеют в виду этот Бог и все такое — не обижает, просто оставляет в стороне.

— А вы верите в историчность Иисуса?

— Да. Я ничего против не имею. Может быть, да, может быть, нет. Люди говорят, что он не существовал, — может быть, и нет. Может быть, он какая-то такая комбинация разных Иисусов, — теперь говорят: на этих, знаете, свитках его нашли. А может быть, был! Может быть, был такой, да, да, все это было, и его распяли, все это так.

— А вы как-нибудь объясняете в таком случае то, что так или иначе, комбинация или не комбинация, но христианство получило вдруг такой размах?

— Не знаю почему. Читал книги по этому поводу. Нету объяснений... Послушайте, даже важные, огромные моменты в истории — не объяснить, история их не объясняет. Почему вдруг распространилось христианство, а не митраизм? Никто точно не знает.

— А не напрашивается такой ответ: потому что это — был Бог?

— Да, понимаю. Это ответ мне непонятный. Я понимаю, что так люди говорят — грамматически я это понимаю. Да. Но только грамматически. Особенно, когда вы сказали. Потому что был другой, был — сатана, например, потому что был... Вы знаете, есть довольно интересный анекдот восемнадцатого столетия. Был такой человек — Галиани. Он был, по-моему, посланником или чем-то Неаполитанского королевства в Париже. Был другом всех энциклопедистов, всех этих важных людей, всех этих Гельвеция, и Гольбаха, и так далее, Дидро, и так далее. Он когда-то сказал им: “Знаете что, я вам докажу, что существует Бог, чисто на основах... — как probability по-русски?

— Вероятность.

— ...вероятности. Пожалуйста. Так. В общем, люди как-то планируют свою жизнь, хотя разных вещей, стараются. Число неудающихся планов куда огромное, чем число удающихся. Если вы играете в карты с кем-то и тот все время выигрывает, хотя у него плохие карты, вы начинаете думать: тут что-то не то. У него, понимаете, что-то, он каким-то образом, понимаете...

— В рукаве что-то у него.

— В рукаве, что-то есть. Неужели неясно, что если б он был абсолютно нормальным, так число удач было бы равным с числом неудач? А неудач куда больше. Значит, кто-то играет против нас. Это Бог”. Можно сказать тоже — дьявол. Потому что есть что-то, какая-то сила есть, которая играет против нас. Ему приятно, что мы проигрываем. Вот вам.

— В достаточно тонком, но достаточно вместе с тем огнеупорном слое интеллигенции ваша книга “Четыре эссе о свободе” взята на учет, на нее ссылаются...

— В России?

— В России, да. Одна из главных ее идей — это что нечего валять дурака и притворяться: если ты идешь в рабство сознательно и охотно, то это не отменяет того, что ты — раб.

— Раб! Правильно.

— И как, по-вашему, это соотносится с таким качеством, как смирение? В том, например, виде, как о нем сказал...

— Смирение вполне за вами. Это — свободно. Это выбор. Смирение не значит, что вы отдаете все права на изменение ваших позиций.

— ...но если, как о нем сказал Элиот, *humility is endless*, как несколько раз он это по-разному повторяет, смирение бесконечно, это значит, что с человеком идеально смиренным — с ним вообще ничего невозможно сделать, не так ли?

— Да, это, вероятно, так. Он решил это, он абсолютно свободен. Он делает, что он хочет, он делает, потому что какая-то есть цель, которая — *его* цель.

— Это не разрушает вашу систему?

— Нет. Он бы мог перестать. Конечно, если он делается смиренным таким образом, что не может *не* быть смиренным, то в этом случае у него никакого выхода нет, и он перестает быть свободным.

— Тогда как быть с такой историей? В “ГУЛАГе” описаны тысячи случаев, которые все укладываются в солженицынскую схему полярной расстановки сил: убийцы с одной стороны и жертвы с другой. Несколько раз, не много, он натывается на так называемых “религиозников”, и тогда его концепция дает сбой. Такая сцена: на разводе, то есть каждое утро и каждый вечер заключенный должен назвать статью и срок — на сколько лет осужден. И монахиня одна говорит каждый раз: статью не помню, а сколько лет, один Бог знает. Над ней уже начинают смеяться и вдруг за семь, не помню, за восемь лет до срока выпускают. Для нее объяснение совершенно очевидное, не будем сейчас им заниматься. Но у меня впечатление, что, когда вы говорите, что смиренный человек свободен, — это свидетельство несовершенства, неуниверсальности вашей системы. Не в понимании того, что такое свобода, а...

— Нет, смиренный человек не отдает свои права. Он не пользуется ими, но не отдает. А раб отдает. Отдал. Получить назад не может. Каратаев в “Воине и мире” — смиренный человек, делает то, что ему кажется верным, правильным.

— Когда мы говорим смирение, за этим, как правило, стоит христианское смирение. Не разрушает ли последовательное христианство вообще мироустройство?

— Ну почему? почему? каким образом?

— С Каратаевым ничего невозможно сделать. Можно ли что-то сделать с общиной Каратаевых? Или вы не хотите говорить на темы выдуманные?

— Нет, нет, темы в порядке, в полном порядке. Ну хорошо, выдумаем тему: все — Каратаевы. Что с ними нужно делать?

— Им говорят: ты идешь на войну. — Я не иду на войну.

— Я не иду, да.

— Распад государства, армии и так далее — толстовские грезы.

— Ну хорошо.

— Вы же исходите из некой реальной идеи, вы не занимаетесь...

— Этого быть не может. Постольку поскольку люди имеют какую-то природу, человеческую, этого не будет. Теоретически это могло бы быть: если все сделались анархистами, или все сделались против войны, то всё распадается. Это анархисты говорят: нужно отменить государство. Нужно отменить деньги. Нужно отменить — всё. Тогда мы будем свободны. Может быть. Может быть. Толь-

ко ничего реального это не говорит. Другое дело — “я-думаю”. Но такая жизнь — это жизнь монастыря, где именно это и делается.

— А как вы относитесь к чуду? Бывают чудеса?

— Почему нет? Бывают.

— Вы можете их объяснить?

— Нет. Кроме как: поэтому это чудо.

— Чудо?

— Да. Это необъяснимо. Чудо — значит перерыв обыкновенной регулярности натуры. Когда это есть — это есть; бывает — так бывает. Я не совсем верю в строгость законов, всякое может быть.

— Даже природных, да?

— Да. Природа, в общем, повинуется законам, которые мы каким-то образом, вероятно, для нее производим. Мы так о ней думаем. Всякое может быть, вдруг может быть перерыв. Ни с того ни с сего что-то вдруг происходит: откуда — мы не знаем. Мы ищем — не находим. Самое главное, что есть — я верю, — что не все идет по одной линии. Может быть, вдруг что-то, какая-то кривая обнаружится. Понятия не имеем — откуда, зачем, куда. И спрашивать нельзя. Можно искать причину: если вы не нашли причину, вы должны говорить о том, что нет причины. Есть беспричинные вещи. Много народу, которые этого не думают, обыкновенно думают, что все причинно.

— Ну вот, положим: в многочисленных жизнеописаниях святых есть такой стереотип: скажем, кто-то помолился, святой явился и помог.

— Да.

— Вы не находите здесь причинной связи.

— Никакой. Если есть святой, если он... если святой это сделал, то он это сделал, но так как я не верю в этих святых, не верю в тот мир...

— Но до молитвы он не являлся, а вот по молитве он явился.

— Почему нет? Есть причина. Есть причина, это молитва. Всякое может быть, всякий факт может быть причиной другого факта. Вполне возможно. Если есть святой, и он говорит: будет свет — так будет свет. Как Бог это сказал...

— Удерживаюсь — но какое-то физическое насилие произвести над вами хочется, когда вы говорите: иногда это бывает...

— Я такого не говорил. Это *может* быть. Я не говорю, что бывает. *Может* быть.

— Ага.

— Я никогда на это не наткнулся.

— А о вечности вы рассуждали?

— Это для меня довольно непонятное понятие. Я понимаю, что слово относится — вечность, бес... как это? infinity.

— Бесконечность.

— Бесконечность, вечность, вот эти слова очень мне кажутся зага... довольно загадочными. Я понимаю, что люди имеют в виду, что думают, когда они это говорят, — но как это быть может и что это такое, никогда не понял. Я не отрицаю, но, мне кажется, это мистерия.

— Так что вам все равно, например, конечен этот мир, когда вы смотрите на звездное небо, или бесконечен?

— Мне не все равно, нет; мне было бы ин... нет, мне совсем не все равно. Если мир конечен, то я тоже конечен. Если мир бесконечен, может быть, я могу быть бесконечен? Нет, не все равно, совсем не все равно. Это факт моего мира: бесконечен или нет. Или — или. Это в конце концов эмпирический вопрос.

— Вы заинтересованы в ответе? Вы хотели бы, чтобы ответ был “да” или “нет”?



— Да, да, да, я бы был очень рад, если бы мне сказали, как это. Но я не верю в это, потому что я не знаю, откуда они получают этот ответ. Если бы мне кто-нибудь доказал это — но доказательства быть не может.

— Вы не считаете, что есть книги, которые написаны не людьми, но продиктованы, скажем, пророческие...

— Да.

— ...Тора, например, да?..

— Да.

— ...что это книга не такая же, как Дора, например? (*Тут он весело, громко рассмеялся, мне тоже, в общем, понравилось; но надо было продолжать:*) I'm sorry for the pun, за каламбур прошу прощения. Да. Что в ней, скажем так, несравнимая с упомянутой книгой истинность? Что эта книга продиктована, попросту говоря, не человеческим разумом?

(*Он захотел понять мое “не человеческий, а другой” как “нечеловеческий” и возразил немедленно:*) — Я не знаю, что такое нечеловеческий разум. Не понимаю, что это значит. Разум, который существует где-то, обитает где-то в воздухе? Ничего не понимаю. Разум для меня соединен с телом.

— Нет. Садитесь вы, Исайя Берлин, или моя недостойная персона, мы садимся, вы пишете книгу, я пишу книгу, и там нет ничего похожего на то, что сказал Бог: да будет свет, и стал свет. Да?

— Да.

— Откуда...

— Люди верили в это. Люди верили, что есть Бог и что он может это сделать.

— А не то, чтобы был Бог, и поэтому он продиктовал, и люди стали верить?

— Нет, конечно. Никакого говорящего Бога. Я не знаю, что такое Бог. Я вам это раньше сказал. Я понятия не имею, что такое Бог. Если есть какое-то существо, оно, конечно, могло все это сделать. То есть, я знаю, что о нем говорят, я только не понимаю. Для меня этот язык — загадочен. Я пробовал понять, но не понимаю. Я богословие не считаю наукой. Я не считаю, что это предмет. Есть люди, которые верят в это. Конечно, я понимаю, что значит — верить. Я знаю, что такое вера: верить можно во всевозможные вещи. Можно верить в бесконечные миры, можно верить, что мы попадем на планету, не знаю, Сириус, и там все будет иначе. Можно верить, что можно будет ходить по времени взад и вперед — как мы теперь — *не* делаем, — что время будет, как пространство: можно будет путешествовать и вернуться сюда. Вы скажете а-б-с, вы скажете абракадабра, и после этого, представляете, вдруг поехали назад в семнадцатое столетие. Но что, как это — не понимаю. Если кто-то говорит: я это сделал, ну хорошо, пусть. Я не понимаю, *как* он это сделал, не верю, в общем. Некоторые я понимаю слова, но те, что есть, слова не дают возможность верить в это или понять.

— Скажите, встречались вы в жизни с какими-то близкими людьми, которые не верили вам, что вы не верите?

— Нет.

— Вам верили?

— Меня никогда не спрашивали. Никогда не спрашивали. Некоторые говорили: вы верующий человек? Нет. *Стоп.*

— По-русски — “до свиданья”. Знаете, ваша позиция...

— Я грубой реалист. (*Слово “грубой” он услышал от меня, при первой встрече, и оценил, и сразу взял в оборот — например, говоря о Кагановиче; это бабелевское слово, какой-то биндюжник-еврей в его “Одесских рассказах” — “грубой”*).

— ...то, что вы говорите, это очень привлекательно. В самой такой честности есть очаровывание...

— Я же грубый реалист. То есть без воображения — тот, кто так может говорить. У меня довольно мало воображения. Метафизического воображения у меня нету. Что люди имеют его, это ясно.

— Что, что? Что люди...

— ...что у людей есть метафизическое воображение. Или — богословское воображение. Без этого эти мысли б не входили в человеческие головы. Люди верят, что есть кто-то там — кому я молюсь. Есть кто-то там, который создал мир. Не может быть, чтобы весь этот мир, с его правилами, с его, понимаете ли, замечательными вещами, что, понимаете ли, ласточка — это просто результат какой-то случайности. Не может быть. Только какой-то индивид мог... *кто-то* — должен был это изобрести. Без этого не могло быть. Я понимаю, что эти люди говорят, я только не верю».

В одной-единственной вещи архимандрит Эссекского монастыря Софроний и феллоу Колледжа Олл Соулс Исаяя Берлин совпадали, но вещь была центральной, главнейшей. Софроний любил повторять: «Я основывал монастырь православный — а не английский, не греческий, не русский, не румынский». Берлин «имел проблемы» не только с верой в Бога: «То же самое с разными философиями, в которые я не верю. Я не верю в Гегеля, я не верю в — я не знаю — в Фихте, я не верю во всяких немецких метафизиков, это тоже, понимаете ли, такие миры, которые они вообразили, но я просто... для меня они не существуют». Оба стояли только на том, что вызывало у них доверие полное, без малейшего изъяна и сомнения, для обоих первостепенный смысл имела неопровержимость: для одного — Веры, для другого — Опыта. Для того и для другого важна была суть, а не ее разновидности.

Может быть, спрашивая Берлина, были ли среди людей, знавших его достаточно близко, такие, что «не верили, что он не верит в Бога», я объявлял прежде всего о себе, о затруднительности *так, сразу* отказаться от его образа, в который, как казалось, религиозность должна входить само собой разумеющейся компонентой. Я искал союзников, хотел, чтобы еще кто-то подтвердил, что у меня были основания в этом ошибиться и даже есть вероятность, что тут ошибка обоюдная — его так же, как моя. В конце концов, убедительно объясняя себе и всем, почему абсолютно невозможно любить кого-то, сам в глубине души знаешь, что нет, не абсолютно, не стопроцентно, что наедине с собой случалось думать о нем с любовью; и что, не веря в неизвестное, в Белого Кита или в Потоп, поглотивший весь мир, все-таки и веришь тоже. В конце концов труднее всего поверить именно в то, что можно, двигаясь путем Экклезиаста, прожить жизнь и без депрессий, и без Бога. Поэтому я цеплялся, искал опровержений хотя бы косвенных.

«— А был у вас когда-нибудь период или момент, когда вам не хватало Бога? когда вы чувствовали некоторую боль по этому поводу?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда. Это вас шокирует.

— Да нет, Исаяя, нет, я только...

— Когда шокирует, так шокирует.

(Если ты — говорили эти слова — вызываешь меня на такую откровенность и ждешь от меня признаний о моих душевных переживаниях, изволь и сам откровенно признаться.)

— Не то чтобы шокирует, а...

— Нет, я вижу, вас это шокирует как следует.

— Скорее внушает тревогу, какую-то тяжесть...

— Думаю, что шокирует. Он никогда не нужен был мне.

— Никогда не нужен... А вы как-нибудь объясняли себе боль, которая существует на свете?

— Боль?

— Боль.

Он проговорил печально: — Да; да, конечно. Но... есть боль. Почему она — но она есть. Вопрос “почему?” значит: кто это назначил? Кто это сделал? Для чего это было сделано? Раз для чего, так кто-то этим орудует. Я не верю в это использование... Поэтому я, правда, понимаю мир, как он есть. То, что есть, есть.

— И вы никогда не завидовали людям, которые?..

— Цель — это всегда человеческая цель. Цели только мы имеем. Цель вся в том, для того, чтобы мы это построили. Цель стола — это то, что мы так устроили все вещи для пользования ими. А цель мира — ничего не означает.

— А то, что время идет только в одну сторону, это что-то означает?

— Нет,— сказал он,— не означает.— И заговорил о “факте”, *brute fact*, “грубом, но факте” движения времени в одном направлении.— Так оно есть. Переменить нельзя.

Я продолжал его «уличать».

— А отсутствие, как вы утверждаете, у вас воображения никак не сказывалось на вашем восприятии искусства — которое, согласитесь, все-таки достаточно вообразительно?

— Не знаю — вероятно, как-то сказывалось: я не знаю *как*.

— Когда вы читаете стихотворение, посвященное вам, и там натываетесь на строчку “Как отторгнутые от земли, высоко мы, как звезды, шли”...

— Да, да.

— ...*вам* это не говорит ничего?

— Говорит.

— А что?

— Говорит то, что там, за этим стоит. То, что стоит. Это не факт, это не является, понимаете ли, *statement of fact*, изложением факта. Это является словами, которые производят во мне известное впечатление. На меня накладывает, делает известное впечатление. Я реагирую на это.

— А не то чтобы это взаимодействует с вашим воображением?

— Нет, ну не знаю. Я не знаю, что такое воображение, я не уверен. Ну, конечно, да, но это не значит, что мне это открывает какой-то мир. Ну, конечно, на меня это производит *глубокое* впечатление — поэзия, такая поэзия. Так же, как Библия. Замечательные вещи там есть. Это поэзия. Но это не описание мира. Не моего мира.

— Известно, что из искусств вы отдаете предпочтение музыке...

— Он не прав все-таки, Бродский. Что то, что невыразимо, того нет. Вот вы меня спрашиваете: вот есть строчка поэзии, на вас производит впечатление. Ну хорошо, выразите это впечатление. Объясните его, опишите, что это вам говорит. Я не могу. То есть как вы не можете? — все то, что вы думаете, вы думаете словами. Как же у вас слов недостаточно? Вероятно, недостаточно: я знаю, что *что-то* я чувствую. Чувство — это не то же самое, что мысль. Это чувства. И вся этика — это чувства. Чувство добра и зла, чувство этого и этого. Вы спрашиваете: что такое добро и зло? это факты? это — можно это найти? Найти где-нибудь тут около? Можно ложкой это поднять? Нет. Что такое добро? Об этом этика и есть. Ей это нужно объяснить. “Это то, что люди хотят”. Нет, не совсем.

“То, к чему люди стремятся”. Не всегда. И так далее. В этом философия и есть. Что эти слова означают. Это очень нелегко. Но в конце концов можно просветить, есть какой-то свет. До конца — мы не дошли бы. Какая разница между добром и злом — скажите двумя словами. Я не могу.

— Но вам неинтересно знать, например, почему стоят два совершенно одинаковых человека и один из них говорит...»

Разговор происходил за ланчем, и дворецкий, появившийся в эту минуту в дверях, спросил, нести ли кофе. «Где будем пить кофе,— обратился ко мне Исайя,— тут или в кабинете?

— Тут, там — все равно.

— Тут лучше.

— ...два одинаковых человека, один говорит: “Вот ласточка вьется перед окном”,— и на вас это не производит никакого впечатления, а второй человек — Осип Манделштам, он говорит: “Слепая ласточка в чертог теней вернется”, и мы чуть ли не плачем.

— Так.

— Вам не хочется это объяснить?

— Нет. Я не понимаю — я это чувствую. Я этим могу восторгаться. Но объяснить?..

— Нет, не объяснить. Не образ и не строчку, ни в коем случае. Я тоже нет, но почему поэт...

— Один говорит это, а другой...

— Почему одному удается сказать, а другому нет?

— Кто это знает? Человеческая душа — потемки, как говорили в России. Нет, нельзя объяснить. Это значит какой-то недостаток чего-то. Недостаток чув... известной... какой-то связки чувств. Назовите воображением.

— А вот то, что у древних: поэт — это тот, проходя через кого язык преобразуется таким образом, что из профанного слово становится священным, священным — вы не хотите это принять?

— Я не знаю, что такое святое. Священное — мне ничего не говорит.

— Would you prefer coffee with milk? — спросил дворецкий.— С молоком?

— Без молока, половину чашки.

— Сахар?

— Да, коричневый.

— “Что вы предпочитаете?” — повторил Исайя по-русски, и это почему-то развеселило его,— ну да... Не знаю, что это, когда говорится “свято”, “священное”. Вы понимаете эти слова. Значит, люди к этому относятся известным образом. Преклоняются перед этим. Ожидают, может быть...

— Почему, если я говорю: “Я бы хотел поставить себе памятник”,— а Гораций говорит: “Eregi monumentum aere perennius”,— почему мои слова остаются профанными, а его становятся неотменимыми? Вы не хотите этого знать?

— Я не могу этого знать, я не знаю, как это знать и кто знает. Кто может мне объяснить. Если я хочу знать, я хочу, чтобы кто-то мне объяснил — никто мне не объяснил.

— Но — это происходит, правда?

— Конечно.

— Через него это происходит. Вы не хотите сказать: да, поэт это такое священное животное?..

— Я знаю, что так говорят, но я бы так не выразился. Потому что “священное” — такого слова я не употребляю. Гений делает мне это непонятным, но я этим восторгаюсь. Я вам дам на это, понимаете ли, калам... не каламбур, а пояснение. Я уже тысячу раз его давал. Кто-то меня спросил когда-то, что такое ге-

ний. Я сказал: вы знаете, я объясню вам, что такое гений. Это совсем не так замысловато. Гений. Не величие, это другое дело. Великий человек — это человек, который меняет историю, известным образом. А гений. Танцор Нижинский. Нижинского спросили, как он умеет так прыгать — так не падать. Он сказал: вы знаете, люди, которые прыгают, обыкновенно спускаются сразу вниз. Этого не нужно. Подождите. Зачем делать это сразу? Подрожите там, немножко надо полетать — как бы сказать это по-английски? — hovered...

— Паря. Повиснув.

— Вот так. Не сразу спускаться — а вот так. А потом спуститься... Это гений. То, что они делают, — просто. И ясно. И вы чудно понимаете, что делается. Как это делается, понятия нет. И что для этого нужно, вы не знаете. Но это не от одного таланта. Это сразу действует на вас таким образом. То же самое в музыке. Музыка — это отдельное дело. В музыке я это более или менее понимаю. Музыка очень непохожа на другие искусства. Непохожа. Совсем нет. Все другие искусства имеют отношение к миру. К миру... как сказать?..

— Натуральному.

— ...натуральному. Тогда как поэзия — это слово. Словами так или иначе пользуются. Слова. Художество — это краски, формы, это мы видим в природе, видим натуру в конце концов. Сами мы бы это сделали иначе. Музыка — это не подражание, не знаю, птицам. Это не подражание чему-то, которое мы слышим там. Ритм — может быть — обозначен в нашей крови, пульс.

— Что-то биологическое.

— Да, есть. Но мелодия — нет. Это что-то совершенно отдельное, что мы производим из себя, и не имеет никакого отношения к другим искусствам. Поэтому ангелы только занимаются музыкой и картин не пишут.

— Ангелы?

— Да. Играют. Играют на арфах. Играют на трубах.

— Вы, Исаяя Менделевич Берлин, говорите об ангелах?

— Я говорю о художниках, которые представл... которые показывают нам ангелов. Ангелы у художников играют на трубах, играют на арфах. Потому что ангелы не занимаются зёмными делами. А тут что-то незёмное. Я могу себе представить ангела. Не ангела с крыльями, а вот этого старого еврейского ангела — тот ангел, который пришел к Аврааму и сказал Сарре, что у нее будет ребенок. Этот ангел не имел никаких крыльев. Это был какой-то господин. Свалившийся оттуда.

— Итак. Музыка для вас номер один среди прочих искусств.

— Да, да.

— А еще вы дружили со Спендером, с молодости; и вообще знали с поэтами. Выпускаем такую замечательную довольно часть вашей биографии, которая мне открылась, что вы сами писали ежедневные стихи...

— Ни при чем, это была механическая вещь.

— Я шучу, шучу... А был у вас в жизни период большей остроты отношения к поэзии или меньшей? Или это зависело только от...

— ...поэтов, которых я знал. Есть поэты, которых я люблю, и поэты, которых я не люблю. Я читаю, могу читать поэзию. Шекспира я могу читать, сонеты, с наслаждением. Мильтона тоже. Тютчева тоже. Пушкина тоже, Лермонтова тоже. Блока тоже. И так далее. Главным образом по-русски. Потому что поэта надо всегда... поэт больше всего относится к тому языку, который вы знаете ребенком. Поэтому русская поэзия больше для меня означает, чем английская.

— А как вы относитесь к поэзии Иосифа?

— Положительно.

— Ну, Исая, ну правда.

— Не негативно.

— Да-да-да. Это не вы ли когда-то ответили...

— Я никогда не считал Иосифа гением.

— Не считали, ну и не надо, но он невероятно талантлив. В отдельных вещах и гениален.

— Гениален, но не гений. Можно сказать “гениален” только по-русски, и по-немецки это можно сказать; нельзя сказать по-английски. Есть просто... есть такие моменты гения, но не гений, в полном смысле — в котором Блок был гений. Настоящий гений.

— А Пастернак?

— Ну Пастернак, *par excellence*. Мандельштам — гений. Ахматова.

— А вы никогда не выделяли Мандельштама особо? Как не только лучшего русского поэта двадцатого века, а поэта ранга, например, Данте, например.

— Я понимаю.

— Но так не считаете? У вас нет такого отношения к нему?

— Нету, нет. Я думаю, так должно быть, вероятно даже, так и есть. Но нет, нет, мое отношение к искусству недостаточно глубокое. Не меняет мою жизнь.

— А у кого вы видите глубокое отношение к искусству?

— О, у меня есть друг, Hampshire, Хэмпшир, философ. На самом деле, его жизнь меняется этим. Я понимаю, есть люди, на которых искусство, в частности, поэзия, на самом деле сильно действует. Они видят мир другими глазами. Мир меняется перед их глазами, если какой-то поэт что-то сказал. Я это прекрасно понимаю. На меня производила такое действие проза Вирджинии Вулф. Поэтому когда я ее читал, я видел улицу другими глазами. И дома тоже. Это может быть, это эффект поэзии вполне понятный.

— Вы никак с ней не пересекались?

— Да. Я ее не знал, но я ее встретил, по-моему, три раза.

— И никакого разговора не было?

— Был разговор, но не очень интересный, она описывает разговор этот довольно точно в своих письмах. Я на нее произвел не особенно такое приятное впечатление.

— Да?

— Virginia была глубокая антисемитка. Хотя муж ее был еврей. Она абсолютно ему была предана. Он для нее все сделал. Она знала это. Верила в него. Когда она покончила самоубийством, в ее последнем письме она сказала ему, какой он был замечательный человек. Как он ей... что он сделал для нея, для ее жизни. Но! Не в этом дело. Я ее встретил... за обедом в New College. Она была... двоюродная сестра главы Нью Колледжа. Мистера Тишера. Mister Tisher был в свое время такой ученый-историк, занимался всякими языками, Наполеоном; во время первой войны он был министром просвещения, у Ллойд Джорджа, большим другом, попал в Парламент, и — его мать и мать Вирджинии Вулф были сестры. Он меня — и ее — пригласил обедать. Она не очень хотела, но приехала.

— Примерно год какой?

— Тридцать четв... третий? тридцать четвертый? Я сидел напротив. И дрожал от нервности, потому что чувствовал к ней невероятное, понимаете ли, уважение. И она только... как-то ничего о разговоре не пишет, говорит “около меня сидел, против меня сидел довольно известный Исая Берлин...”. Известным я тогда не был, но она все-таки думала, что я был ее друзьям известен. “...как я слышала, коммунист”. Между прочим. “Выгля... По виду португальский еврей”. Почему португальский? Это номер один, письмо, которое написала своей сестре.

— Описывает встречу?

— Описывает вообще этот вечер. Потом, примерно то же самое пишет, она говорит: “Он немножко... как это по-английски?.. Слишком умничает”, что-то вроде этого. “Похож на молодого Кейнза” — это Кейнз у нее был большой друг. Это приятно, конечно, комплимент можно видеть. Если хотеть. “Похож на молодого Кейнза”... э-э... и все. Потом я ее встретил опять, разговаривали о том, другом и третьем. И о Стивене Спендере, и о его любовниках, и о других вещах. Потом я ее встретил, она пригласила меня на обед. Я пошел, и она была довольно... ничего замечательного не было — и со мной никакого специального разговора не было. После этого она меня опять пригласила — но к этому времени она уже покончила самоубийством: письмо пришло в Америку после самоубийства. Немножко жутко было. Это получить. Она красавица была.

— А она что с собой сделала?

— Она бросилась в реку, утопилась.

— Это депрессия?

— Кто знает.

— Вот именно: кто знает.

— Нет, она сходила с ума. После каждого написанного романа — что-то происходило. Она была не нормальная в этом отношении. Что-то происходило, какие-то сумбуры. После того, как писала роман, ее нужно было смотреть психиатру.

— А она не производила впечатления величия — такое, как производила Ахматова?

— Не величие, нет, но очень она была невероятно красивая, тоненькая, говорила замечательно, говорила немножко, как Пастернак говорил. Пастернак говорил иногда чушь, а иногда гениальные вещи. Вперемешку. Так было немножко с ней. Когда она, например, начинала описывать, как ее платье загорелось где-то, это было замечательно слушать. Это всегда было живое, полное, поэтическое и самое приятное, которое я когда-либо слышал; чтобы так говорили, с таким воображением, так живо и не только живо, но замечательно красиво».

Наступает день и час «Мемориала», когда между половиной одиннадцатого и половиной первого ночи Бог объявляет Паскалю о своей действительности так же явственно, как геометрическая циклоида о своей формуле. Или не так явственно, но разными способами все-таки подталкивая к признанию этой действительности. Или *не* наступает ни в каком виде. Мир, в котором Бог есть, а тем более мир, который Бог содержит, — целен, полон и един. Само принятие Бога, Его действительности, все равно — доказательное или бездоказательное, логическое или на веру — обеспечивает эту цельность, полноту и единство. С Богом жизнь не становится беззаботней и легче, но, во всяком случае, гармонически ориентируется. «Ибо все из него, им и к нему», как разъяснял римлянам Павел. Без Бога человек находится в мире разобщенных картин, явлений, лиц. Нижинского лишнюю долю секунды поддерживает в воздухе не ангел и не демон, а такая бесспорная данность, как его гениальность, столь же убедительная, что и особый склад его мышц и костей. Голоса Мильтона и Блока озвучивает не ведомый, вне их существующий ритм, а их персональная гениальность. Поэзия — не невыразимые «звуки небес», а конкретные «песни земли». Борис Пастернак и Вирджиния Вулф меняют обыденную картину мира не званием к потустороннему прошлому человеческой души, а потому что вот так, они это умеют, такими родились, родились гениями.

Без ночи «Мемориала» или хотя бы приближения к ней рассудок и душа человека остаются с миром, как он есть, неисчислимым и несводимым ни в какую систему. Принять его в таком виде, разобраться в нем таковом, признать, что для человеческих личностей, делящихся, как простые числа, только на самих себя и на единицу, нет общего знаменателя, кроме произведения от перемножения их друг на друга, требует не меньшего мужества, чем добровольно принять Бога, разобраться в Его и своем собственном месте, и в Нем найти общий знаменатель для себя, для любого, для всех — для несводимого в систему, неисчислимого мироздания. Позиция Берлина не богоборчество, а честность — подкупавшая в нем, о чем бы дело ни шло, о Торе или о Доре.

### Глава VIII

В один из моих еще до-оксфордских приездов в Лондон он предложил встретиться в клубе «Атенеум»: «Пиджак и галстук. Увы, увy, увy, увy, пиджак и галстук». Стояла тридцатиградусная неподвижная жара, до портика «Атенеума» я нес пиджак на одном плече, галстук на другом. В дверях привел себя в клубный вид, вошел, швейцар спросил, к кому, сказал, что «сэр Айзайа» только что звонил, что задерживается на три минуты. Мне было предложено сесть в кресло, я выбрал самое дальнее, распустил галстук — швейцар немедленно оказался возле меня: «Я боюсь, вам так будет менее удобно, чем если вы завяжете галстук». Вошел Исаяя, в темно-синей тройке: шерстяном пиджаке и жилете, застегнутых на все пуговицы, в синем галстуке и с таким же платочком, выглядывающим из верхнего карманчика пиджака. Формальность нарушали броуки, ширинка была не закрыта, что называется, руки не дошли. Он сказал, что теперь, в его, как хозяйина, присутствии я могу раздеться хоть догола. Он бегло показал мне какие-то гравюры и портреты на стенах, старинный барометр и термометр — и телекс, тоже показавшийся старинным, во всяком случае, как будто помещенный в уютную домашнюю шкатулку. Из него медленно ползли сообщения, прерываемые раздумьями аппарата, передавать ли следующее, достаточно ли не неприятно для членов клуба следующее, чтобы его передавать.

Возможно, эта мысль пришла мне в голову, потому что одновременно Исаяя рассказывал о клубе, о том, что члены его — старые или очень старые люди, такие старые, что не всегда даже известно, живы ли они, и только вывешиваемый на стену портрет, вот, как, например, Диккенса, определенно удостоверяет, что человек умер. Он пригласил меня на второй этаж пить кофе в библиотеке, и едва мы сели, как из дальнего угла к нему двинулся именно такой старый или очень старый человек, и пока он, не торопясь, приближался, Исаяя сказал, что не любит стариков, не любит с ними разговаривать, не любит старость, что старики и старость — недоразумение. Хрупкий долгожитель наконец подошел, чтобы осведомить Исаяю, что позавчера слышал его по радио, это было очень интересно, thank you, Isaiah, получил в ответ «thank you, Jonathan» (или Tegense, или Robin), и прежде чем он развернулся, чтобы поплестись обратно, Исаяя с напором, словно бы доказав свою правоту, сказал мне по-русски: «Вот видите».

Я спросил: а в каком виде люди существуют на том свете — средних лет; юные; старики? Он ответил: а ни в каком. Это было еще до серьезного разговора о том, что у него «проблемы с Богом» и главная «трудность в том, что слово “Бог” ничего не означает» для него. Я сказал пошучивая, примирительно: ну в каком-то небось существуют. Он поднял указательный палец и произнес, хоть и не отказываясь улыбаться, однако и не давая видимого повода для сомнений, что



говорит вполне серьезно: «Ни в каком. “Того света” нет. Нет никакого “там”». Но в ту минуту я предпочел ориентироваться на улыбку.

Каково это было знать тому, чья жизнь состояла из постоянного общения с людьми, постоянного разговора, жадности к каждому новому дню, его новостям, пристального разглядывания уличной толпы, «засматривания на их головы, их лица»; тому, кого «всегда веселили люди — когда было скучно, люди приходили, и становилось более или менее весело», тому, кто «никогда не скучал с людьми!» «Я просто не могу себе представить, что будет день, такой же светлый, шумный и счастливый, как этот, и — без меня».

Из этого не следует, что он коллекционировал людей,— из этого следует, что, наоборот, он *не* коллекционировал людей: какой смысл в коллекции, когда «там» не будет ничего, потому что нет самого «там»? Не коллекционировал, но конденсировал в себе — по-видимому, точно так, как конденсировал в себе свет, шум и счастье каждого нового дня. Его книга «Личные впечатления» — не биографии, не портреты, не аналитические статьи, а дважды нестойкие, дважды «мягче меди», дважды склонные ускользнуть, исчезнуть, стереться записки: потому что действительно *впечатления*, отпечатки легких прикосновений, и потому что *личные*. Этот метод постижения людей и их судеб распространялся и на характер его научных знаний и знания вообще. Его характеристики человека, явления, отвлеченной категории были энциклопедически точны и полны, но в какую-то минуту том энциклопедии захлопывался, уступая место *впечатлению*, а лучше сказать, впуская его: живой эпизод, анекдот, остроту, афоризм.

Однажды разговор на тему о русской эмиграции свернул на Билибина, его одноклассника, сына известного художника. «Да, да. Это был единственный русский мальчик в Англии, которого я знал в детстве. Потому что он был в моей школе, в том же классе.

— В той же деревеньке, в Сербитоне?

— Нет, нет, нет — когда я был в Лондоне в школе. В Saint-Paul School, в Сент-Пол. В Сербитоне я был только год.

— А какова судьба Билибина?

— Он только что умер. Он был царедворцем у претендента на русский престол. Всю жизнь это делал. Иван Билибин. Его отец был художник. Он умер, по моему, в прошлом году.

— Вы поддерживали с ним отношения?

— Нет, не особенные. Я его встречал, может быть, раз в двадцать лет. Где-то, когда-то — когда мы были в хороших отношениях. Потому что я его знал только в школе, потом мы разошлись. Он сделался просто официальным монархистом, это была его карьера.

— Вот на это я слаб, это я у вас обожаю: “Такой-то; сын художника; профессиональный монархист. Это все замечательно, но мне он был мил тем, что ходил в школу в форменных коротких штанишках”.

— Понимаю. Нет, я просто его знал, он был полурусский, мать была англичанка — первая жена, или единственная жена, не знаю, Билибина, художника, и поэтому они приехали в Англию. Они были очень бедны: когда я к ним заходил в школьный мой период, давали черный хлеб с солью и тому подобные вещи — никогда много пищи не было. Потом он был в Оксфорде. В Оксфорде я не очень видел его — видел раз в год, может, два раза в год. А потом он уехал куда-то к претенденту, где он там жил, не знаю — Кобург, Испания, Бог знает где — тогда я с ним потерял отношения. Но — ото времени до времени я почему-то *нечаянно* с ним встречался. В каком-нибудь месте, на концерте, на, не знаю, в музее, что-то в этом роде...

— У вас были дружественные отношения.

— Вполне, вполне.

— А он к вам домой приходил в школе?

— Никогда».

Все. Два мальчика в униформе школы Сент-Пол, черный хлеб с солью, дворец в боярском костюме, которые так досконально рисовал его отец... Как быть, как поступить, если нет его самого, Исайи Берлина, чтобы так же, в той же манере — словарно строго преподав суть и не упустив подробностей, а затем неожиданно иллюминировав текст почти домашней зарисовкой и сердечной вспышкой — сказать о нем, об «Исае Берлине»?

Сказать не получается, приходится *пересказывать*.

Интервью, какой бы вид оно ни принимало: вульгарно записываемых на диктофон вопросов-ответов или доносимых до дому по памяти фрагментов разговора и там «по свежим следам» передаваемых дневнику — всегда журнализм, и журнализм не очень высокого разбора. Берлин, естественно, никогда не «вещал», я никогда не «внимал», когда мы встречались и что-то обсуждали или просто болтали. Брать у него интервью так же не могло прийти мне в голову, как во время ланча с ним не есть то, что ложится на тарелку, а заворачивать в салфетку и уносить с собой «на потом». Но начиная с середины 90-х общая наша знакомая — гораздо более близкая моя, нежели его, — стала регулярно и настойчиво убеждать меня, что я «должен» это сделать. Так как ее причины, почему я «должен», не были моими, то в споре со мной ей приходилось подверстывать свои доводы под ту простую логику, что «должен», потому что «могу»: «Потому что он *рад* будет такому разговору с тобой». Словом, вся затея и ее обоснования оказывались, как принято было говорить в дофеминистские времена, типично «женскими».

Наше с ней знакомство состоялось в Оксфорде, и благодаря Берлину. Однажды раздался телефонный звонок, и женщина, назвавшаяся Еленой, сказала, что собирается писать об Ахматовой, обратилась к Берлину, и он дал ей мой номер. Она была моего возраста и говорила на самом ходовом русском, хотя уехала из России лет тридцать тому назад. Из, кстати сказать, Риги. Мне не хотелось в сотый раз говорить и слышать об Ахматовой уже известное, и по обычному своему в таких случаях малодушию я отложил нашу встречу на неделю — из известных многим людям соображений, что когда-а еще эта неделя пройдет, а может, и не пройдет никогда. Через несколько дней в Ленинграде скоропостижно умерла моя мама. У меня был записан телефон Елены, я позвонил, объяснил обстоятельства и поехал в Лондон отмечать в советском посольстве выезд — тогда еще были такие порядки. Она ждала меня у ворот посольства с двумя тяжелыми сумками, набитыми сыром, ветчиной, консервами и так далее — для меня. Я отказался довольно резко, но это не произвело на нее впечатления: «Отдадите кому-нибудь — там есть кому отдать».

Она позвонила после моего возвращения, пришла к нам в гости и с каждой минутой все менее походила на даму, пишущую о Серебряном веке, и все более на женщину, знающую настоящую цену настоящим вещам, в частности, труду и боли. Ее отец был неаполитанец, мать рижанка, он перед войной оказался в Италии, они в России, все 50-е ее к нему не пускали, но в конце концов в пору коротенького «потепления» визу дали. Она вышла замуж за парижского скульптора, черного, родила ему четырех сыновей, разошлась, вышла за известного, европейской величины, итальянского сенатора, прожила с ним несколько счастливых лет и похоронила. Еще одна русская история.

Почти на все конкретные вещи и события у меня с ней были разные взгляды, так что при наших сходных и по сходству несовместимых «легковоспламеня-

емых» темпераментах мы постоянно спорили и ссорились. Но в ней была ода-ренность, в пылу которой все, что вызывало мое несогласие, сгорало легко и празднично, как петарды. Она обладала врожденным и счастливо воспитанным эстетическим чутьем, близко дружила с многими замечательными художниками и скульпторами, помогала им, когда надо было, и вообще как-то естественно, незаметно и по существу заботилась о встречающихся ей людях. И вот она взялась, со своей энергией и напором, за осуществление этой *идеи* — моего с Берлиным «разговора», который мало ли во что, хоть бы и в книгу, впоследствии может превратиться. Свои «нет» я произносил в диапазоне интонаций от иронической до хамской. Потом — я тогда преподавал в Нью-Йорке в NYU — она позвонила и сказала, что на каком-то обеде сидела рядом с Берлиным и объяснила ему, как было бы хорошо мне и ему вот такую беседу устроить, но я не хочу его затруднять, и он якобы ответил, что что же тут затруднительного.

Я был в ярости и написал ему, что все это исключительно ее фантазия, а я ни затруднять, ни не затруднять его этим ни одной секунды не думал, и не вижу в этом — полагаю, так же как и он, — никакого ни смысла, ни привлекательности. Потом, через месяц или полтора, я проснулся однажды и, как бывает иногда в минуты ничем не замутненной утренней ясности, захотел немедленно спросить Исайю про все, о чем в таком приблизительном виде сейчас пишу. Про то, что может русский извлечь из Европы, что может Европа сделать с русским, каково то и другое, если русский — еврей, если Европа — еще и специфически Англия, если время — двадцатое столетие от начала и до конца, если этот русский конкретно Исайя Берлин. В этом роде.

Желание видеть и слышать его сию секунду было таким сильным, что память об этом оставалась совершенно живой и назавтра, и на послезавтра. На третий или четвертый день я получил письмо от него. Это был задыхающийся монолог о переживаниях, которые вызвал в нем третий том «Записок» Лидии Чуковской об Ахматовой. «Oh dear. I will not go on about it, — кончалось письмо. — Is there any chance of your coming to this side of the ocean? The three volumes of *Neva* create an agenda on which we could talk and talk and talk for days and days and days. Do let me know». (О господи. Не буду продолжать об этом. Есть ли какая-то возможность Вашего появления по эту сторону океана? Три номера журнала «Нева» задают сюжет, о котором мы могли бы говорить и говорить и говорить в продолжение дней и дней и дней. Дайте мне знать.) Я позвонил ему и сказал про желание, которое так остро испытал в тот же, по-видимому, день и час, что и он.

Как часто бывает со старыми, то есть навсегда сложившимися, людьми, Исайя иногда соскальзывал с ответа на вопрос, поставленный специфически, в ответ на вопрос, близкий к заданному, кажущийся ему более существенным или центральным или просто на который он уже отвечал. Так было и с Ахматовой. Оглядываясь назад, я вижу теперь само собой разумеющимся, что ей — и никому вообще — нельзя задать какие-то вопросы в расчете услышать свод мудростей, сформулированный итог жизни. Что надо, будет сказано, и из этого что надо — услышано. Когда определенно, явственно, *физически* наклоняешься все ближе к земле, естественно осознать всю жизнь как долгий путь к корням, потому что естественно думать о корнях, вглядываться в корни — отдельных растений, конкретных деревьев, не охватывая умом их в целом, не формулируя, не обобщая в «лес», тем более в «леса». В Лондоне со мной познакомился молодой еврей, ревностный ортодокс, активный член синагоги и общины; через пять минут разговора нас прикатило к «иудаизму и христианству», и он бросил с даже неосознаваемым и потому неправдоподобным хамством: «Не будем сравнивать Божий дар с яичницей». Берлин, которому я об этом рассказал, прокомментировал

вал: «Неудачно сказано»,— прежде всего потому, что предпочитал *факт* яичницы *туману* Божьего дара.

Другой особенностью того, что и как он говорил, была английская атмосфера, в которой он, ведя беседу, укорененно пребывал и которую, по его предположению, должен был принимать во внимание, беседуя с ним, я. Именно английская, а это отнюдь не то же, что вообще чужая, французская, итальянская. Я чувствовал себя, с первой минуты и до последней, попадавшим в английский роман, где надо знать условности не меньше, чем условия, надо знать, где и когда сказать «не по правилам» и где и когда не сказать «по правилам».

И наконец, читая его речь, необходимо (насколько возможно) представлять себе ее музыкальность — которую следовало бы помечать ударениями, паузами, нотными значками. Или хотя бы снабжать ремарками, вроде театральных, его похлопывание ладонью здоровой руки по больной, когда он выходил на заключительную, синтетическую, неоспоримую часть пассажа, или выразительно копировал персонажа своего рассказа, или переходил на шепот, закашливался, делал непринятое, но оттого выразительное, ударение, посмеивался. Надо воспринимать его «понимаете ли» и «такое, я не знаю», и вообще всякое проходное, намеренно затягиваемое слово как свойственное любому разговору и даже болтовне средство вспомнить, что дальше: «Я-я — бы-ыл — на прие-еме» — и дальше скороговорка: «у-индъссква-псла» (у индийского посла). Надо помнить, что его русская речь была энергичным выключением из постоянной английской, поэтому звучала и куда беднее английской, и часто выглядела как синхронный перевод: «под Хрущевым он вернулся», «под царем», «под обеими революциями» — *under Khrushchev, under the tsar, under both revolutions*; «сделал влияние», «сделал впечатление» — *produced influence, made an impression*. Он говорил Хьюм вместо Юм, Чёчилл вместо Черчилль, и вообще произнесение всех английских имен по-английски — так же как французских, итальянских и немецких по-французски, итальянски и немецки. При всем при этом его русская речь была богато интонирована, звучала выразительно, часто вызывала улыбку, иногда смех, я с удовольствием смеялся. У него были свои ударения: «а́гент», «незе́мное», «пергаме́нт», «скри́пичный», «демократи́я», «индивиду́ум». Он мог едва заметно споткнуться на «дарови́тый» вместо никак не приходящего на память «одаренный», но не тратил времени на подыскивание слова, считая, что мне понятно, как это исправить; а мне, когда я слушал запись, как раз не хотелось ничего исправлять.

Некоторые, короткие, блоки его речи звучали неразборчиво, иногда я переспрашивал, чаще нет,— в записи они просто пропадают — еще и потому, что он претендовал на роль знатока техники и помещал диктофон, как ему казалось, в идеальную точку — на практике довольно неудачную. Когда голос начинал звучать глуше, я говорил: «Давайте кончим на сегодня». Он отвечал: «Сделаем перерыв, я должен позвонить сейчас. Потом буду в вашем услужении.

— А может быть, вообще хватит?

— Почему? Парадоксально, но единственная вещь, которая меня утомляет,— это говорить. Как ни странно. Я говорливый человек, всю жизнь говорил. Когда у меня голос мой испортился, из-за болезни звуковых связок...

— Когда это случилось?

— Я думаю, лет пятнадцать тому назад.

— А что случилось?

— Просто перестал функционировать, это был паралич этой самой вещи, связок. Никто не знает почему. Это был — как эта вещь называется? причина этой болезни, по-английски тоже забыл, не микроб...

— Вирус.

— Вирус. Неизвестный вирус. Я лекции не могу давать, после обеда не могу говорить, с людьми не могу громко говорить, только в комнатах. Меня это спасает от разных обязанностей. Но если бы тот второй нерв, вторая половина связок тоже ушла, я бы сделался немым. Было бы для меня не очень неприятно, но люди бы смеялись».

Парадоксальность — конкретного человека, явления, самой жизни — была для Берлина необходимой компонентой подлинности. Парадоксальность речи — тоже, но не в качестве приправы, а как сок, вытекающий из плоти того, о чем речь шла. Парадоксальность была солью реальности, без нее реальность становилась пресной, то есть не вполне реальной. Когда Елена условилась встретиться с ним в кафе, и то ли один из них перепутал место, то ли опоздал, и каждый утверждал, что был там в срок и не застал другого, он привел довод неоспоримый: «Уверю вас, что вас там не было». Уверю вас, что вас там не было; уверю вас, что вы там были,— доказательство парадоксальным образом куда более внушительное, чем бессильное перечисление честных свидетельств. «Вы знаете мою первую встречу со Стравинским? Хотите я вам сейчас расскажу? — Это он сказал с воодушевлением в самом начале нашего знакомства.— Это Николай Набоков устроил.

— Простите, а Владимира Набокова вы знали?

— Да, только я встретился с ним два или три раза. Я его не знал, он не был другом, не был знакомым, я просто с ним встретился два раза и разговаривал. А что вы хотите знать о нем? Малоприятный господин. А кузен его Николай, мой большой друг, был замечательный человек: плохой композитор, но абсолютно очаровательный.

— И у него были какие-то отношения со Стравинским?

— Очень близкие. Стравинский никого не любил, но он пользовался им, он был одним из приближенных. Он часто его видел: Ника он его называл. И это Ника устроил, решил, что нужно меня с ним встретить. Чего я не знал. Так. Он был в Лондоне, в Савой Отеле. Меня послали к нему, я постучался к нему в дверь, он был один, я дрожал. Гений, я не знал, что сказать.

— Какой год примерно?

— Я не знаю. Ну, лет тридцать тому назад, то есть после войны, ну да, пятидесятые годы. Он пригласил меня сесть. Говорить нам не о чем, полное молчание с обеих сторон. У меня — от испуга, я был очень испуган. В конце концов он сказал: “Ника говорит, вы интересуетесь русской культурой”. Я сказал: “Да, это так”. Молчание, потом он сказал: “В области музыки в России многое сделали, довольно замечательные вещи, нельзя этого отрицать. В живописи — почти ничего. Как вы это объясните?” Я когда-то прочел тогда какое-то эссе Виргинии Вулф о Тургеневе, где она говорит известную вещь, но говорит замечательно, что описание природы у Тургенева никогда не описание природы как таковой, а всегда имеет отношение к настроению у героя или обстоятельствам, в которых он находится. Всегда смешивается с тем, что происходит. Я об этом прочел, вероятно, за год до этого, и я ему начал лекцию давать: а вы знаете, французы используют натуру, они экстравертны, для них натура существует: краски и share — как share по-русски?

— Форма.

—...форма, краски и все это. Россия нет, Россия смотрит всегда вглубь, они все интровертны, у них скорее мысль обращается в глубины души, для них натура играет только роль какую-то побочной, замешанной с их настроением, с тем, что у них внутри происходит, и так далее. Я так поговорил, думал, что я, I'm doing quite well, что дело идет. Было молчание, потом: “Скажите мне, вы считаете, то,

что вы только что сказали о русских, относится к Молотову?” И мой пыл, понимаете ли, лопнул, вся эта моя штука: он поднес иголку — и лопнуло.

— И вы полюбили его.

— Да. Потом я видел его довольно часто. И постоянно — какой-нибудь анекдот случался. Я его полюбил, да, мне с ним было всегда приятно, и ему со мной тоже. Он был недобрый, это правда.

— И с вами? Или с вами все-таки добрый?

— Очень любезный. Добрый — не то. Любезен — любезен был всегда. Весел и любезен.

— Крафт был почти членом семьи, да?

— Сделался, да. *Amanuensis* — что называется по-латыни. Тот, кто всегда под рукой. Человек, который работал для него, делал все. Был как слуга ему — на общественном уровне. Я вам еще расскажу, как мы в шестьдесят третьем году пошли на “Весну священную”. Было следующее. В один прекрасный день мне позвонил по телефону Игорь... Сергеевич? Федорович? Не помню, да... Стравинский — сказал мне: «Что делается в Опере “Ковент-Гарден”?» Я сказал: когда? Он сказал, н-ну — двадцать третьего. Я посмотрел в расписание, я сказал: идет опера, которая называется “*Le Nozze de Figaro*”, композитор Моцарт, а дирижер будет Шолти. Он говорит: “Можно пойти туда?” Я абсолютно удивился — никогда не слышал, чтоб Стравинский шел на концерты не своей музыки. Особенно в Оперу. Никогда не ходил. Но — приказ это приказ, я сказал: да, конечно. Он сказал: пять билетов — для себя, для вашей жены; для Стравинского, для Веры Стравинской, для господина Крафта — для этого самого *подручника*. И-и-э, вот мы пришли вечером. Прежде чем началась опера, в фойе, Крафт подошел ко мне: “Я должен объяснить вам, что случилось. Вы знаете, что сегодня вечер пятидесятилетия — ровно — первого исполнения “Весны священной”, в Париже — под руководством господина Монтё. Сегодня точно пятьдесят лет прошло, он опять дирижирует это, в «Альберт-холле». Конечно, в присутствии Стравинского. Стравинский сказал, что пойти “на изувечение моей работы, пойти на этого ужасного господина, этого ужасного дирижера, да, чтобы он испортил всю мою вещь — нет, никогда! Н-не пойду. Ни за что”. И поэтому вам позвонил, чтобы быть на другом месте”. И мы подошли и сказали: “Маэстро Стравинский, если бы вы просто сидели в Савой Отеле, может быть, это и прошло бы, как-нибудь. Но быть видным... видимым в другом месте, нарочно, когда ваша вещь идет в «Альберт-холле» — это вашей репутации добра не сделает”. Ну, он немножко... И тогда решил: ну хорошо, ну придется что-то делать. Он высчитал метрономически, сколько Монтё берет на эту вещь. Решил, что он может пойти на один акт “Фигаро” — все-таки хотел, чтобы его видели там. Мы просидели акт, все было хорошо, мы встали и начали медленно продвигаться к выходу. К нам подошла такая девица — не знаю, как они называются по-русски...

— Капельдинерша.

—...*kapelldienung*? Капельдинер, так и называется? ...капельдинерша, подошла и сказала: “Вы знаете, это не перерыв, это только *demount, demount* — это значит только немножко разъединение известное, тут нету, понимаете ли, антракта, скоро начнется опять. Нельзя выходить”. Тогда Стравинский сказал *громовым* голосом: “Мы пятеро русских, и у всех у нас понос! *Diaghoea*”. Она, понимаете ли, была, не знаю, бедная девочка, эта девушка, я думаю, была — опрокинулась, в общем. Мы вышли, посадили его в такси, который его ждал, сами вернулись. Он поехал в «Альберт-холл», пришел к концу, появился, поклонился, были невероятные, конечно, овации — аудиенция встала, я не знаю, был какой-то триумф. Потом были фотографии в газетах: Стравинский, обнимающий Монтё; Монтё, обнимающий Стравинского... Всё».

Даже если Стравинский назвал пролетарское, кузнецкое имя *Молотов* потому, что его настоящей фамилией была артистическая, композиторская *Скрябин*, какое одно к другому имеет отношение? Вот это, что когда-то написала умевшая говорить «с таким воображением, так живо и не только живо, но так замечательно красиво, что это становилось полным, поэтическим и самым приятным» выражением того, что можно было услышать от человеческого рода, «невероятно красивая, тоненькая» Вирджиния, *Виргиния*, Вулф о природе, всегда взаимодействующей с настроением тургеневских героев; — к сталинскому обручку Молотову, взявшему на себя во время войны огласить один из излюбленнейших по кровожадности лозунгов Хозяина «у нас нет пленных, у нас есть предатели родины», не пискнувшему, когда жену закатали в ГУЛАГ, оставившему свой след в истории только тупым орудием убийства, бутылками с горючей смесью, прозванными «коктейль Молотова», — какое имеет отношение? Какое — если не то, что одинаковые комбинации одних и тех же элементов Периодической системы Менделеева не могут дать сопоставимых результатов по той простой причине, что конкретная жизнь — не что другое, как парадоксальное ускользание от всего элементарного, комбинационного и систематического? И бурный понос сразу у пяти людей, причем исключительно русских, что придает ему размах дикой стихии, — это единственно неборимое конкретное средство борьбы с «изувечением» музыки «этим ужасным господином, этим ужасным дирижером», который может только испортить, «да, испортить всю вещь — нет, никогда, н-не пойду, ни за что!». Вульгарная диарея — чтобы предотвратить диарею вульгарного дирижирования.

Эксцентричность, однако, как ни привлекательна она была Берлину тем, что без нее местоположение *центра* никогда до конца не точно, он ни в коем случае не соглашался принимать в ущерб центру, тем более не давал ей подменить центр. В миропорядке Ахматовой, столь же убедительно реальном, сколь убедительно мифологизированном, Саломея Андронникова, по слову Мандельштама, «нежная европейка», по ахматовскому, «красавица тринадцатого года», была неким связующим звеном между Берлином и ею, Ахматовой, и, во всяком случае, занимала место в его жизни прежде всего как ее давняя петербургская подруга. Так это выглядело по ее версии. Из его рассказа этого никак не следовало. Я спросил, как они познакомились.

«— В Нью-Йорке. На ней женился такой человек Гальперн. Гальперн был вот что. Александр Яковлевич Гальперн. Он был юрист, он был адвокат. Его отец тоже был довольно знаменитый русский еврейский адвокат, был дворянин, из немногих еврейских дворян. Он служил в Британском посольстве как советник, и этот сын тоже — когда началась революция. Я думаю, что в пятом-шестом году он был довольно левым, потом немножко поправел. Потом во время революции, когда убили, я думаю, этого британского атташе, убили советские солдаты и матросы, он решил, что немножко опасно. Уехал в Англию и занимался тут международным правом. Может быть, работал для разведки тоже. Саломея была в Париже, она уехала из России — я думаю, в восемнадцатом-девятнадцатом году. Без паспорта. И дружила с разными русскими в Париже. И он ее обожал, абсолютно обожал. Они поженились в тридцатых годах, я думаю.

— Ей было лет сорок пять.

— Может быть, раньше. Он был единственный человек, на которого можно было положиться. Она продолжала жить в Париже, а он в Лондоне, она к нему приезжала на месяц, на два, не больше. Потом началась война, он уехал в Нью-Йорк под видом какого-то еврейского общества, в котором он служил, ОРТ, было такое Общество Работы и Труда, его основали для евреев, которые

приехали из бедной страны. И она приехала из Парижа как его жена, они жили вместе, в Нью-Йорке.

— И вы познакомились с ней.

— Я познакомился с ним. Кто-то сказал, тут есть интересный русский еврей, он вам понравится...

— Она, действительно, была так пленительна?

— Да, прелестна она была, но не была красавицей большой, она была такая *belle laide*, прекрасная не красавица, она была очень выразительна, она была очень элегантная дама. И она за него вышла просто, я думаю, мне всегда казалось, что она вышла за него *pour s'arranger*. Уладить жизнь. Она его любила, он был честный, можно было на него положиться, у него было жалованье, он чем-то жил, с ним было спокойно. Ей. Но она в него не была влюблена. Он ее обожал до конца.

— Он умер много раньше ее?

— М-м... да.

— И вы стали ей помогать.

— Муж моей жены, второй муж, до меня, их встретил, они ему понравились, и он купил этот дом, в котором они жили».

Я слушал это как комментарий — лучший, какой только можно вообразить, — к знаменитому ахматовскому стихотворению «Тень», адресованному Саломее. «Прозрачный профиль твой за стеклами карет»; «Как спорили тогда — ты ангел или птица! Соломинкой тебя назвал поэт. Равно на всех сквозь черные ресницы дарьяльских глаз струился нежный свет». Мир меняется перед взглядом людей, если какой-то поэт что-то сказал, — он это прекрасно знал, на него такое впечатление производила проза Вирджинии Вулф: читая ее, он видел улицу другими глазами, и дома, такое может быть, это эффект поэзии, но *факт* — другое.

По ходу его рассказа случился конфуз. Правда, возник он за четверть часа до этого, но тогда еще не выдал себя. Тогда зазвонил телефон, Берлин снял трубку: «Алё?.. Очень хорошо сделали... Нет, по стойте, где вы?.. А, вы на Waterloo, да. Я, по-моему, встречу вас завтра? С Сильвой... Что?.. Да... Да... Мы увидимся завтра... Сильва вам скажет точно, где и как. Я очень рад, что вы живы, что вы в порядке, что вы живы, что вы в Лондоне — очень хорошо... Да, да. Особенно я. Я так стар. Я невероятно стар, не понимаю, почему я жив, как я жив. Но все-таки, все-таки все собираюсь продолжать... Мы увидимся завтра, по-моему, в четыре часа, сейчас скажу точно когда, вы будете у нас на квартире, минуточку, погляжу когда». (Я спросил: «Это Люша?») «Это Елена, да, называет себя Еленой, Люша, не называет себя Люшей... Точно в четыре. Да. Я вас помню». Он повесил трубку и объяснил мне: «Как если б я не знал, кто она: “Я Елена, я в Лондоне, я в Waterloo”...» Я сказал, что мы с ней сегодня оказались на одном самолете, и она, да, собиралась ему позвонить. «Люша» было домашнее имя Елены Чуковской, его знакомой, близкой подруги другой его хорошей знакомой, Сильвы.

Путаница заявила о себе как о таковой, когда телефон зазвонил еще раз. «Алё... Здравсьте... — сказал он. — Да, она мне уже позвонила... Люша... Это не вы звонили?.. Нет, нет, она сказала: когда мы встречаемся?.. Она позвонила с Ватерлоо... Она сказала: я... (Он повернулся ко мне: “Как ее имя?” — Елена.) ...я Елена. Я приехала... Уверю вас... Она позвонила. Я с ней разговаривал. Я ей сказал: в четыре часа тут. Завтра... Да... Да... Ну, так ее зовут в ее окружении, и вы сказали: я Елена. Почему вы это сказали, не знаю... “Я Елена”... Сказали мне... Кто ж это была?.. Какая-то другая? Так, вероятно, она тоже придет в четыре часа?.. Я понятия не имею, я ей сказал в четыре, но не сказал куда. Придет сюда — будет скандал... Завтра в четыре часа появляйтесь с ней сюда... Сюда...



Очень хорошо... Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо». Он кончил разговор. Я сказал: «Я, вы знаете, что, боюсь, случилось — что в первый раз это была та Елена-итальянка.

— Какой ужас.

— Может быть, я ее предупрежу.

— Вы ее будете видеть?

— Я должен ее увидеть.

— Скажите, что завтра я ее видеть не могу. Вы правы.

— Наверное, она.

— Вполне возможно. Скажите, что, к несчастью, я сделал ошибку, и не могу ее видеть. Чтобы она опять позвонила, и тогда я ей скажу, когда можно. Это будет одолжение огромное. А то может быть тут скандал.

— Скандал не скандал, но это будет ни к чему...»

Я подумал: что ж, если совершенно разные Елены могут так совпасть друг с другом, то ангел, птица, красавица тринадцатого года вполне может быть одновременно *belle laide*, которая выходит замуж *pour s'arranger*. *Belle laide* — это то самое, что *laide mais charmante*, как сказала Ахматова о жене Мандельштама, еще когда та была молоденькой. На минуту вся реальность — нематериальных телефонных голосов, ничем не сдерживаемых совмещений, поэтических образов — стала почти той же природы, что сон. И я вспомнил ахматовскую запись сна о Берлине: «Я вдруг почувствовала от этих странных слов, что я для него то же, что он для меня. И... меня разбудили».

«— А когда вы впервые вообще вошли в отношения с русской эмиграцией?

— Не вошел, никогда. С эмиграцией как таковой — никогда. То есть мои родители знали разных рижских евреев, которые тоже жили недалеко от них в Хемпстеде, и этих от времени до времени я видел, но с русской эмиграцией как таковой у меня не было никаких отношений.

— Вы рассказывали о Святополке Мирском, как он читал у вас лекцию о Пушкине...

— Другие люди отрицают это.

—... может быть, исполните на бис?

— С удовольствием. Хотя это отрицают — не знаю, кто отрицает, но, помню, кто-то, который был там в Оксфорде, говорил, что этого не было. А я помню это очень, очень, для меня это яркое воспоминание, страшно было смешно. Он был абсолютно пьян, это было главное. Это была встреча в Oxford University Poetry Society, Общество поэзии Оксфордского университета его пригласило. Это было в каком-то небольшом доме моего колледжа, и хозяин был некий сэръ Томас (*фамилию я не расслышал — Дарнет?*) — и его ожидали. Он вошел, шатаясь, в комнату, было абсолютно всем ясно, что он пьян. Он не мог найти стула — к которому его подвели, к креслу — и посадили его туда. Потом было гробовое молчание. Потом председатель сказал: мы очень рады и горды, что князь Мирский нас посетил, он будет читать доклад о Пушкине. Но опять полное молчание. Нет — Мирский сказал, что он будет потом отвечать на вопросы. Председатель сказал: “Пушкин. Великий поэт”. Он сказал: “То, что Данте был для итальянцев, Гете был для немцев, Шекспир англичанам,— Пушкин!..” Он выпалил это слово, как пушка. “...Pushkin was for the Russians. Был для русских. Да, великий поэт”. Молчание. Председатель сказал: “Пользуется ли... Does he use many similes?” Как *similes* по-русски?

— Сравнения.

— “Yes! Да — он пользуется очень многими сравнениями. Все его сравнения очень, очень хорошие”. Точка. Больше не было ничего. Встал. Председа-

тель произнес: “Благодарим за замечательную лекцию, которую князь Мирский так любезно нам прочел; надеемся, что в следующий визит к нам его выступление будет столь же ярким”. Потом он бродил по комнате, я слышал: “Вы только прочли четыре книги Маркса, а Маркса — сорок томов”. Он тогда уже сделался марксистом.

— Кому это он сказал?

— Кому-то в углу. Кто-то сказал что-то, а он ответил — «вы только четыре прочли, а их сорок».

— А с кем-нибудь из русских философов, так называемых религиозных, у вас были отношения: Бердяев, Лосский, Шестов?..

— Да, я встретил Бердяева, он к нам приехал в Оксфорд. Он был другом такого господина, я вам скажу, его ученик, он все еще жив, его имя... Лямперт. Это был русский еврей по происхождению, то есть полурусский, полу-нет, что-то другое, и он учился в Парижской духовной академии, и он о нем как-то заботился. Не особенно приятный человек, по-моему. Другое дело — он мне посвятил книгу, из-за чего мне было очень неудобно. Во всяком случае, он приехал...

— Какую книгу?

— Первую книгу, о русских революционерах. У него две книги было. Он был стопроцентно просоветский человек. Евгений Лямперт, Женя Лямперт. Жена была англичанка... Бердяев приехал в Оксфорд, меня пригласили обедать, потому что глава моего колледжа, который писал русскую историю и прекрасно читал по-русски, не говорил на этом языке.

— Кто это был?

— Самнер. Он был довольно знаменитый английский историк России. Написал биографию Петра Великого, написал самую лучшую книгу о России между тысяча восемьсот семидесятыми и тысяча девятьсот десятым годом, в этом роде. Политика России и так далее. Он был настоящий ученый... Потом я сидел около Бердяева и переводил ему — главным образом. Потом мы пошли гулять. Вдруг на дорожке появился профессор философии Райл, был знаменитый философ, он увидел Бердяева: Бердяев носил такой *béret*, берет, маленькую сигару и бородку. Райл прошел и сказал мне: «Fraud?!» Подделка?! Я сказал: «В общем, да». Потом ему дали степень в Кембридже, Бердяеву.

— А Бердяев не понимал по-английски? Поэтому вы могли шутить, да?

— Да.

— И вы ему ответили по-английски, Райлу?

— О да. Миновали друг друга, в саду, и так перекинулись друг для друга: «Fraud?» — «В общем, да».

— «More or less».

— Бердяев был очень умный человек, умный и довольно интересный человек, но к этому времени он сделался шарлатаном.

— В общем, да?

— Этот Лямперт, его друг, рассказывал странные вещи, которые были с Бердяевым: «Я с ним ехал в Париже, мы были на пароходе, там был такой местечковый еврей, явный местечковый еврей. Он посмотрел на меня и сказал: «Тот господин, он как будто какой-то восточный человек?» — «Думаю, это еврей». — «Нет, восточное что-то. Я думаю, он восточный человек».

— А вы это как-нибудь объясняете?

— Ну, он был до известной доли антисемитом. Это наверное.

— И он хотел немножко по своему собеседнику пройти на этот счет?

— Да, по Лямперту, своему ученику. Лямперт удивился. Он не обиделся, но он удивился: какой восточный человек? Ясно: местечковый еврей. Он наивно как-то удивился: как это могло быть?.. Я знал, как это могло быть, а он нет.

— А Шестов?

— Шестова не видел. И Лосского я не знал, но видел где-то, да, он прочел лекцию какую-то.

— И вас это не вдохновило.

— Нисколько. Он был очень скучный человек. Скучный философ. А как было имя настоящее Шестова?

— Шварцман...»

«— Вы были знакомы с Александром Кожевным.

— О, да — Кожевников его имя.

— Вы были близки?

— Нет, нет. Я его раз в жизни встретил. Один раз.

— Яркая фигура была?

— Н-ну нет, ярким он не был. Но интересный человек. Он был русский русский — я думаю, не еврей. Кожевников, по-моему, не может быть еврейским именем. Это довольно мещанское имя, да. Он был... он учился... Я вам сейчас скажу, главное, что он сделал, это то, что есть книга о Гегеле. Которая имела много учеников, много последователей. Которую он произнес как лекции, в Париже. Его история простая: он родился в России, и почему-то они уехали в Германию — вероятно, от большевиков. И там он учился истории искусств, и потом он там не остался. Потом он... С чего начать, с него или с меня?

— С вас.

— С меня, хорошо. Я читал эту самую книгу о Гегеле, довольно — полумарксистскую. Левую книгу о Гегеле, забавную, умную, интересную, немножко не совсем, так сказать, солидную, но он имел много воображения. Понимал, о чем писал. Есть, был во Франции такой человек, которого знала моя жена, он был глава Французского Банка Национального. Потом он сделался послом, в Германии. Еврей. Не помню, еврейское имя. И он невероятно уважал, восторгался этим человеком. Он сказал мне: “Вы должны с ним встретиться. Вы же говорите по-русски, он тоже говорит, ему будет интересно и вам будет интересно”. Он устроил свидание. Когда я поехал в Париж, я к нему зашел.

— В каком году?

— Этого не помню.

— Ну — так...

— Н-ну, я думаю, вероятно, в пятидесятых. Зашел, очень хорошо, мы разговаривали обо всем. Он оказался забавным человеком, который сказал, что — “вы знаете, я объясню вам, вы хотите знать, почему Советский Союз, почему Сталин. Я за Сталина”. Я спросил: “А почему вы за Сталина?” — “Потому что русские — невозможный народ, они ленивые, они ничего сделать не могут. Их оставить в покое — значит, все рушится. Единственный метод сделать из России что-то новое и настоящее — это раздавить все. Сделать из этого гипс. Сделать глину. Из этого потом можно что-то делать. Поэтому Сталин был абсолютно прав: он обвиняет людей в преступлении, которое они не сделали. Если бы были просто строгие законы, если б был закон стоять на голове полчаса в двенадцать часов, люди бы стояли. Тогда бы они выжили. Но нужно так устроить, чтоб все боялись, все боялись всего, чтобы была полная деморализация. Тогда можно выстроить”. Это была его теория.

— Что и говорить, забавно.

— Забавно. Потом он сказал: “Вы знаете, я об этом писал Сталину”. Как ни странно, ответа он не получил. Он думал, что он Гегель, а Сталин Наполеон. По-моему, он об этом писал этому человеку в Кубе, как его зовут?

— Кастро.

— Кастро тоже, да.

— Тоже не ответил.

— Тоже не ответил. “Ну, Кастро — это комическая фигура. О нем не стоит говорить”, — он мне сказал. Потом он сказал... Я сказал ему: “Вы знаете, мы мало знаем о греческих софистах. Были довольно интересные люди. Мы только знаем о софистах Греции то, что рассказывают их враги — как, например, Платон и Аристотель. От них почти ничего не осталось. Один, может быть, один пергамент остался. Вы знаете, это как если бы мы знали о философии Бертрама Рассела только то, что о ней пишет советский историк философии”. Он сказал: “О нет. Если бы было только это, можно было бы думать, что Рассел важный философ”.

*(Я засмеялся, Берлин, довольный, продолжал:)*

— Он был против этого абсолютно, против позитивизма — позитивистской философии, всего этого. Он был чудак и знал, что он чудак.

— Он был вашего возраста?

— Вероятно, да. Да. Сперва он жил в Германии. “Я вам расскажу, что со мной случилось. Я читал Маркса, и — это было очень интересно для меня. Потом мне сказали, что за Марксом стоит Гегель. Я прочел Гегеля тоже. А потом мы выехали из Германии, во Францию, в тридцать третьем году”. Вероятно, он был коммунист — если не еврей, тогда зачем ему было покидать Германию? И там он прочел лекции, даже не знаю где. Я говорю: “Ваша книга...” — “Моя книга? Какая книга?” — “Ваша знаменитая книга”. — “Никаких книг не писал. Если люди хотят мои лекции, м-м, просто брать какие-то, записывать то, что я говорю, — это их дело. Книгу эту написал человек, который написал “Zazi dans le métro”, “Зази в Метро”. Был такой автор, забыл его имя.

— Я знаю книгу, Раймон Кено.

— Вот этот человек был один из людей там на лекциях. *(И изображая естественность, гладкость и неотвратимость именно такого способа возникновения книги, Берлин начал похлопывать ладонью одной руки по другой.)* Блестящие лекции, он все записал, другие записали, вышла книга. “Но я ее не читал”. Он, конечно, немножко кокетничал всем этим.

— Он был семейный человек?

— Не знаю. Была жена, по-моему. Но он никогда не был, никогда не имел философской кафедры, или другого какого-то академического средства заработка — он был чиновник финансовых дел Франции. Очень важный. Я ему тогда сказал... Его очень уважали французские банкиры и все эти люди. Я ему сказал: “Почему Де Голль отказал Англии вступить в европейское дело?” Он сказал: “Вы знаете, теза — это, в общем, Германия, антитеза — это Франция, нужно подождать до синтеза. Пока Англия не может вступить в это”.

— Теза — Германия?

— Да. “Подождем до синтеза — синтез должен произойти, еще время не дошло: тогда Англия, вероятно, тоже войдет. Мы ждем: это я делаю, и другие люди”. Он играл в этом роль, играл. Это был забавный человек. Еще он мне сказал: “Вы еврей”. — Да. *(Это “да” Берлин, собственно говоря, не произнес: он разыгрывал их разговор, в его ответе Кожев не нуждался, но правила диалога требовали формального подтверждения, он ограничился “та”, почти беззвучным.)* — “Вы как будто даже — мне сказал Бормзель — это был *(слова я не разобрал)* — он мне сказал, что вы даже сионист”. — Да. — “Не понимаю. Что это? Еврейский народ имеет самую интересную историю из всех народов земли. А вы, что вы хотели быть, Албанией?” Я ему сказал: да! Для нас Албания — шаг вперед. И тогда он говорит: “Да, да, я готов быть Албанией, быть Албанией —

большой шаг вперед, вполне принимаю Албанию». Я не остановился: «Я вам объясню, я скажу, побольше. Поймите, было шестьсот тысяч евреев в Румынии. Они, конечно, когда немцы начали наступать, пробовали бежать. Некоторые бежали, некоторые не успели. Точно то же число евреев было в Палестине, когда Роммель надвигался на Палестину — чуть-чуть не попал туда, чуть-чуть не покорила Египет. Они не двинулись, никто не уехал. В этом разница». И не очень это произвело впечатление на него. Потом он немножко говорил о своих друзьях, философах — философски... Он был — фокусник».

## Глава IX

В те годы, когда мы с Берлином виделись, еврейская тема, безусловно, была для него центральной. Но если представить себе XX век большой шахматной партией, то все, связанное в нем с евреями, выглядит вынесенным на периферию доски на ту самую клетку, за которую, под немыслимые, по всему полю схватки ферзей, ладей и слонов, шла почти никогда не выходившая на передний план, но постоянная и постоянно набирающая силу борьба. Даже Холокост во всей его inferнальной масштабности попадает в тень общего безумия второй мировой войны, а сталинские кампании против «космополитов» и «врачей-вредителей» при всей своей истребительности несопоставимы с размахом той же коллективизации и прочих направленных против поголовно всего населения репрессий. Однако эта шахматная клетка насыщалась энергией не только конкретных стратегических стрел и тактических атак, но и разнообразного теоретизирования с подводимой под него однообразной вульгарной, а потому и такой популярной, мистикой... В Оксфорд мне прислали один из журналов, тогда во множестве возникавших, философского направления, со статьей В. Н. Топорова «Спор или дружба?» — об истории отношений между русскими и евреями. Статья была интересная и честная, я дал прочесть Берлину.

Он возвратил мне ее без слов, однако с усмешкой такого рода, что я непроизвольно сказал: «Но ведь не антисемитская? А?...» Он ответил: «Знаете мой критерий антисемитизма? Есть антисемитические страны и не антисемитические — я вам скажу разницу. Если вы ничего не знаете о каком-нибудь человеке, который живет в этой стране, о каком-то господине, про которого вы не знаете прямо, что он *не* антисемит, и если вы считаете, что он, вероятно, антисемит, это страна антисемитская. В общем. Если про такого человека, опять-таки при условии, что вы не знаете, не можете знать прямо, что он *да*-антисемит, вы думаете: он не антисемит, тогда не антисемитская. В этом отношении, Англия *не* антисемитская страна. Скандинавия *не* антисемитская страна. Италия *не* антисемитская страна. Франция — да-а. Россия — да. Восточная Европа, в общем, за исключением Болгарии — в Болгарии спасли всех болгарских евреев.

— То есть если я думаю в России, что это антисемит...

— Если вы не знаете ничего, но полагаете, что, вероятно, антисемит, тогда это страна антисемитская. А если вы думаете: нет (если вы знаете, то вы знаете! Тут нечего обсуждать) — но если думаете: ничего не известно, то, вероятно, нет. Это мой критерий.

— Убедительный. У меня есть свое наблюдение, неоригинальное. Сама мысль о том, не антисемит ли человек, приходит в голову, главным образом, когда он упоминает об евреях, когда можно не упоминать. Невпопад. Или когда упоминает излишне оживленно, или излишне отвлеченно, или излишне уравновешенно, или излишне обоснованно — словом *излишне*. Не как, например, о тарахах.

— У меня тоже есть такое наблюдение.— И он постучал пальцем по обложке журнала со статьей “Спор или дружба?”.

— Я близок с двумя великими скрипачами,— продолжил он,— Стерном и Менухиным. Мой рассказ — о Менухине.

— Тогда сперва о Стерне.

— Со Стерном у меня отношения вполне любезные — любовные, как говорят. Я его очень хорошо знаю. Он приезжает к нам все время, когда бывает в Англии. Звонит отовсюду, и приходит, и болтает, и говорит о своей жизни, и так далее, он добродушный человек. Я когда-то встретил его мать, она спросила: “Ну, как он вчера играл?” Я сказал, что великолепно. Она думала иначе: “Он же не упражняется, he doesn’t exercise. Банкеты, приемы, обеды. Я ему говорю, ты недостаточно упражняешься. Нужно больше работать”. Теперь у него новая жена.

— Сколько ему лет сейчас?

— Ему будет за семьдесят. Семьдесят пять.

— А что со старой?

— Бушует.

— А, так она жива!

— Еще бы.

— А молодой сколько?

— Не знаю. Вероятно, сорок с чем-то.

— Ага. Вы однажды мимоходом обронили, что у вас разные отношения с Менухиным и Стерном, что со Стерном более близкие и горячие.

— Нет, Stern старый друг, на самом деле. И заходит, и так далее. И он играл, понимаете ли, для моего колледжа и всякие услуги делал. Он человек, так сказать, добросердечный. Немножко тщеславный, но все-таки это все они так... А Менухин — мой кузен. Шестирую... Я его прекрасно знаю, он очень мило относится ко мне. Друг друга они не любят.

— Не любят?

— Нет. А со мной оба хорошо живут.

— И ближе вы все-таки со Стерном.

— Да. С Менухиным никто не близок. Он живет своей собственной жизнью, со своей женой, отдельно от других... Так вот. Рассказ. Америка. Отец Менухина. Отец Менухина был — это до рождения Менухина вся эта история — отец Менухина был учителем еврейского языка. Где-то на Украине, в Киеве или что-то вроде, в Харькове, где-то. И уехал в Палестину, в тысяча девятьсот девятом, десятом году. Еще до войны, первой. И там ему не повезло. Почему, я не знаю. Он там обучал тоже еврейскому языку каких-то людей, где-то там в Яффе или, не знаю где, в Тель-Авиве. Не повезло, и он уехал, очень сердитый и озлобленный, в Нью-Йорк — и сделался стопроцентным проарабом. Ненавидел сионизм, Палестину и так далее. Он не выглядел *очень* еврейски. Жена его, которая умерла в этом году, ей было, по-моему, сто лет, выдавала себя за караимку. Она никакая караимка не была, она была, вероятно, какая-то, не знаю, может быть, кавказская еврейка. И они не выглядели очень евреями — по-видимому. Я никогда его не видел, отца не видел — отца звали Мо-ше Менухин, таким он и остался. И они, значит, приехали в Америку и попали в какой-то boarding-house — как по-русски boarding-house?

— Что-то вроде пансиона. Не гостиница. Не отель.

— Не совсем.

— Приют.

— Приют, так и называется? Ну такая мелкая гостиница. Вроде гостиницы, более скромная гостиница. Где вы имеете комнату, можете иметь breakfast, after-

пооп, завтрак, обед, но вы не можете там есть сами по себе, вы все вместе должны за одним столом, и так далее. По-русски есть слово. Во всяком случае, они попали где-то там в Бруклине или, не знаю, в какое место и хозяйка им сказала: “Вы знаете, вам будет тут... вы будете тут очень счастливы. Тут очень чисто, очень уютно. Другие жильцы очень милые люди, никто не шумит, ничего такого. Мы очень хорошо кормим, пища замечательная. Вот уверяю вас, вы будете очень счастливы. Никаких черных, никаких евреев, здесь они запрещены...” Тогда они ушли, конечно, сразу, и он сказал: я дам своему сыну имя, которое всегда будет обозначать, кто он. Такой истории с ним случиться не может. И назвал его Иегуди. Иегуди — это на иврите “еврей”. Отсюда все эти “жиды” и так далее, все эти слова происходят от “иегуди”. “Ид”, “жид”, и так далее, “hebrew”, “хибру” — это все “иегуди”. (Не “хибру”! это я выдумал, это от “хебрайос”, “эбраи”, другое слово.) Нет, а то происходит от “Иуда”. Поэтому он называется этим исключительным именем, которого у других нету. Был старый анекдот. Телефонный звонок, человек поднимает трубку: кто у телефона? Отвечают: “Сэр Иегуди Менухин (*по-английски “мэнухин”, “menuin”*)”. Он сказал: “Yehudi who?! Иегуди кто?!” ... Маловероятно.

— Недавно вышла книжка, автор — американец, американский еврей,— которая в определенной мере перевернула представления о вине немцев во время войны...

— Да, я знаю, гарвардский профессор.

—...о том, что это вина всего народа. Как вы...

— Я не прочел эту книгу.

— А какое ваше мнение о самом предмете?

— Я считаю, что главным образом то, что он говорит, это правда, но он преувеличил. Очень преувеличил. Сказать, что немцы всегда ненавидели евреев и что они все убивали евреев с удовольствием, и не нужно было быть членом СС, или членом партии, иметь отношение к наци, они это делали добровольно, с энтузиазмом, с азартом — это неправда. Столько евреев были женаты на немках, в девятнадцатом столетии, что нельзя сказать, что немцы как немцы были все, поголовно, антисемиты. (*Я вспомнил тут его слова об очаровательной фрау Брендль, его подруге, жене его друга,— не вполне всерьез, однако вполне по делу: “Она немка, но родилась в сорок пятом году и ответственности за преступления наци не несет”*.) Поэтому я считаю, что это преувеличено, но в этом есть большая доля правды. В том отношении, что между теми людьми, которые убивали евреев, были и такие неофициальные люди, которые делали это удовольствия ради,— которым это нравилось. Делали это, потому что им было приятно это делать. В этом есть известная доля правды. Не такая, как он пишет. Но самая странная история — это то, что он написал эту книгу, все критики, конечно, раскритиковали, никто не сказал “замечательная книга”, все сказали “слишком”, даже еврейские критики это сказали, даже сионисты, он поехал в Германию — и были овации ему. Немецких студентов. Был невероятный, понимаете ли, успех. Он ехал из города в город, тысячи и тысячи немецких студентов его носили на руках. *Это* всех удивило.

— Возьмете ли вы на себя — а я хотел бы, чтобы взяли,— сказать, что случившееся между немцами и евреями в этом столетии, это все-таки результат того, что можно назвать, не формулируя специально, столкновением немецкого духа и иудаизма? Повторяю: описывая максимально общо. Что дело не именно в том, что пришел Гитлер, а пришел бы не Гитлер, было бы по-другому, а в том, что это нарастало независимо от конкретных исполнителей и последовательности действий.

— Все хорошо, что вы говорите,— теперь я вам скажу. Был в Германии такой знаменитый профессор философии, о котором теперь никто не говорит,— Пастернак ездил на его лекции...

— Коген.

—...Cohen. Только в России он был известен и в Германии, теперь никто не знает, кто это был, мало людей. В Марбурге. Он написал книгу, в которой он говорит, что немецкий дух и еврейский дух имеют что-то общее. Тут есть какая-то комбинация: лютеранский дух, то есть Десять Заповедей, очень похожи... имеют какое-то отношение к моральной философии Канта. И так далее, и так далее. Что между евреями и немцами духовно есть глубокая связь. Тоже чепуха! Тоже чепуха — но он в это верил. Он был немец и он был еврей. Он был настоящий еврей, он поехал в Россию, его там несли, как икону, русские евреи. Из города в город. К нему подошел Семен Франк, на его лекции, и спросил вопрос какой-то потом. Тот сказал: “Как ваше имя?” — “Мое имя Франк”. — “Ну, Франк бывает еврейское имя”. Он говорит: “Я крещеный”. Тот повернулся и вышел из комнаты, больше ни слова.

— Как известно, когда убивают...

— Это был Cohen.

*(Он продолжил таким тоном, как будто был немного огорчен, что приходится так говорить:)* Если вы спрашиваете про немецкий дух, мой ответ: нет. И так же про еврейский дух, он так же этому противится. И что такое еврейский дух, я не знаю.

— Я не сказал “еврейский дух”, я сказал “иудаизм” — “немецкий дух и иудаизм”.

— Иудаизм — я не знаю: иудаизм — это иудаизм, это все, что относится к евреям, так сказать. Образ жизни; отношение к миру; религия, конечно,— от этого все идет. Привычки, культура, язык — все это так. Я не думаю, чтобы это было какое-то общее четкое понятие. Столкновение с немцами было, понятно, большее, чем с французами. Но дрейфусовское дело было так же в свое время страшно.

— Но когда убивают шесть миллионов человек...

— Да-да.

—...вообще — шесть миллионов...

— Да-да.

—...не важно, евреев или неевреев...

— Да-да.

—...и к тому же это оказывается половина численности целого народа...

— Да-да.

—...то очень трудно — и не хочется — объяснять это просто обстоятельствами.

— Нет, нет, нет, я не говорю этого. Это идеология. Есть такая вещь — идеология. Послушайте. Гитлер верил в то, что самая важная вещь — и вся гитлеровская среда, их мысли, те книги, которые Гитлер читал, говорили, что главное... что все зависит от расы. Что нордическая раса, северная раса — самая, так сказать, самый творческий народ в мире. Есть более низкие расы, как кельтская, или, я не знаю, там, римляне. Более низкие люди. Тоже люди, тоже, но они не тевтоны. А всё замечательное, всё настоящее, всё великое производится этой очень даровитой и морально очень высокой расой. В это верил определенный круг, верили разные немецкие профессора в девятнадцатом столетии. Трайчке. Ну эти люди, вероятно, были антисемитами, но обыкновенными антисемитами — как все. Потом Гитлер встал и сделался фанатиком этого дела и решил, что или он победит, то есть или он и его движение, и тевтоны с ним, победят, или



Германия идет к концу. Ну, он решил, что такие есть *подчеловеки*, *untermenschen*, и они ненавидят *menschen*, ненавидят людей. Вся их религия направлена против них, они, в общем, дьявольское наваждение. Они служат дьяволу, Сатане, как это говорили в средние века. И эти люди — они как муравьи, понимаете ли, могут под... — как сказать *undermine*?

— Подточить, подъесть, разложить...

—...разложить, да-да — разложить все. И эти люди не могут этого не делать. Их характер таков, что они должны противиться великой тевтонской расе. Если верить этому, все можно объяснить. В таком случае нужно их истребить. Истребление происходит из самой теории. Обыкновенный антисемитизм никогда не был настроен... не хотел убивать евреев».

Диалог из последовательных вопросов и ответов, преследующих логику объяснения, даже если и передает напряженность, с какой Берлин говорил на эту тему, заведомо закрыт для страстности, негодования, боли, презрения, которые возбуждало в нем всякое проявление юдофобии. Я прочел письмо Зинаиды Гиппиус Брюсову, где она называет молодого Мандельштама «неврастенический жиденок». За очередным ланчем в Колледже, сидя рядом с Берлином, когда о ней зашел разговор, я упомянул об этом. «А мне все равно», — откликнулся он с вызовом, подчеркнутым необычной для него ледяной интонацией. Помолчал и, чтобы не оставлять меня в недоумении, объяснил: «Мандельштам, не Мандельштам — мне все равно. Для меня ее нет. Ни ее, ни мужа. Для вас есть? Где? *Что* они? — чтобы быть».

Он вел речь уже не о злобе еще одной антисемитки, а о том, что «гений и злодейство — две вещи несовместные». Зло это зло, и он его не обсуждал — «с одной стороны, с другой стороны». Не обсуждал Гиппиус — не обсуждал Лени Рифеншталь, о которой у нас зашел разговор после очередной передаче о ней по Би-би-си. Спорили кинознатоки — можно ли, нельзя ли отделять ее эстетическую позицию от политической? Она была наивна, как всякий великий художник; ее влекла к себе сила, ее влекла к себе мощь власти; вот она смотрит на Гитлера с блаженной улыбкой, вся подавшись к нему, как ребенок — хотя сама такая крупная, сильная, высокая... «Для меня ее нет. Для вас она есть? Кто она — чтобы быть?»

Я спросил, считает ли он, что русский антисемитизм стоит на других позициях, нежели западный. Он сказал: «Старый. Царского времени. Нет, нет, нет — конечно, на других. Они не верили, что — может быть, некоторые верили в это, но, в общем, они считали, что евреи просто такие нехристиане, они убили Бога. Их проклял Бог, и поэтому они... Проклял Бог — и они делают всякие антихристианские вещи».

— Но сейчас подавляющее большинство людей с «еврейской темой» думает именно так. Теория «малого народа», который подтачивает...

— Да-да, подтачивает...

—...изнутри «большой народ», как сифилитическая палочка.

— Да-да. Это идет от средних веков. Послушайте, если вы меня спрашиваете о главной причине, то есть начале антисемитизма, оно находится в Евангелии. Оттуда все идет. Нельзя не быть антисемитом, если вы верите в Евангелие, это невозможно. Вы должны сделать что-то специальное психологическое над собой, чтобы *не* быть. Вы — ребенок, скажем, в Англии, ваши родители никогда не говорят о евреях, вы никогда не слышали о евреях, вы не знаете, что такое евреи. Слово вам, в общем, не так уж известно. Вы идете в воскресную школу, там вы читаете Евангелие. Там стоит, что некие «евреи» убили Бога. Вы не знаете, что это означает, но какая-то тень накладывается на это слово. Какая-то ис-

корка появляется внутри этого слова. Она не должна расти, но есть разные ветры — социальные, экономические, политические, религиозные, которые раздувают ее в пожар. Без этой искорки не было бы пожара. Мусульмане не антисемиты в этом смысле, никто. Ну, конечно, они — низшая раса, евреи, они низшее общество, потому что они не мусульмане. Как и христиане. Но мусульмане не верят, что евреи существуют для того, чтобы подрывать, чтоб быть врагами, чтобы, понимаете ли, отравлять эти ручки — как думали в средних веках. Или жечь какие-то христианские святые вещи, красть из церкви то, что нужно было — как это называется? — host.

— Дáры, да? Гостия. Дáры — то, что приготовлено для причастия.

— Да-да. Это дáры? Брать дáры и жечь их. Есть замечательная картина времен Ренессанса, я не помню художника: еврей, который это делает и которого, конечно, приканчивают. Под самый конец жгут его. Да. Без этого не было бы ничего такого. Вот это глубокий антисемитизм, что евреи не могут любить хорошее, что они враги всего хорошего, всего святого, всего, так сказать, божественного,— это идет прямо от Евангелия.

— А вы думаете, что антисемитизм Месопотамии, скажем, Вавилона, был другой?

— Абсолютно. Как это и теперь между арабами: они ненавидят евреев из-за политических резонов, из-за Израиля все это — это понятно. Всегда немножко презирали их, потому что они не мусульмане. Как презирали христиан, буддистов и так далее. Но это не то, это не этот глубокий острый антисемитизм, где нужно говорить: эти люди — наши враги, они не могут нам не портить. В Испании, когда евреям и арабам жилось хорошо, знаете, в начале одиннадцатого, в двенадцатом столетии, когда они перемешались между собой, там евреев никто не преследовал. А в христианстве всегда была возможность погрома — на этой почве.

— Книга Бытия открывается, одна из первых глав,— Каин убивает Авеля и затем вопль Каина, теперь все будут меня убивать, затем он получает печать на лоб, потом Ламех кричит женам: я убил, я убил — и так далее, то есть с самого начала убийство, убийство как архетип, воспринимается, как нечто невозможное.

— Да. Да-да, запрещенное.

— Наступает первая мировая война, великая война, счет убитых идет на миллионы, вторая — то же. И здесь шесть миллионов убитых евреев. Значит: если убийство само по себе таково, как написано в Библии, а оно именно таково, потому что Библия — такая специальная Книга Правды, да? — и на это вы хотите сказать, что просто потому что Гитлер использовал экономическую ситуацию и национализм Германии, пришел к власти и *обстоятельства* позволили ему совершить такое грандиозное massacre...

— Да. То, что вы говорите. Почему нет? Я вам скажу: Библия не запрещает убийство. Она не запрещает убийство на войне. Она только запрещает murder. Как сказать по-русски murder? Убийство. Но murder — это одно, а kill — это другое. Они не говорят: thou shalt not kill. В английском переводе Библии — thou shalt not kill. Это неправильно. Это не настоящий перевод еврейских слов. Еврейские слова — это “не убей”, как делают криминалы.

— Thou shalt not murder.

— Murder — это значит... Если война, так это не murder, если на тебя нападают, можно убить — в самозащиту. Есть разные способы убийства: в Библии разных людей нужно вешать, или нужно жечь, или нужно как еретиков...

— Разумеется. Понятно, когда стоят два войска и происходит многомиллионное взаимоуничтожение.

— Да-да.

— Но когда надо специально построить печи исключительно для людей с определенной кровью...

— Это убийство, да-да. Это убийство в библейском смысле, это запрещено, это Каин.

— Вы не находите тут мистической связи? Мистической стороны происшедшего при Гитлере? Что это настолько невозможно, что не подчиняется экономическим или социальным причинам.

— О да, вы правы. Нет, конечно, это было непредставимо. Было очень трудно людям объяснить, что такая вещь случилась. После войны. Люди абсолютно не верили, что шесть миллионов евреев убиты. Не хотели верить, им казалось, что это какая-то сказка. Слишком страшно, слишком ужасно — чтобы люди могли такое сделать. Заняло время, чтобы это вошло в сознание человечества. И то не всех, как мы знаем.

— Неделю назад мне сказал один знакомый, что он ездил в Аушвиц и что это не может быть, чтобы столько людей, что там подходы к печам, они не такие...

— Да-да.

—...я попросил его замолчать...

— Да-да.

—...сказал, что не хочу обсуждать, где в слове “мертвый” корень, где суффикс, где окончание.

— Да-да-да-да. Я вам скажу одну вещь: немцы — фанатики большие, они фанатичный народ, поэтому они могли это сделать, а французы бы *этого*, вероятно, не сделали бы. Французы себя отвратительно вели во время войны, хуже всех. Лаваль послал еврейских детей — быть убитыми, быть сожженными, когда наци их не просили, не хотели их, пробовали даже не получить их. Он заставил — взять детей и убить их. Тоже нужно уметь. Единицы могут такие вещи делать.

— Но то, что делал Лаваль, это как бросать бомбы с самолета — ты не видишь жертв. Он сказал: возьмите евреев, пошлите их туда — он не видел их лица.

— Ну наци тоже...

— В то время как вести в печку, надо живого человека вести.

— Да, но сколько людей этим занимались? Маленькое количество людей. Himmler, Гиммлер — никогда не видел, как убивали евреев. Он подошел, один раз только подошел — ему дурно стало, когда он увидел все эти печки. Он тотчас ушел. Конечно, не приостановил.

— Я говорю *не* совсем о том...

— Это был приказ: если вы даете немцу приказ, он его исполняет. Все исполняют приказы, но немцы это делают с особенным азартом. Они фанатичный народ, они просидели в окопах четыре года во время первой войны, всю войну — не как другие, которые ездили домой и так далее. Только немцы могли выдержать окопную войну — ради родины. Это — да. А в общем, нет — экономика не объясняет этого, и все объяснения социологов — это чепуха. Это идет от религии в конце концов, но перевернутой на что-то секулярное. То же самое был Хмельницкий: убил больше евреев, чем кто-либо до Гитлера — убил, вероятно, пятьсот тысяч евреев. Что-то вроде. Там на Украине. Почему? Почему нужно было убивать евреев? Он убивал поляков тоже. На самом деле, потому что они какая-то нация, они проклятые, проклятая раса. А кто их проклял? Их проклял — Библия их прокляла. То есть...

— Евангелие.

—...Новый Завет. Евангелие. Не Иисус, нет. Только святой Павел может быть. Не Иисус. Нет. С Иисусом другое дело. Я тут прочел Евангелие, довольно недавно, лет десять тому назад. На меня, я вам, кажется, сказал,— на меня это произвело следующее впечатление. Во-первых, для Иисуса существуют только евреи. Остального мира нет. Нет римлян, нет греков. Только евреи, только с ними, о них и им он говорит. Вторая вещь, которая мне была интересна, это то, что он говорит довольно часто о том, что, если вы не пойдете за мной, пойдете в ад. Про ад, *Had, Hades* тогда евреи не очень говорили, это христианская вещь. Конечно, набожные евреи верят в ад, и в ад, и в рай, и все это — но я думаю, это одновременно с христианством. В старое время этого не было.

— Вы думаете, это позднейшее добавление.

— В Старом Завете... в Ветхом Завете этого нет. Есть какое-то место Шелол, куда вы попадаете в резуль... какое-то неприятное место. Нету какой-то жизни в аду. Не пытаются какие-то дьяволы. Вот этого нету. То есть это, я не знаю, вероятно, начинается приблизительно в это время. Во время начала христианства. Пошло от евреев к христианам или от христиан к евреям, не знаю, но приблизительно то же время. Но он настаивает на аде, Христос. Настаивает. Больше, чем я думал. Нет, он не был чужой, откуда-то, для кого-то, нет-нет... он, конечно, был еврейский... Говорил, как еврейский раввин говорил евреям, он был еврейский пророк — только к своему народу, о других он не думал.

— Вы хотите сказать про ад, что это сделали христиане, а не Христос.

— Нет, Христос сделал это. Ад у Христа, в Евангелии есть ад, довольно часто. Не пойдете за мной, попадете в ад. Это евреям он говорит, других вообще не существует. Другого мира, нееврейского мира для него нету. Вот, понимаете ли, нужно дать цезарю цезарево — но это просто формула, настоящие цезари для него не существуют. А потом, конечно, Павел и все эти люди. И началось с того, что еврейские христиане в Риме, в первом столетии, хотели себя отделить от евреев. Преследовали *всех* их, у Нерона и других императоров, и они хотели сказать: это не мы, это они. Это они, мы совсем другие люди, мы христиане. Мы не имеем ничего общего с этими погаными евреями. И поэтому (*Берлин начинает похлопывать ладонью руки по другой руке*) вся антиеврейская пропаганда у отцов церкви и так далее идет с того момента, когда ранние христиане хотят себя отделить от евреев, которых римляне преследуют. Поэтому, э-м — как его зовут? — ну наместник Иудеи...

— Пилат.

— Пилат человек не злой, он не очень хочет убивать христиан, несколько. Иисуса. Он такой римлянин, делает свое дело. А жена Пилата почти святая — у некоторых христианских сект. Почему не хочет? Потому что они оба не евреи. Антисемитизм начинается между евреев. Одна еврейская секта хочет очернить другую, потому что политически им это нужно было. Это моя теория. Не только моя, я думаю. С этого начинается вот эта яростная, эта лютая ненависть к евреям. Богоубийцы! — ничего не может быть хуже.

— Вы сказали, что прочли Евангелие десять лет назад.

— Да.

— Вы хотите сказать, что раньше его не читали?

— Не читал, нет. Никто мне не приказал его читать, я его не читал. Хотя нет, нет! — известные части Нового Завета я читал, когда был в школе. В первой школе моей в Англии мы читали о путешествиях Павла. Эти знаменитые путешествия из города в город. Этому нас учили, мои родители ничего не имели против, они не были особенно набожными, и поэтому я спросил, можно ли это,— хорошо, можно, да-да-да, да, учись, учись, да-да. Они хотят научить вас какому-то христианскому богословию — никакого вреда в этом не видим».

В многочасовом, разбитом на несколько свиданий разговоре эта тема, возникающая снова и снова, в конце концов становилась ведущей. И почти при каждой встрече с Берлином, случайной или назначенной, в беседе или болтовне о предметах, казалось бы, не касающихся ее непосредственно, мы неизбежно задевали ее — как пульсирующую так или иначе под их поверхность. И ни в коем случае не потому, что он был, как можно подумать, *одержим* ею, — или потому, что «евреи ни о чем другом не могут говорить, как только о евреях». Меня преследовало ощущение, что за его, берлиновской, частной замешанностью в частное дело кровной интеллектуальной принадлежности к этой племенной, или социальной, или культурной группе, за его частным мнением по частным случаям, в ней происходящим, стоит интерес сродни тому, который заставляет еще и еще говорить именно о ней чуть не все книги Ветхого и Нового Заветов.

Корни, к которым волей-неволей приближаешься, подбираешься, припадаешь, ссутуливаемый, сгибаемый грузом лет, не заслоняют сада или пустоши, среди которых жил, частью которых стал, — как биологическая память апостола Павла: «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Венеаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей», — ни в малой мере не отменяла, а делала лишь еще более внушительным его христианство. В апреле 1997 года, когда очередные призывы к преследованию евреев произносились уже в Государственной думе, наши еще и еще раз возвращения к феномену антисемитизма были более злободневны, чем через год, когда я слушал магнитофонную запись. Неизвестно, до какого градуса поднимется или опустится злободневность ко времени выхода этой книги в свет, но, как ответил двадцать лет назад директор московского издательства на упрек секретаря райкома, что сейчас гнать евреев *несвоевременно*, — «это — всегда *своевременно*».

Доводы этого директора, теперь без изменений повторяемые коммунистами из Думы, я вспомнил по ходу нашего разговора: «Очередное — или постоянное — обвинение евреям — то, что они распоряжаются идеями мира. Через mass-media, через искусство: что они владеют всем искусством, эта сфера — их...

— Все это чепуха.

— Исайя, я говорю не о том, есть ли тут вина и причина для обвинения. Я говорю о фактической стороне. Обвиняющие распоряжаются цифрами: дескать, тридцать, или пятьдесят, или сколько там процентов участвовавших в русской революции — евреи; тридцать, или сколько там, процентов работающих в России на телевидении, в газетах и так далее — евреи.

— Но ни пятьдесят, ни тридцать процентов русских евреев не участвовали в революции. И пятьдесят процентов большевиков тоже не были евреями. *Меньшевики* были евреями.

— Хорошо, но больше процентов, чем обвинители им выделяют.

— Ну больше процентов грузин — тоже, больше процентов латышей — тоже. И поляков.

— Стало быть, вы не считаете, что евреи сейчас руководят общественным мнением?

— Нет. Не руководят. Никогда не руководили. Может быть, в некоторые годы в Веймаре (так по крайней мере говорили), в Вене, но недолго. Недолго.

— В голливудских фильмах — продюсеры, режиссеры, композиторы...

— Ну да, Hollywood — да. Hollywood был покорен евреями. Они были первые монархи этого дела, они первые нажили деньги на этом. Были такие богатые евреи, которые стали во главе фильмовой индустрии, Холливуда, это правда. Но это не значит — мира.

— Но все-таки фильмы, кино — это же еще и сильная пропаганда.

— Да, это сильная пропаганда, это верно. И они это контролировали — но тут нет ничего еврейского в этом. То есть был момент, когда они делали антинацистские фильмы, но это недолго продолжалось. Деньги, они делают их, это просто деньги, там нету еврейского элемента.

— Тогда следующий вопрос, он расплывчатый, но мне очень хотелось бы услышать от вас: вы можете сформулировать, что такое еврейскость во внееврейской среде или по крайней мере, что такое еврейскость во внееврейской среде в двадцатом веке?

— Это очень... Довольно трудный вопрос.

— Трудный?

— Трудный вопрос. Потому что я думаю по себе — думаю про себя: я в Бога не верю, как я вам сказал, но все-таки я еврей, и считаю себя евреем, и мне близки евреи. В том отношении, что если какой-нибудь еврей делает что-нибудь гадкое, я не только осуждаю это — мне стыдно. А стыдно может только быть, если родственник это делает. Или кто-то очень близкий. Арестанты, политические арестанты... если какой-нибудь политический арестант предал других — им было стыдно. Стыдно, потому что они были братья. Только за братьев можно стыдиться, братьев и сестер. В этом отношении я еврей. И в этом отношении есть еврейство. Потому что если вы хотите знать, что такое еврейство, я вам скажу. Религия, конечно, ослабела, даже очень, и теперь появляются разные еврейские движения — другие, набожные, евреи не признают их, всякий раскол происходит. Не в этом дело. Нету еврея в мире — крещеного, некрещеного, — в котором нет какой-то крошечной капли социальной неуверенности. Который считает, что он должен себя вести немножко лучше, чем другие — а то *они, им* это не понравится. Я помню историю, когда губернатор Иерусалима, еврейский, после осады к нему пришли канадские евреи — он был канадец...

— Когда это было?

— Это было в... сорок седьмом году. Он был губернатором Иерусалима.

— Вы помните имя?

— Да, его имя было Joseph. Иосиф, Joseph. Губернатор. Он был во время осады Иерусалима арабами, и он вел дело довольно храбро и умело. Бернард Джозеф. Не Бернард; Джозеф — наверное. Он был канадский еврей. К нему пришла делегация канадская, сионистская. Желали поговорить, спрашивали его, что нужно делать. Он давал разные советы, что нужно делать в Канаде, — им. Они сказали: нет, вы знаете, если мы это сделаем, то это может канадцам не понравиться. Он сказал: “А, я думал, что *вы* канадцы”.

(*Я рассмеялся:*) — Прелестно.

— Я вам расскажу тогда еще одну историю, которая вам нужна. Когда был раздел Палестины в тридцать шестом году, была Британская верховная королевская миссия... комиссия, которая решила разделить Палестину между евреями и арабами. Это было принято парламентом, потом был билль Министерства иностранных дел — потом началась война. Доктор Вейцман был большой мой друг — это был глава сионистского движения, первый президент Израиля. Он явился как совещательное лицо, как доктор Вейцман, когда комиссия... Peel Comission ее звали, глава ее был лорд Пил такой — не очень любил евреев. Ну, лорд Пил, они все приехали в Англию, Вейцман явился тоже, делать там какой-то доклад, его спрашивали, хотели, чтобы он высказался, — и обсуждать это потом. Пил ему сказал так: “Доктор Weizmann, вы в Англии вполне хорошо живете. Вы довольно известный человек, вас уважают. Вы финансово ни в чем не нуждаетесь, потому что у вас есть патенты, которые вы получили как химик, вы были довольно видным химиком в Манчестере. Почему вы хотите ехать в Ближний Восток?” Он ему ответил: “Вы знаете, я вам расскажу историю. Месяца че-

тыре тому назад был какой-то человек, ирландец, он бросил пистолет в лошадь, на которой сидел наш тогдашний король Эдвард VIII. Пистолет не... в пистолете были пули, но ничего, пистолет не взорвался, пуля не вылетела, лошадь не двинулась...

— Почему он бросил, а не выстрелил?

— Просто вот так, он не выстрелил — бросил. Он не выстрелил — просто бросил. Почему бросил, кто бросил — кто знает? Сумасшедший. Его убрали. Его убрала полиция, лошадь осталась вполне спокойной, не шарахнулась никуда, и это было всё”. Пил сказал: “Ну да, такой безумец”. — “Он был ирландец. Ирландцы в Лондоне не нервничали... Представьте себе, что этот пистолет бросил еврей. Не было бы еврея в Англии, который бы не дрожал. Этого довольно. Поэтому — сионизм”... Должна быть где-то страна, где не дрожат. Они могут быть убийцей, могут быть хулиганом, могут быть всем, чем угодно, — этого нету. Вот эта боязнь меньшинства: что *они с нами* могут сделать.

— Я познакомился сейчас в Нью-Йорке с Марекком Эйдельманом, он один из считанных людей, выживших после восстания Варшавского гетто.

— Эйдельман, я получил с ним почетную степень в Йейле, вместе. Он поляк.

— Он сказал такую вещь... Сперва сказал вещь пронзительную, там была с ним одна милая женщина лет пятидесяти, и я спросил его шутливо — при ней (ее муж — министр сейчас в Варшаве): “В конце концов, она полька или еврейка?” Он ответил как-то так: “*До газу* она еврейка”. Так — полька, но *до газу*, для газовой печи... Так вот, он сказал: “Евреев в мире больше не осталось. Может быть, есть несколько человек в Аргентине. А так, Израиль — это не евреи...”

— Никто не евреи.

— ... никто не говорит на идиш, и вообще ничего, что делало их евреями в классическом европейском понимании слова”.

— Да-да-да-да. Он чудак. Он поляк, он патриотически настроенный поляк. “Мы — польские евреи. Мы верим в польское еврейство”. Я с ним разговаривал. Он по-английски не говорил, я ему переводил, когда мы были вместе там.

— А он говорил по-русски?

— Он говорил по-русски.

— А кстати, о Вейцмане. Напомните мне историю с молодым английским журналистом, он хотел сделать карьеру и за обедом упомянул о Вейцмане, который будто бы признал вину евреев в палестинском конфликте...

— А-а, я знаю, о чем вы думаете. Это когда я за столом повел себя довольно храбро — с моей стороны. Это анекдот. Меня пригласила такая дама обедать, была знаменитая такая салонная дама в Лондоне, американка, леди Cunard. Кунард — муж и семья — им принадлежали все эти пароходные океанские линии. Она была американка, очень такая классическая, такая историческая американка. Она была довольно стара к этому времени. Давала обеды. Со мной она подружилась. Если б я знал, что она была подругой этого, э... Риббентропа, когда он был тут, я бы, вероятно, *не* познакомился с ней, но я этого не знал. И она об этом мне *не* рассказала. Так что я был с ней во вполне хороших отношениях. Она очень забавная, и очень умная она была, да. Да-да, и звонила мне в два часа ночи из-за какой-то книги... Я пошел к ней обедать, в Дорчестер Отель, и там были разные, мне неизвестные люди. Там был этот, э, человек, которому принадлежал “Дейли экспресс”, Нортклифф. Нет, не он, это был его брат, кто основал “Дейли экспресс”, не помню имя, лорд, потом жена лорда была, впоследствии большая подруга моей жены, Энн Ротемир... Лорд Ротемир, вот кому принадлежала эта газета, “Дейли экспресс”. Его жена была тоже замечательная салонная дама, в нее все были влюблены, очень красивая, у нее была длинное дело...

— Что?

— ...история, связь с господином Гейтскеллом, нашим социалистическим лидером, не важно, она была довольно забавная (*я не расслышал — может быть, он сказал “довольно коварная”*) милая дама, она тоже там сидела, около меня. Там был чилийский посол, там был Гарольд Эксон, был такой эстет. Была леди Кларисса Черчилль, та, которая потом вышла замуж за Идена, это значит, племянница Черчилля, которую я знал. И разные другие люди. Это был такой светский обед. Через два места от меня сидел какой-то молодой человек, из какого-то министерства, который служил, я думаю, в палестинской полиции, год или два до этого. И он начал говорить своей соседке, это была эта самая Энн, Энн Ротемир, жена лорда Ротемира, что евреи ужасные люди, что они страшные вещи с арабами делают, что они напирают на них, что они берут у них все, крадут и притесняют и что они вообще изверги. “Вы знаете, Вейцман,— он сказал,— Вейцман больше в них не верит, он на нашей стороне. Он тоже разочаровался в них, он больше не верит в то, что эти ужасные люди делают. Он, нет-нет, он довольно порядочный человек”. (*С этой точки рассказа я начал тихонько смеяться.*) Теперь я думаю: что, я должен что-то сказать или нет? (*Теперь засмеялся и он.*) Решил, что будет слишком трусливо — ничего не сказать. Я вдруг повернулся к нему через даму, с которой я сидел, и сказал: “Вы знаете, я случайно услышал то, что вы говорили. Я не подслушивал, но — до меня это дошло. Я был с доктором Вейцманом полчаса тому назад, он тоже живет в этой гостинице. Я с ним разговаривал, я его хорошо знаю. Или, может быть, три четверти часа. Уверяю вас, то, что вы о нем сказали, абсолютно неправда. Он стопроцентный сионист, он этих людей совсем не ненавидит, он на их стороне, то, что вы сказали, это чепуха”. Думать, что есть сионист на этом званом обеде, он не ожидал. Это был его *début*, его дебют, он хотел быть важным журналистом. Он не был журналистом — хотел быть. Хотел произвести впечатление на всех этих знатных людей, чтоб... для его карьеры. Он замолчал на минуту, посмотрел на меня, как будто что-то невероятное случилось. Все молчали: это всегда ужас. Тогда я ему сказал: “Вы знаете, я не фанатик, я считаю, что между арабами и евреями нужно установить мир. Нужно это сделать, мы этого не делаем, и, конечно, яростные сионисты все-таки не правы и наносят вред. Я думаю, что нужно наконец найти какое-то общее место, где можно людям встретиться”. И так далее. Развел такую, можно сказать, умеренную пропаганду. Он сказал: “Нет! вы не правы, вы не знаете того, что я видел. Там ужасы творятся”. Опять. Решил все-таки быть храбрым, повторять — раз я начал, я должен продолжать. Дама, у которой мы все сидели, ей стало страшно скучно от всего этого, она не хотела, чтобы этот разговор продолжался. Потому что ей было ясно, что чилийскому послу это было не интересно. И, главное, людям, которые сидели по ту сторону, им тоже нет. Она вдруг сказала, ни с того ни с сего: “Мы все — тут — сионисты! (*Он опять засмеялся.*) Мы все — друзья Исайи, мы его мнения”. (*Засмеялся еще веселей.*) Ну он несчастный человек, провалился, он не знал, что делать. Бежать? пищать? Я очень жалел его, потому что это должен был быть... его *début*, и — не вышел. “Мы все — сионисты”. Абсурд! Она не знала, что слово “сионист” означает! Потом под конец он ко мне подошел и сказал: вы где живете? Я сказал: я живу в Хемпстеде. “Знаете, у меня есть машина, я могу вас подвезти”. Я сказал: “С удовольствием”. — “Ну, вот видите (*Берлин изобразил на лице умиленное миролюбие, с каким говорил его собеседник*), мы демократия, я имею свое мнение, вы имеете ваше, и можно дружить, можно руку пожать. Мы хорошая страна”. Я его простил. Решил, что он довольно милый малый, просто верит, что евреи никуда не годятся. Можно верить. Плохо себя ведут — таки плохо себя вели. Он был, вероятно, прав.



— И вы больше никогда о нем не слышали?

— Никогда. Не знаю, что с ним случилось, понятия не имею. Ну такой был вообще антисемит, как здесь все в Министерстве иностранных дел. Ну не все, не Макмиллан... Но это было нормальное положение у англичан тогда — что евреи, понимаете ли, какие-то зверства делают... Но для меня это было — я потом гордился этим. Что все-таки не промолчал. Я знал, что будет скучно всем, — неприятно, когда вдруг начинает быть ссора, на обеде...

— Faut pas...

— Не только faut pas, но ссора — двух людей, которые занимаются предметом, всем не интересным. Все другие не интересуются, а тут какие-то люди, которые поссорились о каком-то деле, которое никого не интересует. Это значит прекратить, понимаете ли, приятные разговоры за столом. В обществе это не позволено. Я решил — я не могу, мне придется. Мне будет *слишком* стыдно, если я ничего не скажу. Ничего не сделаю. Пропущу.

— А у вас были личные отношения с Макмилланом?

— Начались, только когда он приехал сюда. Я встретился с ним тут в Оксфорде. Он был другом главы моего Колледжа, они вместе учились в Баллиоле, до войны. Он приехал обедать, и я сидел около него, и мне было очень приятно с ним разговаривать. Он болтал, рассказывал истории, а потом мы более или менее подружились. Мы не виделись друг с другом. Только когда он приезжал в Оксфорд как канцлер — он же был канцлер Университета — он всегда жил в Олл Соулс. Канцлер — человек формальный, формальная позиция. Он был канцлер Оксфорда, приезжал сюда, чтоб давать степени людям или произносить речи в колледжах, где новые здания — что-то в этом роде. Каждый раз, когда он видел меня, подходил, и мы болтали. Потом я его встречал тут и там, и мы были в очень хороших отношениях. Он был просионист — я не думаю, что он был юдофил, но за это, да.

— Скажите, в какой степени можно утверждать, что еврейская тема определила двадцатый век?

— Только после войны, только после второй войны.

— Дрейфус не задал ее?

— Нет, конечно: так задолго это не определило двадцатый век. То, что во Франции был острый антисемитизм, мы все знали это, и тогда это — вырвалось. Германия, Англия не были затронуты дрейфусовским процессом. Россия не была тронута бейлисовским процессом, та же история.

— В таком случае: неизбежный вопрос — “роль России в двадцатом веке”.

— Очень важная. Очень важная.

— Не только то, что все знают, а что вы можете сказать хорошего или плохого о русских в двадцатом веке?

— О русских как русских вообще — я о полных народностях ничего не могу сказать. О народах я не могу сказать. Я не могу сказать ни о России, ни об Англии, ни о Франции, ни о Германии. О целой стране — нет, о индивидуумах — да. О коллекции людей — да. Россия — самая важная страна в двадцатом столетии: русская революция все перевернула. Все. Перевернула: от нея фашизм идет, от нея Муссолини, от нея гитлеровцы. Без Ленина не было бы этих вещей. Могло не быть. Не было бы. Мало вероятно, что было бы.

— Вы не считаете, что итальянский фашизм, этот набор некошмарных поступков, носил — даже вместе с вливанием в рот касторки — более эстетический, что ли, характер?

— Все в Италии шуточно, ничего в Италии нет... не казалось никому серьезным.

— Никогда?

— Не в мое время. Итальянцы — это были люди, которые продавали мороженое, у них были шарманки. Отношение было такое. Поэтому пришел Муссолини: сделать из итальянцев серьезных — и опасных — людей. Чтоб больше не подтрунивали над итальянцами, как над такой полукомической нацией, на которую смотрят туристы, а она на них. Поэтому Муссолини и есть национальная гордость, итальянцы перестали быть посмешищем. Начали уважать, бояться Италии, это было. Но, конечно, он не был наци, это было сравнительно, я не говорю, культурно, но в этом роде. То же самое можно сказать о Франко. Они убивали людей, Муссолини убивал людей, не то что этого не было. Разные либералы были убиты, и в Париже, и в Италии. Он был негодяй, но, — так сказать, страшных вещей там не происходило. Например, когда началась война, вторая война, евреи в Италии не так страдали, как везде... Вы знаете историю, почему Муссолини сделался антисемитом? Он начал без всякого антисемитизма. Итальянцы вообще не антисемиты, так сказать, в общем. Я вам уже сказал разницу между антисемитическими странами и не антисемитическими. С Муссолини получилась довольно неожиданная история. Было много еврейских фашистов. Фашистская партия имела евреев. В важных разных местах — даже были фашистские еврейские генералы. Все это было, никто ничего не имел против евреев. И еврейские капиталисты или правые становились фашистами просто ради антикоммунизма. Вполне понятно. Но Муссолини решил, что есть — у него была такая идея, что есть мировое еврейство — есть мудрецы Сиона. Что они очень важное движение. В мире. Орудуют. Вроде того, как вы сейчас говорили. И он... Америка под Рузвельтом была, в общем, не особенно дружелюбна к фашизму. Он решил, что если можно завербовать евреев, то, может быть, можно переменить мнение в Америке — так как они там очень влиятельны. Он пригласил Вейцмана, поговорить об этом. Ничего не вышло. Вейцман никакой сделки не сделал. Тогда он начал давать стипендии всем жителям Палестины, арабам и евреям, в итальянских университетах. Арабы не пошли; евреи, конечно, пошли. Я был в Палестине в тридцать четвертом, между прочим. В тридцать четвертом году в первый раз я посетил Палестину. Возвращался оттуда итальянским пароходом, “Gerusalemme” назывался, линия “Ллойд Триестино”, из Хайфы в Триест. Я ехал один. Было два ресторана, общий и кошерный. Я не большой кошероед, но все-таки я решил: второй класс, грязный итальянский пароход, меня там могут отравить. По крайней мере кошерная пища — не очень вкусно, но — чисто. Там нельзя готовить совсем кое-как. Пошел к евреям. Сел. Около меня сидел молодой человек, который учился латыни и греческому языку в университете Флоренции. Мы разговорились. Он сказал: “Вы знаете, британцы в Палестине теперь основали... собираются основать то, что называется legislative council, какой-то, не знаю, законоправный, законодательный совет. Мы им не позволим этого. Там будет тридцать евреев, девяносто арабов, это не пойдет”. Я сказал: “Послушайте, они же только советы дают, они не имеют права, так сказать, ничего *делать*”. — “Все равно, это вопрос принципа. Мы будем сопротивляться”. — “Как вы будете сопротивляться?” — “Всем. Всем. Всеми-всеми возможностями”. — “Например?” — “Если кровь должна течь, она будет течь”. Я понял, что имею около себя такого крайнего радикала. Он был довольно хорош собой, красив, и оказался поэтом. Это был Стерн, из знаменитой Stern Gang, банды Стерна — их звали, по-моему, “стернисты”. И это был он. Он был тогда студент латинского и греческого языков.

— То есть это был сам Стерн?

— Сам Стерн. Это как “Метель” у Пушкина, если вы помните. Я встретился с Пугачевым до Пугачева, так сказать. (Он оговорился, но выразительно: он имел в виду “Капитанскую дочку”, которая начинается крошечной метелью.)

Это была встреча с Пугачевым. Встреча со Стерном. Я понял, что он что-то так, такой немножко страшный фанатик. Но с ним было интересно говорить. Он был поэт, он занимался литературой, он говорил довольно дельно обо всем этом. Кроме одного: как только Палестина входила, он взрывался. Валькирия... Давайте вернемся к Муссолини. Ну раз с Вейцманом в первый раз ничего не вышло, стипендии тоже ничего не дали ему в отношении мирового еврейства, то он опять позвал Вейцмана. Опять ничего не вышло. Тогда он рассердился. Если так, если мировое еврейство, Welt Judendom, это движение — он думал, что есть такая вещь, как мировое еврейство, как сила — если эта сила не будет за нас, то она будет против нас. Тогда нужно что-то сделать. И решил начать антисемитизм — без всякого давления от немцев. В тридцать восьмом году. Немцы этого не советовали, не советовали ему ничего делать. Они в других странах не оперировали, наци. Тогда он позвал генерала и сказал: “Ты должен заняться делом, которое я тебе поручу. Всех евреев нужно исключить со всех государственных постов. Всех учителей, всех чиновников, всех людей в армии и флоте, всех людей, которые зависят как-нибудь от государства, — нужно всех вытурить. Арестовать их не нужно, а вытурить нужно. Всех профессоров...” Тот сказал: “Дуче, это не будет так легко”. “Почему?” Он сказал: “Во-первых, они похожи на нас. Трудно узнать иногда, кто еврей, кто не еврей. Во-вторых, итальянцы не не любят евреев. Они не будут доносить на них. Это будет довольно нелегко”. Муссолини улыбнулся и сказал: “Понимаю. Ну, do your best, так сказать. Делай, что можешь”. История Муссолини-антисемита. И — евреев вытурили со всех этих мест. Но до немцев, до немецкого вступления в Италию, их оставили в живых. И итальянцы в южной Франции, когда заняли это, относились к евреям вполне лояльно. Не преследовали их».

«— Когда началась вторая мировая война — сперва Польша, а потом Англия, — у вас было ощущение катастрофы?

— Нет. Я был очень рад. Мы идем против Гитлера. Мы объявили войну Гитлеру, прекрасное дело. Не все это чувствовали. Вероятно, потому что я еврей; вероятно. Я был рад, Мюнхен для меня был несчастьем. Мы помирились с Гитлером, ничего хуже не могло быть. Но когда Англия начала проваливаться в июне, июле, августе, я немножко все-таки, я не говорю трусил — было неприятно, я думал, немцы придут. Когда я уехал в Америку, меня послало туда правительство, у меня было чувство облегчения. Но я был, мне было не по себе, что я не там, где люди боятся и страдают. Поэтому я приехал сразу домой, я мог бы остаться в Америке в это время, мне начали предлагать разные должности. Там у меня двое друзей было, и я понял, что у них на уме. Конечно, наци вступят в Англию. Меня арестуют, меня будут пытать, меня убьют. Нужно меня спасти. Они не говорили этого, но это было явно в их мыслях. И я решил: я не могу, я не могу, я должен ехать назад. Может быть, мое место в Москве или в Оксфорде — что я тут делаю? Просто прячусь — я этого не могу, мне тяжело. После двух месяцев, после того, как мне дали какую-то обязанность и я ее исполнил, я поехал назад в Оксфорд. Через три месяца вернулся в Нью-Йорк как британский пропагандист, меня назначили в Министерство информации. Но это уже другое дело... Почему я вам рассказываю все это?

— Я вам задал вопрос, произвела ли на вас война впечатление катастрофы, и вы мне начали это рассказывать.

— Да, да, я боялся. Я боялся. У меня было чувство облегчения, что я по той стороне океана, а потом было невозможно остаться. Я вернулся во время “блиц”, во время этих — бомб. Я почувствовал себя лучше, я — тут. “С ними”.

— А почему вы говорите, что вы думали, что вас поймают, посадят, будут пытаться, если вы все-таки не в полной мере знали тогда политику немцев относительно евреев?

— Ну что я не знал! Все знали.

— Все знали?

— Все!

— А почему тогда — знали, но ничего не делали?

— Кто?

— Все.

— Это вы говорите про государства — про Европу, про Запад?

— Я помню, я читал книгу о суде над Эйхманом, там показания какого-то заметного еврея: каких-то делегатов посылают в Вашингтон, в сорок первом или сорок втором году, и он говорит: кричите на всех перекрестках...

— Да, да.

— ...что делают...

— Да. Не кричали.

— Не кричали.

— Евреи бы кричали, если бы им не запретил это делать Рузвельт. Это длинная история. Но все знали, что немцы преследуют евреев, все знали, что страшные вещи происходят. Не такие страшные вещи, как открылось потом — не знали, что жгут, не знали, что все это, — но знали, конечно, что наци были яростные антисемиты и хотят истребить евреев каким-то образом.

— Помните, приплыл пароход в Соединенные Штаты с евреями из Европы, и Соединенные Штаты его завернули обратно — вы это узнали *тогда* или потом?

— Только потом.

— Вы читали историю Анны Франк?

— Я эту книгу не прочел. Я знаю факт. С меня этого достаточно. Это была не отдельная вещь, много таких. Я знаю про многих таких евреев и евреек, которых пытали, которых мучили, которых убивали. Мне было стыдно за одну вещь: я жил в британском окружении, в Вашингтоне, я был первый секретарь — один из первых секретарей Британского посольства. О *печках*, где жгли евреев, я узнал только в январе сорок пятого года. Это было поздно. Люди об этом знали раньше. И мне было стыдно. Я *знал* евреев — в Нью-Йорке, в Вашингтоне, сионистов, главным образом. Я знал Вейцмана, я знал разных других — ни слова об этом мне не сказали. Мне было стыдно — так поздно — я узнал из газет. А можно было раньше. Вы знаете, что случилось: был какой-то немец, который — немецкий офицер, который был вне себя от этого. И поехал в Швейцарию — и там рассказал агенту так называемого World Jewish Congress, Всемирного Еврейского Конгресса — сионистская организация, не очень важная тогда — он ему рассказал все, что происходит. Тот послал длинную телеграмму главному сионисту в Нью-Йорке, это был такой Стивен Вайз, раввин, главный-главный сионист. Тот поехал с этой телеграммой в Вашингтон, показать ее Рузвельту. Рузвельт прочел и сказал такую вещь: мы ничего не можем сделать, приостановить мы не можем, немцы ведь ни к чему не прислушиваются, грозить им не стоит, они все равно ничего не сделают. Что была правда. Он говорит: не нужно... don't rock the boat.

— Не раскачивайте лодку.

— Не качай пароход. Будут какие-то процессии, демонстрации, будут скандалы, евреи будут кричать, вопить — зачем это? И Вайз *очень* неправильно — ничего об этом не сказал, только своим близким. Потому что в то время Руз-

вельт был еврейский герой. Он хорошо относился к либералам, все это. Так что нервировать, делать что-то против Рузвельта было запрещено.

— По России, конечно, гуляло подозрение, что Рузвельт — еврей.

— Рузвельтович. Какой он еврей... Он из старой, старой голландской семьи. Это наци говорили, что он еврей. У всех наци — все евреи... Я понимал, что с евреями за занавесом, в Германии, страшные вещи происходили, в этом я был уверен. Что евреям там не выжить. Это было ясно. Как они их убьют, когда они их убьют, я не знал. Но я был уверен, что это конец — евреев, там, в тех странах. Но то, что они убили шесть миллионов, я не знал... Понимаете, только две страны вели себя хорошо по отношению к евреям. Одна была Дания, которая послала *всех* евреев в Швецию. Всех. Не осталось еврея в Дании. Маленькие пароходики, маленькие разные, понимаете ли, подъезжали, забирали. В одну прекрасную ночь *всех* переправили — не знаю, сколько их было, датских евреев, ну, может быть, шестьдесят тысяч. Всех послали в Швецию.

— Ну и король, который вышел с желтой звездой.

— Это отдельно. А другая страна — Болгария. Греческих евреев, которые попали в Болгарию, они выдали немцам — болгарских евреев нет, все остались в живых.

— Вы знаете, что в России время от времени открыто говорят, что да, евреев надо уничтожать. Об этом пишут в газетах, не в больших...

— Но все-таки пишут.

— Не то чтобы кого-то, как в Германии, преследовали по закону, а такая *обсуждаемая* гражданская тема.

— Я понимаю.

— Ничего сказать не хотите? (*Он покачал отрицательно головой.*) Ничего. (*Я хмыкнул.*)

— Я ничего *не могу* сказать. Ни вы, ни я ничего не можем сказать. Что мы можем сказать?

— А тогда о своем отношении к ассимиляции вы что-то можете сказать?

— Оно довольно сложное, я вам скажу почему. Очень такое нелегальное, я не говорю всем об этом. Я говорил об этом с людьми, но они ужасаются. Я считаю, что... Я же сионист. Вопрос: почему Израиль? Потому что ассимиляция не удалась. Никогда не удастся. Это ясно. Самая большая ассимиляция была в Германии, и это лопнуло. Я думаю, что если б то, что я дотронулся до какой-нибудь такой машины пальцем (*с похлопыванием рукой по другой руке*), превратило бы всех евреев в датчан, я, может быть, бы это сделал. Потому что, понимаете ли, я не верю, что Бог нам обещал Палестину, — это меня не трогает. (*С ироническим пафосом:*) То, что есть еврейская цивилизация, что евреи замечательный народ, нужно их сохранить, они много для мира сделали — (*серьезно:*) цена слишком велика. Это так, но мы заплатили слишком дорого за это. В конце концов еврейская история — не история мартирологии. Поэтому я не взялся бы сказать: нет, нужно идти дальше, нужно страдать. Это поляки говорили про себя. Что Христос — их нация: мы обязаны страдать, Бог нам приказал страдать, и мы не имеем права уклониться. В Польше, в девятнадцатом столетии. Это было время раздела, все это насилие, раздел Польши. Они были мучениками, страна мучеников. И были люди, которые тогда могли вам приказать быть мучениками: “Это наш долг”. Я не считаю, что евреи — это нация-Христос. Нет, я бы этого не сказал. Есть люди, которые так думают... Если б я мог превратить всех евреев в каких-то других, неевреев, я бы это, может быть, и сделал. Но! Так как это невозможно, тогда только один ответ: мы не должны быть такими, мы должны жить нормальную жизнь, где-то. Где они, евреи, не чувствуют себя неуютно. Нету еврея в мире, в котором нет капли неуюта, чувства неуюта. Они не

совсем как другие. Им нужно быть “специальными”, нужно завести “хорошего” еврея — иначе “они” нас будут преследовать. История об этом человеке с pistolетом. Так что я не говорю: ассимиляция — нет. Я за ассимиляцию принципиально, я не антиассимилянт. Но совершенно явно, что этому не быть».

### Глава X

Летом 1963 года Ахматова написала «Полночные стихи», цикл из семи стихотворений. С некоторыми достаточно убедительными, но не вполне достаточными, основаниями, ахматоведение подверстало их к циклам «Cinque» и «Шиповник цветет» и этим самым адресовало тому же Берлину. Так это или нет, действительно ли стоит за «Полночными стихами» та их ночная беседа 1945 года, или просто удобное и первым приходящее на ум рассуждение «если не он, то кто?», но лирические герои всех трех циклов — в весьма значительной степени, очевидно, двойники. Однако ведь и Берлин как прототип Энея, бросившего Дидону, одну из *altra ego* Ахматовой, тоже двойник — художника Бориса Анрепа, за двадцать восемь лет до Берлина поступившего именно так, то есть оставившего ее в гибельной России и уехавшего в благополучную Англию. В поэтическом мироздании Ахматовой этот повторяющийся, а значит, и предопределенный на повторение, акт неотменимо связан и с тем, и с другим, хотя в реальности они даже не были знакомы друг с другом.

В течение короткого периода у «Полночных стихов» было промежуточное название «Семисвечник». Это послужило толчком для историка литературы Тименчика виртуозно объяснить весь цикл проступающей сквозь него ветхозаветной подоплекой, открыть его Моисеево, царь-Давидово, Иерусалимово дно. В какой-то мере это подтверждает остроумную реплику Эрвина Панофски «the idea of the non-Jew is gradually becoming obsolescent» «идея нееврея начинает постепенно исчезать». Нет сколько-нибудь существенных причин считать Берлина вдохновителем образа «семисвечника», но комбинация стихотворных текстов и извлеченных из его воспоминаний фактов делает эту концепцию местами внушительной, местами волнующей и, во всяком случае, интересной. Если бы строки «Не спрошу тебя я, почему зашел ты / В мой полночный дом» определенно относились к той встрече в Фонтанном Доме, то библейское имя Исайя как нельзя лучше подошло бы к его адресату.

Однако адресат и вдохновитель «Cinque», «Шиповника» и Предисловия к «Поэме без героя», так же, как занимающий в ней особое положение, живого среди мертвых, *Гость из будущего* — определенно Берлин, и мало к кому в мировой поэзии обращено столько и таких стихотворений, даже без девяти полусловесных-полумузыкальных, полусобытий-полуснов в «Полночных стихах». Я спросил, когда ему стало известно, что Ахматова написала ему эти стихи. «— Только когда приехал сюда Жирмунский.

— В самом конце шестидесятых, так поздно?

— Так поздно. Она мне их читала. Но я не понял, что это было обо мне.

— Когда она вам их читала?

— Я вам скажу: она мне их прочла в январе сорок шестого года.

— То есть в последнюю вашу встречу?

— В последнюю, да-да.

— Их было две.

— Да-да, это была последняя, довольно-таки коротенькая.

— Она прочла, но вы не поняли, что вам?

— Да.

— У вас есть какое-нибудь объяснение того, что это называется “Cinque”?

— Нет. Это “пять”.

— Да, но почему по-итальянски?

— Ну да...

— Почему не “Cinq”, не “Five”?

— Да, да, конечно. Нет, не знаю.

— ...а что такое “сигары синий дымок”?

— Это я.

— А вы курили?

— Курил. Длинную швейцарскую сигару. Слабую швейцарскую сигару. У меня были такие длинные слабые сигары из Швейцарии, которые я постоянно курил.

— Когда вы бросили курить?

— Когда я заболел болезнью, я не помню, как даже по-английски это называется, я заразился где-то в Персии чем-то. Приехал сюда, слег, и, понимаете ли, отчаивались в моей жизни, но я все-таки выжил. Поэтому во время болезни я не курил. Только когда я оправился — но я и тогда не очень хотел курить. Ну был готов курить. Решил — может быть, я попробую *не* курить. И не курил больше, никакого желания курить у меня не было, никакого влечения не было.

— А это была сигара или сигарета?

— До войны я курил сигареты, во время войны я курил сигары. Настоящие, голландские. Кубинские. Большие.

— Но у Ахматовой это была не настоящая сигара?

— Нет — была. Длинная швейцарская сигара. Есть соломинка в этой сигаре, надо вытянуть соломинку, и тогда вы ее зажигаете. Нет, нет, это точно обо мне.

— (*Я ответил весело.*) Как вы знаете, у меня нет сомнений.

— Я знаю. И то же самое — что я рассказывал о любви. О том, что я был влюблен в кого-то. О чужой любви. Помните, она это говорит — “что мне не успели рассказать про чужую любовь”.

— И это было?

— Это было. Я ей рассказывал. Что я был влюблен, как — где и как.

— Она спрашивала?

— Нет-нет, я думаю, что я просто начал ей рассказывать, ни с того ни с сего.

— А был какой-то в этой встрече магизм?

— Еще бы. Еще бы. Все время был магизм: как только мы остались одни, когда ушла эта дама, которая была ассириолог, вероятно, ученица, я думаю, этого Шилейко, как только она покинула нас, часов в двенадцать, магия началась. Никогда подобного вечера я не провел нигде никак.

— А какие-то любовные флюиды...

— Не было. Ни капли.

— Приходило вам в голову, что ее первый муж Гумилев, претендовавший на то, чтобы быть русским Ливингстоном, и вы, “пришедший из”, путешественник по культурным территориям, чужим вселенным, замыкаете миссию, принятую им тогда, в ее молодости?

— Нет. Нет. Я ничего о Гумилеве не знал.

— А почему шиповник?

— Понятия не имею.

— Хорошо. Это все мне очень нравится, что вы ничего не знаете. И все-таки — почему баховская чакона?

— Тоже не знаю. Ну, вероятно, играл ей баховскую чакону Рихтер или кто-то. Нет, баховская чакона — скрипичная вещь.

— Ну да, об этом уже были исследования, это неинтересно... Что значит “ты отдал мне не тот подарок, который издалека вез”? Вы ей что-нибудь привезли от кого-нибудь?

— Не от кого-нибудь, нет. Нет, я ей только дал книги, которые были у меня. Английские книги.

— Вы не помните какие?

— Я вам скажу. Я ей дал Кафку, одну книгу Кафки, не помню какую. И потом какие-то стихотворения Ситвеллов, которые были плохие поэты и которые не нужно ей было давать. Ну все-таки они были у меня, и я решил лучше ей их оставить. Братья Sitwell, братья и Edith Sitwell, поэтесса. Не очень важная. Все эти красные переживания. Я ей это оставил — потом мне стало стыдно, что я ей это дал: не для нея было. Кафка — это было в порядке.

— Было ли у вас когда-нибудь ощущение, что вы что-то пропустили, не ответив на такое чувство Ахматовой?

— Только потом. Когда я узнал, что она рассердилась на мою женитьбу, тогда я понял. До этого нет. Я никогда не чувствовал, что я ее предал каким-то образом. (*Следующие фразы он произнес со смесью серьезности и легкой иронии.*) Что я был с ней в каких-то... — мистическая связь, которую я перебил вульгарным шагом моей женитьбы. Вульгарность огромная с моей стороны, что я женился. Мы были связаны друг с другом мистической ниткой — вдруг я ее порвал. После этого, я думаю, я перестал быть ее Гость из Будущего. Потом я вдруг сделался сэр Исая: помните, когда она говорит с Чуковской, я всегда сэр Исая — это немножко иронически.

— Да, есть. Когда я с ней познакомился и она о вас заговорила, я получил двойное впечатление от вас: одно — то, о чем вы сейчас упомянули, другое — все-таки крупности фигуры.

— Она меня изобрела, я не был тем, кем она меня считала. Я был чем-то... она меня построила каким-то образом.

— Ну, согласитесь, что тот, кто к ней пришел, был не просто “англичанин” — это был Исая, правда? Не будем заниматься сейчас смиренным самоуничижением.

(*Берлин выбрал говорить не о калибре своей фигуры и масштабности встречи, а о “не англичанине”.*) Нет, я говорил с ней как русский, это ясно. Когда мы говорили по-русски, ей было абсолютно уютно. Она не чувствовала, что говорила с иностранцем: говорила с каким-то русским, который приехал из тех краев.

— Когда вы узнали, что вы “гость из будущего”, вы эту формулу как-то для себя объяснили?

— Нет; и теперь не знаю, что это значит.

— (*Я со смешком откликнулся.*) Жаль — что вы этого не знаете.

— Не знаю. А вы это знаете?

— Объяснение есть, но вам это скучно слушать.

— Почему? Какое будущее?

— Надо издалека начинать, от стихотворения “Новогодняя баллада” тысяча девятьсот двадцать четвертого года. “Я выпить хочу за того, кого еще с нами нет”. С двадцать четвертого до сорок пятого года она ждет “кого-то”. И никто третий не может сказать, тот этот “кто-то” или не тот, — это говорит она. Она сама: “Вот он”. Так что прежде всего это гость из того, что было будущим по отношению к двадцать четвертому году. Плюс это гость России, которая за железным занавесом, и для нее все, что за железным занавесом, это не только прост-



ранство, это, так сказать, хронотопическое будущее... Исайя, ну неохота сейчас тратить время на эти выкладки, наскоро сформулированные и не очень для вас увлекательные... Лучше скажите: из того, что Ахматова, чувствуя себя и как поэт, и как Дидона обиженной и преданной Энеем, говорила, выходило что-то вроде того, что мужчина должен быть воином, а не домашним человеком. Вас это задело?

— Нет. Я не думаю, что... А где это? Где это у нее?

— Так выходило из разговоров. “Мужчине не идет жить в роскошном замке”. В этом роде.

— А, да-да. Она говорила, нет, она сказала не “в замке” — она говорит: “Он живет в золотой клетке”. Это — да, задело. И мою жену еще больше. Получилось, что это она построила этот золотой замок. “Мне не нравится, чтобы интеллигенты жили в золотых, э-м, клетках...”

— Ну, не совсем так.

— ...клетках. Клетках. В золотых клетках”. Это в нашем доме в Оксфорде, в Хэдингтоне.

— Мне она немного по-другому сказала».

*(Это правда, что она мне немного по-другому сказала — но очень немного, можно было бы об этом не упоминать. Но я видел, что он задел тем, что это задело его жену, больше, чем выпадом против него. В драме — а если иметь в виду коллизию Дидона — Эней, то в трагедии, — которую для Ахматовой принесла с собой ее встреча с Берлиным, Алине выделялась роль безличного персонажа: стать той, кто окончательно разлучит их под названием «его жена», каковой может быть «любая». Но для него «его жена» была центральной фигурой его жизни, в самом прямом смысле слова — «его половиной». Однажды они пришли к нам в гости, в Иффли Вилледж, Исайя нес коробку конфет «Моцарт»: «My wife prepared these sweets for you» (моя жена приготовила для вас эти конфеты), — и Алина дотронулась до коробки, «благословляя» их в качестве «леди Берлин».)*

*(Он отмахнулся:)* « — По-другому, но то же самое.

— Здесь есть еще одна вещь. Вы, может быть, единственный в ее жизни из столь близких ей душевно и духовно людей, кто не поэт.

— Верно, верно.

— Почти все герои ее стихов сами писали стихи. Поэтому золотая клетка — это еще клетка для птицы, которая в ней остается без голоса.

— Без голоса. Ну да. Да-да-да, может быть, может быть. Может быть. Не знаю, что это означает, но золотая клетка — это довольно так...

— Обидная вещь.

— ...обидно — да-а. Конечно. Я понимаю, почему она все это сделала, я понимаю, что она обиделась, да-да. Пастернак мне ничего об этом не говорил, когда меня попросил позвонить ей. Она ничего этого ему не говорила.

— Ну, Ахматова умела сохранять тайну, именно для того, чтобы она была творческой.

— Ярость ее была... Отчет ее этой Чуковской о нашем разговоре — ведь неправильный. Не то случилось.

— А какой правильный?

— Правильный — это мой, правильный это — я ей позвонил, конечно, она сказала: “Это вы?” — “Да, это я”. Молчание. Она сказала: “Пастернак... (не Борис, а — Пастернак) ...мне сказал, что вы женились”. Я говорю: “Да, это так”. — “Когда вы женились?” — “В этом году”. — “Ах так”. Молчание. “Ну что ж, поздравляю”. Опять молчание. Потом она сказала: “Видеть я вас не могу, Пастернак вам объяснил почему”. Я сказал: “Да-да, я понимаю, прекрасно понимаю”.

Потом мы все-таки стали болтать. Она сказала: “У меня выходит книга корейской поэзии. Понимаете, насколько я знаю по-корейски”. Я сказал: “Ну я бы хотел все-таки прочесть ваши переводы”. “Да-да, скоро выйдет. Я вам это pošлю, или можете где-то купить. Да-да, это скоро выйдет, это будет продано... да-да, можно будет найти в лавках. На сколько времени вы тут остаетесь?” И начала вполне непринужденно болтать, как будто ничего. Но я понял, что моя женьба — что-то там было.

— “Вы знаете, как я знаю корейский”. Интонация очень местечковая — как из анекдота.

— Да-да. (*С усмешкой:*) “Вы знаете, сколько я знаю по-корейски” ...Вы читали биографию Ахматовой этой американки?

— Аманды Хейт? Да, читал.

— Она в порядке, по-моему.

— Очень хорошая.

— Очень хорошая. А Струве на нее обрушился.

— И понятно почему. Она сделала честную биографию, без этого мелкого политиканства.

— Абсолютно, абсолютно.

— И слышен голос Ахматовой.

— Абсолютно.

— Ахматова ее выбрала. Там все выверено. Нет, она замечательный была человек. Царство ей небесное.

— Бедная. Умерла в бедности в Австралии где-то.

— Ее отец был знаменитый в свое время кинорежиссер в Голливуде.

— Я не знал.

— Он был картежник. Чаше проигрывал. Большие деньги. Потом обеднел и стал картами зарабатывать, уже профессионально, понемножку.

— Понимаю. В бридж... Аманда была потом с Ахматовой тут в Англии. Когда та приехала, она приехала с ней. Очень милая, вполне, я к ней заходил, она жила где-то на севере Лондона, бедно — видимо, как обычно. Она очень была шокирована, я ее пригласил на чай в “Ритц”. С нас взяли по-божески, но она сказала: “Вы могли меня угостить чаем, который стоил бы десять пенсов. А тут, вероятно, стоит десять фунтов. Почему именно сюда?” Я ей ответил: “Потому что отец моей жены дал деньги на постройку “Ритца” в Париже. И поэтому между “Ритцем” в Париже и “Ритцем” в Лондоне, хотя это принадлежало разным людям, были сношения, и мне тут делают скидки. (*Я фыркнул.*) Большие скидки”. Это было так. Тогда».

Знаменитая ночь с Ахматовой, ныне десятки раз пересказанная и с самых разных точек, включая абсолютно вымышленные и прямо искажающие факт, поданная и культурологами, и телевизионщиками, содержит в себе одно «слепое пятно», до сих пор не обсуждавшееся. Где все это время был Пунин, бывший муж Ахматовой, проживавший в той же квартире за стеной и называвшийся «ответственный квартиросъемщик»? Положим, он мог, не обращая внимания на странный визит, спать в своей комнате; мог быть в командировке; мог ночевать у своей новой жены, с которой тогда жил отдельно. Но не только он и члены его семьи никак не отмечены ни в одном из описаний этого события, а и оно само полностью отсутствует в его дневниках и письмах — как небывшее. Как ему вообще неизвестное, никогда Ахматовой в разговорах с ним не упомянутое.

Этому можно поискать объяснения. Тогдашняя отчужденность между нею и Пуниным налагала запрет на разговор о предмете, имевшем помимо событийного еще сугубо личный и интимный оттенок. Или: она показала ему «Cinque»,

а он, может быть, отозвался об этих стихах безразлично, или скептически, или никак не отозвался. Наконец — и это наиболее вероятно — она охраняла эту тему как некую тайну, в которой, подсказывало ей поэтическое чутье, могут быть скрыты мощный творческий импульс и потенциал... Объяснения — допустимые, приемлемые, однако слишком благоразумные, нет в них необходимой внушительности, неотменимости. И слишком частные — на фоне общей трагедии, которую разыгрывала история и которая с самого начала вовлекла в себя и в конце концов физической гибелью завершила судьбу Пунина.

Николай Пунин был крупнейшим искусствоведам самого широкого охвата явлений — от Византии и Ренессанса до кубизма и супрематизма — и фигурой первого ряда в групповой фотографии русского авангарда. Его творческая и интеллектуальная одаренность, богатая натура, сама его личность, лишенная какой бы то ни было расплывчатости, вычерченная ясными четкими линиями, по его собственным словам, «сделанная искусством», не попали под прожектор времени, ни прижизненный, ни посмертный — высветивший из современников и таких, кто не превосходил его ни калибром, ни яркостью. Роман и близость с Ахматовой, долгие, напряженные, щедро вознаграждающие, но еще больше мучительные, поместили всю его жизнь в уникальную перспективу и задали ей уникальную точку отсчета, но отнюдь не «вылепили» под себя, не подчинили себе. «Из разных форм благодарности,— писал он через несколько лет после разрыва,— я, во всяком случае, обязан ей одной — я благодарен ей за то, что она сделала мою жизнь второстепенной. В нашей совместной жизни она была прекраснее меня, сильнее, устойчивее и... благороднее; я был вторым, хотя я и более богат, чем она, случайностями. И как хорошо, что я был вторым. Я по ней знаю, по той величественной тени, которую она кидала на меня, как трудно и опасно быть первым».

Зная, как мало кто еще, ахматовскую «крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень опытной руки» и «что нет другого человека, жизнь которого была бы так же цельна и совершенна», он не отводил присущего ему бесстрашного, а потому и бесстрастного взгляда от того, о чем, может быть, единственный имел право судить — даже несправедливо: «Аня, честно говоря, никогда не любила. Все какие-то штучки: разлуки, грусти, тоски, обиды, зловердство, изредка демонизм... Из всех ее стихов самое сильное: “Я пью за разоренный дом...” В нем есть касание к страданию. Ее “лицо” обусловлено интонацией, голосом, главное — голосом, бытовым укладом, даже каблукками, но ей несвойственна большая форма... Большая форма — след большого духа. “Я-то вольная, все мне забава...” — проговорила».

Разговор о «большой форме» — установочный, идущий от «больших времен», от символизма, от понимания искусства как теургии, и культуры как священного писания. Ахматовская «малая форма» в итоге куда бесспорнее свидетельствует о «большой», чем множество образцов, признававшихся в то время за эту самую, несущую след «большого духа». Как несколько ведущих в никуда ступенек крыльца, чудом сохранившихся на заросшей травами лужайке, свидетельствуют о «величии» разрушенного дома. Если что и важно и увлекательно, то не то, *что* сказал Пунин, а то, *как* — как свойски — он сказал. А еще интереснее разобраться в особенности его положения и фигуры как героя и адресата написанных ему ахматовских стихов. Все, кроме него, в ее книгах так или иначе обрели свой миф, от мифа «жениха» и «царевича» в ранних сборниках, «мужа» — в обращенных к Гумилеву, «черных снов» — к Шилейко, «увезенного кольца» — к Анрепу; до «Энея» — к Берлину и «кифареда Фамиры» — к адресату «Полночных стихов». И только Пунину в ее поэзии не нашлось ни мифа, ни сказочки.

Ответы на обе загадки: почему этот герой стоит особняком от других и почему Ахматова ничего не сказала Пунину о Берлине — вероятно, лежат рядом. Тот же холодный огонь трезвого скептицизма, что выжиг из личности Пунина все примеси, оставив «чистое вещество», а из его зрения все клетки, хоть сколько-то ориентировавшиеся на отвлекающие приманки, оставив оптику «спектрального анализа» вещей, лишил его и сродства со всем, что «не он», любых присосков, через которые он мог бы слипнуться с каким бы то ни было символом или с историей, куда она ни поверни. Его скепсис был полным, плодотворным и всепобеждающим. По невозможности «сыграть роль» они с Берлиным были под стать друг другу. Но Берлин в ахматовской реальности возник — и исчез, закапсулировав себя в образ «дальней любви», развивать которую в воображении и по вдохновению у поэта нет препятствий. А Пунин — *единственный* из всех, кому и о ком она писала стихи (и единственный, кого она любила), кто не погиб, не умер, не уехал, а прошел весь путь: влюбленности, преданности, близости, отдаления и разрыва — и продолжал существовать рядом с ней и так или иначе присутствовать в ее жизни. И на несостоявшейся встрече с Берлиным — тем более в этой книге, широко использующей магнитофонную запись, — он хочет говорить от своего имени своим собственным голосом, отпечатавшимся на страницах дневников и писем достовернее, чем на грампластинке.

Два эти человека, попавшие столь непосредственно в поле притяжения Ахматовой, прошли на расстоянии вытянутой руки друг от друга на стыке двух смежных, особо выделенных историей отрезков времени. Желание сопоставить одного с другим словно бы дразнит каждого, кто вглядывается в сумрачный коридор той квартиры в боковом флигеле, где они так выразительно разминулись, и видит следы траекторий, прочерченных ими на протяжении десятилетия 40-х годов. Начать с того, что любовная лирика, обращенная к Берлину, — первая по времени после стихов, завершающих траурным аккордом пунинскую тему. «Так, отторгнутые от земли, высоко мы, как звезды, шли» в стихотворении, открывающем «Cinque», откровенно являются на смену написанным за год до этого «нам, исступленным, горьким и надменным, не смеющим глаза поднять с земли». На место пунинского девиза «Не теряйте вашего отчаяния», много лет нависавшего над ее жизнью и ставшего однажды эпитафией к ее стихотворению, встало — «А с каплей жалости твоей иду, как с солнцем в теле».

Параллели между тем и другим по принципу сходства или контраста прорисовываются уже при самом первом подходе... Они обладали взглядом одинаковой широты. Впервые увидев фасад Фонтанного дома с лужайкой перед ним, Берлин сравнивает его с внешностью оксфордских колледжей. Пунин же, вспоминая, как, вывезенный из осажденного Ленинграда в Самарканд, он был счастлив на «горячих тропинках этой земли», где «отсутствие теней или их неподвижность дает уверенность всему видимому», и это «видимое, то есть окружающее, ведет себя, как дом», и «то, что природа там сурова и даже суха, не портило дела; не очень уютный, суховатый дом», — сводит это наблюдение к Флоренции: «Так, может быть, чувствовали себя люди после готических соборов в капелле Пацци (она только мягче)». Созвучны и их мысли о музыке, насколько об этом можно судить по письму Пунина из лагеря: «Мне хочется сказать о Бетховене — беспокойный он человек (динамичный), а между тем мир лежит почти в покое, только сокращается или расширяется (дышит); это хорошо понимал Бах; кроме того, страдания — это все-таки несовершенство; мир не страдает, даже когда находится в трагическом состоянии, — и это тоже знал Бах».

Иногда они почти совпадают даже в мелочах — например, когда Пунин признается, как он «с отвращением читает лекции». Или иронизирует над своими достижениями: «Когда люди хотят объяснить мои успехи, они говорят: “На-

стоящих знаний у вас нет; правда, вы талантливы, но талантливых много; вы берете культурой”». Или рассказывает о встрече с более молодым и успешным коллегой: «Он обнаружил уважение ко мне, как к человеку не только одной профессии, но как к человеку, имеющему профессиональные способности и даже некоторые заслуги в этой профессии, словом, понимающему толк в игре. Но играть с ним я не мог, не на что. Мог только покинуть немного карты, как бы показывая, на чем я бы сыграл. “Ничего,— думал я, сидя в поезде,— пусть это тебя не огорчает и не удручает. Конечно, ты проиграл науку, как и многое другое, но ты же сам слышишь, как ты утешен. Следует только хорошо понять, чем ты утешен!”».

При этом векторы судеб Пунина и Берлина были направлены в прямо противоположные стороны. Первого, как становится ясным, смерть в петле предвоенного террора, под немецкой бомбой, от блокадного голода миновала только затем, чтобы, возвратив в Ленинград из азиатской эвакуации, через четыре года протащить с очередной волной арестов к Полярному кругу и еще через три найти там в лагерной больнице. Второй лишь всмотрелся в этот темный свет, лишь коротко вдохнул этот сжигающий внутренности воздух и вернулся к «человеческой», как говорила Ахматова, к своей, Исайи Берлина, жизни — которой ему было отпущено еще целых полвека, радостной, насыщенной, свободной.

Однако не в этих и им подобных лежащих на поверхности сравнениях ощущается внутренняя связь между ними. Главное — решительное неприятие обоими миропонимания, которое основано на *системе*, на тщательно исполненном предварительном «проекте». Берлин, повторяющий герценовское «у истории нет либретто», и Пунин, пишущий возлюбленной: «Из многочисленных свойств, характеризующих современное мировоззрение, я больше всего не терплю претензий на единую систему; я не только знаю, что ее не может быть, но и уверен в том, что ее не должно быть», — говорят, в сущности, одно и то же. «Что единой системы не должно быть, — продолжает он, — это вы поймете сразу, если я скажу, что благодаря системе право на мировоззрение получает тот, кто его не имеет». Затем подходит к предмету с другой стороны: «Тот, кто лишен творчества и не имеет дела в мире и еще при этом не слышит голоса жизни, чтобы просто жить, тот “ищет истину”... Вера в истину из всех опасностей — наибольшая. То, что называют истиной, действительно пахнет кровью, так много крови под ней и вокруг нее, и всюду, где в нее верят. Подумать только, сколько человеческих костей на дне котла, в котором варили и варят истину. Истина — это таинственная пустота в системе, ее метафизическая точка; легко уничтожить людей, если смотришь в пустую точку; люди системы всегда смотрят в точку, поэтому среди них так много убийц». Иная образная манера, но содержание — берлиновских эссе о свободе.

Пунин писал это, проводя на берегу Финского залива лето, зажатое между Великим террором и Великой войной. «Я вспомнил об истине не столько потому, что не хочу постоянства, видя, как поминутно меняется море, но главным образом оттого, что не хочу опасностей; я не люблю опасностей; они не дают человеку жить и притупляют его, всегда вызывая в нем одно и то же чувство... Система — это нечто противоположное жизни, отрицание жизни, это противожизнь; естественно поэтому, что жизнь еще ни разу не оправдала ни одной системы и не может оправдать. Но люди системы находят выход: жизнь не оправдала, оправдает будущее,— кричат они и наскоро уничтожают сомневающиеся. Но что они знают о будущем, кроме, может быть, того, что оно обманет их так же, как они обманывают им?.. Человек должен быть счастлив, и он все-

гда будет счастлив, если не устанет прислушиваться к голосу жизни и не даст поймать себя в систему. Свобода не призрак, она свойственна человеку; быть свободным от системы и жить в своем времени за счет настоящего, пьянея от счастья, что живешь так,— это и есть свобода».

Здесь совпадение с Берлиным часто дословное. Однако, кроме этой, для Пунина есть еще одна важнейшая тема — отношение к страданию. Как и Берлин, он не только ни в малой мере не разделял лютеровской максимы «Страдать, страдать» в качестве концепции счастья, но даже и в качестве религиозного призыва. «Когда человек страдает,— писал он,— его легко обмануть, он делается доверчивым и ищет сочувствия; так и теперь: сочувствующие втираются в доверие к человечеству и делают вид, что они ему нужны». Но он принимал страдание как категорию, неизбежно сопутствующую жизни: «Будут революции и войны: человечество хочет жить по-новому, и уже замысел есть, и оно ищет формы — кроваво, в мучениях и корчась, но это и есть творчество». Пунин знает, о чем говорит, не умозрительно: «Когда мы уезжали из Ленинграда, начиналась весна <1942 года>. Не помню, чтобы Ленинград был так красив, как в эту роковую зиму и этой весной: бело-серебряный, тихий под зеленым небом, действительно, как бы в саване. А мертвые, чаще всего завернутые (вероятно, близкими) в простыни, лежали по улицам, и бойцы воздушной обороны увозили их куда-то на листах фанеры. В гробах и на кладбищах не хоронили уже с ноября. Покойники были легкими и казались маленькими; бойцы с легкостью поднимали их со снега и клали на фанеру, и они не гнулись, потому что были замерзшими... Вероятно, ночью их выносили из квартир кто куда мог».

«Знаете, что такое дисторофия? Первый день очень хочется есть, второй и третий еще больше, четвертый — уже спокойнее, пятый больше хочется лежать, чем есть, шестой, седьмой, восьмой и т. д. лежишь, сперва час, потом полдня, потом круглые сутки, и тогда кусок хлеба может лежать рядом на скамейке и о нем не вспомнишь. Правда, снятся съестные сны: простокваша, жареное мясо, эклер; потом и не спишь, а все мечтаешь о сливочном масле, простокваше и пр., а хлеб все будет лежать сутки. Затем и мечтать перестаете, просто лежишь подремывая. А потом люди тихо умирают. Так умерли Саша, Володя, так, вероятно, умер и Игорь», — пишет он о своем брате, шурине, племяннике; пишет матери племянника.

«De profundis clamavi: Господи, спаси нас... Но Его величие так же неумолимо, как непреклонна советская власть. Ей, имеющей 150 миллионов, не так важно потерять 3. Его величию, покоящемуся в эфире, не ценна, как нам, земная жизнь. Мы гибнем. Холодной рукой, коченеющей я пишу это. Дней десять тому назад, утром, я почувствовал холод в теле; это был первый приступ смерти. Брошенные и голодные, мы живем в этом ледяном и голодном городе».

«Вчера <21 сентября 1944 г.> на Неве было так тихо и грустно, что подумал: вышли бы все к решеткам набережной плакать. Город сильно наполнился с тех пор, как мы приехали <в июле>, и все-таки как будто кого-то нет».

«Вот и зима <1946 года> проходит. Была теплая зима, если бы была такая зима в 1941 г., многие не умерли бы».

Итак, по Пунину, ни из чего не следует, что страдание — это нечто священное, высокое, необходимое: «Страдание — простая и конкретная вещь, в нем нет ничего облегчающего, даже отчаяния, в противном случае это не страдание... Трагическое в том масштабе и в той очевидности и повседневности, в каких оно раскрыто перед нами, в сущности, уже не воспринимается как трагическое, и оно стало обычным. Поэтому оно не может быть ни выражено, ни показано как

трагическое. О нем мы можем свидетельствовать только чрезмерной сжатостью нашего проявления в жизни... Человек должен молчать, если уж он решил сохранить единственное, что у него осталось: страдание».

И тогда — не ахматовское «я счастлива, что жила в такое время», а — «нам трудно жить, что ж поделаешь, трудно — еще не плохо; *неплохо* жить в такое историческое время».

В «Личных впечатлениях» Берлин перечисляет темы их ночного разговора с Ахматовой и иногда передает, *что* на ту или иную тему говорилось — по большей части ею. Для нее же эта беседа, помимо всего, чем она на разных уровнях, от конкретного и индивидуального до магического и исторического, наполняла их встречу, явилась еще и непосредственным утолением «тоски по мировой культуре», как определил когда-то Мандельштам смысл, движитель и особенности техники акмеизма. Оброненное ею однажды замечание об «одном иностранце», который сказал по какому-то поводу то, чего «нельзя ни забыть, ни вспомнить», неодолимо провоцирует и вдохновляет на воссоздание берлиновской партии их дуэта, хотя бы приблизительное. Понятно, что многое, о чем он говорил в конце жизни, еще не случилось тогда, но сами темы, способ их постановки и раскрытия в апреле 1997 года могут — при всех оговорках — дать достаточно близкое представление о содержании ноябрьской ночи 1945-го. Манера — сродни ахматовской — широкого сопоставления и *противопоставления*, иногда выкладываемых напоказ, иногда оставляемых на догадку собеседника, а главное, прямого называния вещей их именами, несомненно, уже тогда была присуща Берлину во всей полноте. Уже тогда его обаяние заключалось не в знаниях и наблюдательности, а в том, как он сталкивал свои знания и свои наблюдения и выражал эти столкновения на человеческом, всем понятном, всем желанном языке.

Расспрашивая его за, как оказалось, полгода до смерти о том и сем, я в некоторой степени сознательно, но главным образом бессознательно был ориентирован на предметы, которых они касались пятьдесят два года тому назад в Ленинграде. Я начал с его тогдашнего появления в России. Вовлеченностью, причем скрытой от самого участника, в деятельность секретных служб сюжет этот, как выяснилось, годился для книг Ле Карре; легкость, с которой Берлин принимал возникающие обстоятельства, напоминала Савву Дружинина, его русского тезку.

«— Вы не знаете историю моих поездок? Я вам расскажу. Я был обыкновенный дон в Оксфорде, и у меня был друг, у которого имя было Ги Берджесс, этот знаменитый агент. Знаменитый советский шпион. Вы никогда не слышали о нем?

— Весьма даже слышал.

— Burgess?

— Да!

— Ну вот, мой большой друг, я его очень любил. Он был милый человек, приятный, умный, забавный. Единственное, что я вам должен сказать про него, это что у него не было никакой базы моральной жизни. Этого не было. Морали — никакой. Люди, которые становились коммунистами, делали это из-за обыкновенных причин: ну они были за бедных и против богатых; они считали, что западные страны, Англия и все, социально несправедливы; они считали, что единственная страна, которая пойдет против Гитлера, это Советский Союз. Что все наши правительства никуда не годятся, что они все слабы и, понимаете ли, вообще никакого сопротивления нигде не будет. Что Франко, Испания — вот и всё,

а остальные — все понятно. Не так был мой друг Берджесс, он хотел быть там, где что-то происходит. Англия была скука, в Америке еще хуже. Европа — вообще. В России — что-то горело! Ему хотелось быть там, где что-то веселое, что-то интересное происходит... В пятьдесят первом году он уже не хотел ехать в Россию, но это другая история. Так что (*похлопывая рукой в такт словам*) я его знал. Я его знал, дружил, я знал, что он гомосексуал, полный и преданный, но никогда не думал, что он коммунист.

— Он вашего возраста?

— Младше. На три-четыре года, может быть. Я никогда не знал, что коммунист, я никогда не знал, что он агент. Я об этом узнал, только когда он бежал. Раньше я этого, я не подозревал даже.

— В каком году он бежал?

— В пятьдесят первом. Я его знал в тридцатые годы. Ну, он был в Кембридже, знал там Кейнса, знал Маклина, Е. М. Фостера, был другом со всеми гомосексуалами этого университета, это было очень распространено, и-и... потом он оставил университет, шатался туда, сюда и назад, занимался разными вещами и раз в год мне звонил по телефону и говорил: “Вы будете после ужина дома?” — Буду.— “Могу я к вам зайти?” — Да.— “Могу я привести моего шведского друга?” — Нет: я не хочу видеть вашего шведского друга. Придите один... Я ему давал бутылку whisky, он ее медленно пил, до конца, говорил только о литературе, сплетничал о разных кембриджских профессорах, говорил о, не знаю, о своей жизни, говорил истории, говорил о средних веках, допустим... Никогда ни слова о политике. Со мной. Никогда.

— А он преподавал в Кембридже?

— Нет, нет.

— Просто жил.

— Студент, просто студентом был. А потом он жил в Лондоне: не знаю, он околачивался — там и тут. Потом — я немножко расскажу вам всю историю — потом я узнал, что он сделался членом Britannia Youth, “Молодежи Британии”. Это организация, которая брала школьников на Parteitag, партконференцию, в Нюрнберг. Решил сделаться фашистом: как, почему — знать не могу. Он был агент коммунизма все время, ему давали быть, сохраняли. Вы знаете, что главный шпион, Филби, был большой друг — его лично наградил — Франко, в Испании, он был приставлен к нему как журналист. Они умели это делать, умели. Вдруг Берджесс является ко мне в сороковом году и спрашивает меня — я его не видел четыре года; он сказал: я знаю, что вы меня презираете, не любите, ненавидите, я фашист, но вы знаете, я очень такой славный человек, у меня обаяние, у меня связи. Я не говорю, что я вам друг, но хотите ли вы быть пресс-атташе в московском британском посольстве?.. Помилуйте. Пресс-атташе это значит все эти отношения с газетами. Во время договора Риббентропа и Сталина. Англичане тогда решили... Идея вводить британскую пропаганду в советскую прессу не очень реальная. Он говорит: вы не волнуйтесь. Все не важно. В посольстве никто не говорит по-русски, уверяю вас. Нам вас там нужно иметь... Я пошел к Гарольду Николсону — который был его большим другом...

— К кому?

— Harold Nicolson, был такой писатель. И он был его другом всю жизнь. И после раскрытия все его позиции сохранились. Он говорит: чудная идея, поезжайте. Поезжайте туда — и я с Берджессом поехал пароходом в Америку. Приехал в Вашингтон. По дороге в Москву. Через дня три-четыре его послали



назад, домой. Что-то узнали. Его не уволили, но... Потому что ничего не узнали твердо...

— Почему в Вашингтон, если Москва?

— Такая была тогда дорога. В Москву можно было ехать двумя дорогами: Южной Африкой и Персией; или Вашингтоном, то есть Америкой и Японией. Все другие страны были наводнены наци. Нельзя было через Западную Европу. Нельзя было ехать через Румынию. Только можно было пароходом через, я не знаю, через Северную Норвегию. Но все эти пароходы топили. Решили меня не посылать этим образом, потому что слишком было опасно — ехать в Архангельск. Северным путем. А единственный путь в Москву — это был через эти страны. Мне предложили: мне сказали, хотите ехать в Южную Африку и Персию или Америку и Японию? Я сказал, ну, я предпочитаю Америку и Японию, я нисколько не хочу видеть Южную Африку. Ничего, мы доехали до Вашингтона, где у меня были друзья в посольстве, а его отозвали. Он как будто должен был поехать со мной назад — мне сказали, пусть он занимается другим чем-то. Он был тогда в британском, этом, ну Intelligence — как это называется по-русски?

— Разведка.

— В разведке — представляете, его *взяли* в разведку. Это было какое-то сумасшествие — поручать ему серьезные вещи. Я не говорю о разведке вообще: пользоваться им серьезно — это было сумасшествие. Если б меня спросили, я бы сказал: *нельзя* его брать ни на какое место, это абсолютный богемистый господин. И на *все* способен. Я его любил, потому что он был good company — то, что называется. И был ко мне довольно... он меня любил, и мы очень хорошо жили, разговаривали об интересных вещах. Но, как человек, он был без всякого морального базиса, почвы не было под ним. Ну ладно, он уехал, я остался.

— Вас допрашивали, когда он в конце концов сбежал?

— Нет. Меня допрашивали потом, через лет десять, когда с Блантом случилась эта история: Anthony Blunt был историк искусства. Который тоже был агентом. Советским. Его раскрыли. Тогда пришел ко мне какой-то господин из разведки, спросил, что вы знаете. Я с *удовольствием* ему все рассказал, я на стороне полиции. В этих отношениях. Ничего не имею против допросов. Меня не подозревали. Если кто-нибудь прочел мою книгу о Карле Марксе, то мало вероятно, что я советский агент.

— Когда вы ехали в Москву, вы чувствовали, что вас пытаются все-таки как-то использовать по линии Intelligence или нет?

— Нет. Никто никогда, никакая Intelligence, не было. Всю жизнь никогда не работал для Intelligence, никогда.

— В каком году умер Берджесс, вы не помните?

— О, я думаю, в пятидесятых годах, до, может быть, шестидесятых. Он умер, я думаю, лет восемь-девять прошло, как он приехал. Был несчастен всю жизнь там.

— Еще бы! Это ужасно — представить себе его жизнь там...

— (*Похлопывая ладонью в такт словам.*) К нему пришел Рандольф Черчилль. Как журналист. Пришел к Берджессу. В Москве. Сделать интервью. Берджесс ему сказал: “Я все еще коммунист. Я все еще гомосексуал. Но я терпеть не могу русских”. (*Я рассмеялся.*)

— Когда вы жили в Москве, у вас было чувство гетто, дипломатического гетто?

— Да, да. В клетке. Большая, и много разных, разные посольства, между ними есть двери, а вокруг — забор.

— Чувствовали за собой слезку?

— Не чувствовал, а знал. Я ее видел. Слежка была открытая. Слежка была, потому что меня пугали, не потому, что они хотели знать, что я делаю».

(И когда в другой раз он и Алина рассказывали про их поездку в Россию в 1956 году, они вспомнили, как девка из «Интуриста» сказала Алине, вернувшейся с Маунтбаттенами, которые вместе с ними путешествовали, после прогулки по Москве: «Ваш муж в синагоге». «Она имела в виду — а не в Большом театре», — прокомментировал Исайя.)

«— В какой последовательности страны, участвовавшие в войне, вызывали ваше сочувствие? Германия, Франция, Россия, Англия... Когда шли сражения, когда половина России была под немцами, вы как-то за Россию страдали?

(Тут вышло недоразумение: я имел в виду переживание, а И. Б. страдание из-за принадлежности к стране.) — Я не страдал, но много белых русских страдали. Я не страдал, как они. Нет.

— А за Англию?

— Ну конечно, за Англию — да. Но Англия вела себя превосходно.

— Я имею в виду бомбардировки, гибель, разрушения...

— Нет, на это я не обращал внимания. Я был в бомбардировках. В трех я был, было очень шумно — это все. Когда я слышал об этом, конечно, мне было жалко. И, конечно, я восхищался. У меня было два героя во время войны. Один был Черчилль, другой был Рузвельт. Roosevelt был героем вот почему. Я думал в тридцать восьмом году: сидел в Англии, в Оксфорде, скажем, и думал — что я вижу в мире? Вокруг. В России — Сталин. В Германии — Гитлер. В Италии — Муссолини. На Балканах — всякие диктаторы: появились к этому времени. В Балтийских странах — тоже. Единственная страна, которая не имела диктатора, была Эстония — которая своего диктатора выбросила, и хорошо поступила. Была единственная порядочная страна. Во Франции — Даладьё, который ничего не значит. В Испании — Франко. Куда можно было смотреть?.. А в Англии — Чемберлен. Дурак. Не понимал, что происходило. Не дурак, но во всяком случае. В Англии — главным образом, appeasement так называемый. Замирение. Замирить Германию. В основном, по-моему — и не только по-моему — не потому как люди это объясняли, а потому что боялись России. Германия — ужасная страна, Гитлер — ужасный человек, но! он опора против России, против коммунизма. Думаю, *это* было мнение — они не признавались в этом, но у меня было это впечатление. Чего они боялись, это коммунизма. Как ни плохи были немцы, они были лучше русских. Когда я смотрел в Европу тридцать восьмого года (*он стал хлопывать рукой по руке*), единственное место, где был свет, была Америка. Там было демократическое правительство, New Deal, Новый Курс. Там все было в порядке, там царствовали какие-то либералы. Единственная страна, на которую можно было смотреть с известным удовольствием (*он поправился*), моральным удовольствием.

— А Черчилль?

— А Churchill другое дело. Без Черчилля мы были бы захвачены немцами — в том отношении, что... Я вам расскажу две истории. До войны я встретился с шведским посланником, он тогда не был послом. Вполне милый человек, его имя было Rytz: r,g,u,t,z — Притц. Он был против Гитлера, был либерал, не знаю, где я его встретил, за каким-то обедом, где-то у какого-то друга. И он потом, двадцать лет спустя, жил в отставке на Ривьере. И он дал такое, я думаю, радиointервью, потом оно появилась как статья, в шведской газете: какое было вре-

мя, как было в тысяча девятьсот тридцать четвертом году в Лондоне, когда он там служил. Он рассказал, что из Швеции постоянно шли указания: пробовать в разных местах заключать разные мировые сделки с Германией. Шло от капиталистов, шло от квакеров, шло от церквей и так далее. Он этим вещам ходу не давал, ничего с ними не делал, бросал их просто в мусорную корзину.

— Сделки с Германией? Из Швеции или *через* Швецию?

— Из Швеции. Что нужно делать разные пробы, нужно говорить с этим, с тем, другим — чтобы как-то устроить что-то с Германией. Peace-feeler это называлось. Как по-русски peace-feeler?..

— Зондировавшие почву для примирения.

— ...то, что люди нащупывали, нервные ощущения какие-то... Потом вдруг появилась телеграмма от его правительства. Это вещь более важная, вам надлежит доложить об этом в Министерство иностранных дел. Хорошо, приказ — это приказ, он пошел в Министерство иностранных дел, где встретился с господином Р. А. Бутлером, который был тогда товарищ министра иностранных дел — министром был Галифакс. Тот посмотрел на эту штуку шведского правительства и сказал: “Господин посланник! Я не представляю британскую интеллигенцию, но я представитель интелл... I don't represent British intelligentsia, but I represent the intelligent people... понимающих, так сказать, обладающих интеллектом людей. Если это предложение Гитлера серьезно, мы серьезно подумаем — но июнь тысяча девятьсот сорокового года, немножко поздно для этого...” Итак, ничего из этого не вышло, пока Черчилль был там, ничего и не могло выйти. В августе, когда Англия уже была побита, была встреча военного кабинета. Военный кабинет состоял из пяти людей — это вас не интересует?

— Меня — да. Очень.

— Эти пять людей были: Черчилль — премьер-министр, Чемберлен — член, Галифакс и два лейбориста, Гринвуд и Аттли. И Галифакс сказал: *(Берлин передал его тон — человека, сообщающего о само собой разумеющихся, обыденных вещах)* вы знаете, мы эту войну не выиграем, нужно сделать ширму, я думаю, нужно все-таки сговориться с немцами. Я думаю, мы можем это сделать через Италию, Италия в войне против нас, но я знаю кого-то в Швейцарии, кто знает кого-то другого, который знает какого-то итальянца — я думаю, что он нам там в Риме поможет. Чемберлен согласился с этим. Лейбористы были против. Я не могу сказать, что Черчилль был против или за. Просто было все равно, что они говорили. Пока Черчилль был там, не могло быть разговора об этом. Но если к этому времени упал на него кирпич *(похлопывая рукой по руке)*, мы бы заключили мир с немцами, мир с Германией. Год мы были бы нейтральными, все происходило бы вполне спокойно, а через год немцы вступили бы в Англию. В этом я уверен. Поэтому я считаю, что Черчилль нам спас жизнь. Ни более ни менее. *(Он показал на себя ладонью.)* Нам лично! Я верю в индивидуумов в истории.

— А как вы относитесь к Де Голлю?

— Очень положительно, я уважал его. *(Я почувствовал, что прошедшее время означает и “тогда”, и прощание с тем, что тогда было.)*

— Но лично не были знакомы?

— Нет. Никогда его не видел. Только на фильмах. И так далее, на телевидении. Нет. Я считаю, что он, правда, замечательный человек. Храбрый, революционный, замечательные вещи он делал. Никто другой ничего подобного — Франция себя вела отвратительно.

— А когда началась испанская война и вы были на стороне антифранкистов...

— Конечно.

— ...республиканцев...

— Конечно.

— ...вы не хотели туда поехать? (*Я имел в виду “поехать воевать” — он понял как “побывать”.*)

— Нет, тогда нет. В Италию можно было — потому что Муссолини был несерьезен. Мне не было особенно приятно видеть этих фашистов в черных платьях, которые забирали ваши паспорта. Но все-таки в Италии как-то это было несерьезно, Испания была хуже. Там была междоусобная война, и мы все были на стороне республики.

— Вы им как-то помогали?

— Паковал пакеты, посылал им. Был в каком-то зале, мы запаковывали пищу, то, другое, третье, чтобы послать туда. Этим я занимался. Просто то, что называется, *I made parcels*. Делал такие пакеты — и пакетики. Я был целиком на стороне тех людей, героев, которые туда уехали и которых убивали, молодые люди — которые отдавали свою жизнь за это.

— У вас есть свое отношение к книжке Орвелла “Homage to Catalonia”?

— Никогда ее не читал. Он же был анархист. Бедный Orwell, он же перестал быть марксистом *там*.

— А у вас никогда не было соблазна стать марксистом, хоть не надолго?

— Никогда. Это только потому, что я жил в Советском Союзе. (*Оба мы с пониманием похихикали.*)

— А к самому Орвеллу личное отношение было?

— Нет. Я его не знал.

— Я имею в виду не знакомство...

— О, да, да, да, о, да, я восторгался этими знаменитыми книгами. Я вам скажу, где я в первый... эта книга — как это она называется? “Animal Farm”...

— “Звероферма”.

— ...мне ее подарил Рандольф Черчилль, там, в России, в сорок пятом году. Он привез с собой эту книгу. Она только что вышла, он ее привез, я ее прочел в посольстве, где работал, — и оставил на скамеечке парка, значит, этого московского большого парка. В надежде, что кто-то найдет, что-то с этим сделает.

— Нашел энкавэдэшник, надо полагать.

— Вероятно.

— Но вся история — прелесть.

— Я прочел с восторгом эту вещь, считал, что замечательно. И потом вторую книгу тоже. “1984”-й. Он был абсолютно честный человек. Он был социалист, но абсолютно честный человек, разочаровался и решил сказать правду.

— У вас есть предположения, что он был убит, а не просто попал под машину — или что там с ним случилось?

— Нет-нет-нет, он умер в госпитале от какой-то болезни. От чахотки, в этом роде. За то, что он написал, он не пострадал.

— А не были вы знакомы с совсем другим англичанином, Си Эс. Льюисом, в некотором смысле антиподом Орвелла? Он тоже стал популярным сейчас в России.

— Клайв Стэйплс? О, да-да-да, конечно, был.

— И какого вы мнения о нем?

— Мое мнение, что он был человек наивный, очень ученый, много знал о средних веках. Он был прерафаэлит. Все, что нравилось прерафаэлитским ху-

дожникам, нравилось ему. Средние века, до Ренессанса. Росетти, все эти прерафаэлитские художники.

— В России он сейчас высоко ценится как религиозный писатель.

— Я знаю, этого я не читал. Мне неинтересно. Я был с ним в очень дружеских отношениях. Он начал жизнь как философ, обучался философии. Потом перешел на литературу, интересовался, как я сказал, главным образом до-ренессансовской литературой, восторгался всем средневековым — и всем религиозным, конечно. И у него был тот же пункт, что и у английских прерафаэлитов. Он не любил... как по-русски *modern*?

— Современный.

— ...современный мир. Он хотел туда, туда — когда еще было христианство, когда были средние века. Как Т. С. Элиот хотел, как Арнольд Тойнби хотел. Ему просто не нравился настоящий мир. И он поэтому погрузился в эти ребусы и в эти метафорические выражения. И в весь этот мир итальянских поэтов. Тут уже и Ренессанс, Ариосто, Тассо — все эти люди его, конечно, глубоко интересовали. Потому что это была фантазия, а фантазия была — против настоящего мира. Он меня приглашал обедать от времени до времени, мы разговаривали об этом обо всем. Потом в один день он предложил мне вино, как всегда делал, — я вина не пью, но так как он нервничал с этим всегда, он был человек довольно суровый, можно было легко его обозлить, то я выпил немножко. Он сказал: “Как вам нравится это вино?” Я сказал: “Вы знаете, мне кажется, в нем есть какой-то алжирский привкус”. Я ничего не знал об Алжире или об алжирском привкусе, я это сказал, выпалил это абсолютно без всякого резона. Это было идиотское выражение, просто так, от напряжения. После этого он меня больше не приглашал. В Кембридже он был очень любезен, но наши трогательные отношения порвались. Он был страшным англичанином и не особенно любил иностранцев. Английским англичанином. Хотя происхождением был из Северной Ирландии, конечно.

— У вас он выходит чем-то совсем другим — по сравнению с канонизированной в России фигурой страдающего христианина, достойной подражания...

— Может быть, может быть — но я этой стороной не интересуюсь.

— ...такого христианина-юмориста.

— Нет, нет, наверное, наверное. Но он относился к *тому* миру, *где-то*, он относился к какому-то миру фантазии. Его христианство относилось к несуществующему порядку вещей, членом которого он был и о которых он писал свои смешные истории, все эти фантастические истории. Это было *там* — где ему хотелось жить.

— Вы где-то процитировали Рассела: “Глубочайшие убеждения философов редко входят в их формальные рассуждения”. И что-то про основные принципы и общие взгляды на жизнь, которые должны быть как цитадели, защищаемые от противника.

— Да. Это Рассел сказал.

— Как вы это прокомментируете применительно к себе? Есть у вас как у философа идеи, скажем так, сокровенные?

— Нет, нет, нет, “убеждения” — неправильное слово. Главное, Рассел говорит, что *теория* философа является сравнительно простой вещью. Можно понять этот сравнительно незамысловатый образ или рисунок. А все замысловатое — это защищение против мнимых или настоящих атак, таково положение. Внутри есть то, во что они верят. Это есть само имение, а вокруг него стены. Но

само имя, сама страна, вокруг которой стены, совсем не такое замысловатое. Замысловатый, умный получается только отпор. Это, так сказать, воздух оппозиции к этому. Это совсем другая вещь. Мне показалось, вы спрашиваете о том, как философия относится к характеру философа.

— И как?

— Философия исходит из характера. Это же Уильям Джеймс тоже сказал — или кто? — кто-то сказал: если вы хотите понять философию, прежде всего узнайте, кто философ. Что за человек, каковы его взгляды, каков его темперамент. Конечно, так. Я уверен, что моя философия и философия всех философов глубоко относятся к характеру, к человеческому характеру философа, это не отдельная вещь. Математика *не* относится, философия — да.

— Кто сказал об отличии профессиональной философии от уличной? Что-то вроде, что есть слова о вещах и есть слова о словах.

— А, да, да. Уже не помню, кто это сказал, но это правда. Скорее Эйнштейн бы это сказал, какой-нибудь такой человек.

— А были в философии двадцатого века фигуры ранга Канта — по влиянию на век?

— Это хороший вопрос. Ранга Канта — очень трудно сказать. У меня был друг в Америке, который делил философов на императоров, царей, продюсеров и, м-м, блестящих молодых людей. Кант был один из отцов философии. Как Платон. Да. Он в этой маленькой категории — Платон, Аристотель, Кант. По моему. Он больше философ, чем Декарт.

— Ответ исчерпывающий.

— Платон, Аристотель. Кант. Кто еще? Некоторые люди сказали бы Витгенштейн, может быть.

— Интересны ли вам исторические предсказания? Кто-то предсказывает, что будет то-то и то-то, и потом это оправдывается — и, по моим наблюдениям, не производит ни на кого никакого впечатления. Так для кого это? Современники о будущем не думают так, как о сегодня.

— Это правда.

— Для потомков? Тем более.

— Видите, это исторически интересно.

— Что вот такой-то угадал, да?

— Такой-то угадал. Я написал об этом ведь целую вещь. О том, что, например, в девятнадцатом столетии никто не предсказывал, что национализм станет или расизм станет таким могучим движением нашего времени, никто. А ведь должны были, там было достаточно пророков. Но об этом не говорили.

— В России сейчас господствует убеждение, что всё абсолютно, что говорят, — не так, как говорят. Если я вам говорю: сейчас в России апрель — это значит, я вру, потому что сейчас все, что угодно, только не апрель. По радио, по телевидению, в газетах — все не так.

— Все врут, все врут.

— Все врут — и, представьте себе, это правда: действительно врут! Дайте мне то-то и то-то, премию и квартиру, я при смерти, иначе я умру. Дают. Не умирает. Гуляет с дамами, пьет водку. Вокруг говорят: ну? что мы говорили! все вранье! дали за взятку, по благу, потому что масон. То есть в принципе они правы, но вранье растет.

— Растет.

— Торжественный вопрос: до какой степени надо этому противостоять, чтобы скепсис не стал абсолютным?

— Он никогда не станет абсолютным. Нет. Скепсис не может продолжаться. Люди всегда верят. В конце концов они верят, что мир искренен. У них есть довольно сильные, иногда это абсолютно ложные, убеждения — но есть. Скепсис — это только к интеллигентам относится. Я верю в скепсис, потому что это единственное, что поддерживает в конце концов правду. Но — мир не может быть *управляем* скеп... — скептические интеллигенты *не правят* миром.

— По поводу Гоббса нашего любимого — Хоббса по-вашему. Значит ли движение истории по спирали, что после повторения через века события, подобного бывшему, следует ждать подобного бывшему продолжения?

— Да, это бывает. *Ждать* не нужно, но — это *бывает*. И если это бывает, то соответствует тому же моменту раньше. Наш мир больше похож на гоббсовский, чем на мир восемнадцатого столетия. Мир Гоббса удобнее подменить на наш мир — потому что есть свидетельства на что-то похожее, по мерке Гоббса. Мир делает спирали, от времени до времени параллели бывают.

— То есть: подобные продолжения бывают...

— Да.

— ...но не обязательно.

— Нет. Ничего не обязательно.

— Перед моим отъездом сюда жена прочла мне из какой-то статьи: “Маркиз де Сад в его время был порнографом, но сейчас, конечно, нет...”

— Это просто шутка.

— Написано совершенно отчетливо...

— Кто это написал?

— Какая разница? Журналист.

— Ну конечно. Сегодняшний маркиз де Сад начался со всех этих французских сюрреалистов, они называли его “божественный маркиз”. Он сделался важным человеком. Они начали его уважать. Потому что он был анархист, был против всего, как они. Поэтому он не мог быть просто порнографом, он вдруг сделался литературной и даже философской личностью для них. Мне кажется, это абсурд. Но так они думали.

— Мой вопрос примитивный: если человек *был* порнографом, он остается *всегда* порнографом или нет?

— Да. Да. Порнография — это порнография. Да, да, это значит пользоваться сексуальными темами для известных и нужных целей.

— Общественная сила или партия прежде формировалась из уже победивших или, как казалось, перспективных участников *идей*. Сейчас — из тех, кто вложит деньги, во всяком случае, это так в России. Предполагается, что дальше все будут решать только техника и технология. Это положение вещей, не отменяет ли оно такой, например, науки, как политическая философия? Если у меня много денег...

— ...то вы можете делать все, что угодно, а идеи не имеют силы. Х-м. Даже если у вас есть деньги, идея должна быть. Какая-то идея должна быть.

— Ельцин поручил “цвету нации” — и собирают людей и дают им деньги, — чтобы нашли национальную идею России.

— И найдут.

— Найдут?

— Найдут.

— Он говорит: “Самодержавие, православие, народность”, “Коммунизм — будущее мира” — это были идеи. Дайте мне идею! Никто не может.

— Кто-то даст. Без идей люди не живут. Плохие идеи, слабые идеи — тоже идеи. Нет безыдейного мира: у эскимосов тоже были идеи.

— Знаменитое motto Миля, что мы стараемся нехватку гигантов восполнить с помощью массы карликов...

—...множеством карликов сделать то же самое. Я вам сейчас расскажу. Энгельс сказал: если б Наполеон не сделал того, что он сделал, какие-то другие люди *вместе* произвели бы тот же эффект. Это марксизм — что не индивидуумы делают, а массы. Если Наполеон не опередил бы, были бы какие-то сто пятьдесят тысяч других людей, которые в конце концов бы сделали то же самое. На что человек ему сказал — это было во время Наполеона Третьего, тогда была монета наполеондор, золотой наполеон,— и он ему сказал: “Наполеон мелочью — не наполеон”.

— А были в двадцатом веке великие люди?

— Были. Великие люди — у меня есть идея, что такое великий человек. Великий человек не особенно должен быть добрым или хорошим человеком. И не должен быть обязательно... м-м... creative — творческим. Нет. Я считаю, что великие люди — это чисто публичные люди, общественные люди. Частных великих людей нет. Есть гении — но это не то же самое. Великий человек — тот, который меняет *ход* каких-то дел, так что после него нельзя делать то же самое. Меняет ход каким-то доскональным образом. В этом отношении Сталин — великий человек. Переменил историю России. Переменил. Ленин тоже. Де Голль тоже. Черчилль тоже. Это великие люди двадцатого столетия. Вы скажете мне: как вы можете такое говорить — Сталин великий человек, какой ужас!

— Я не скажу.

— Не скажете? Гении — это другое дело, это, что я вам сказал, это прыгающий Нижинский.

— Вы не устали?

— Я устаю очень легко, это ничего не значит. Спрашивайте дальше.

— Вы приводите в одном эссе чьи-то слова: “Англию сделали люди иного закала”. Дескать, те, кто говорит правильные средние вещи вроде того, что жить нужно буржуазно и прочее, это все хорошие люди, но Англию сделали люди иного закала.

— Кто это говорил? Я цитирую это? Не помню. Люди *иного* закала. Какого иного?

— Не те, кто предлагал буржуазные ценности.

— Ах так? А какие-то специальные люди.

— Ну не знаю, Кромвель.

— Cromwell — что-то в этом роде. Ну да, в этом есть правда. Специальные люди, великие люди. История после Кромвеля не та, которая была бы, если б не было Кромвеля. Не была бы тем же. То же самое с Наполеоном: если б Наполеон не напал бы на Россию, все было бы иначе. Если б Гитлер не напал на Россию, все было бы иначе.

— Вы не из тех, кто признает за умным и достойным меньшинством особые права. То, что Британия проповедовала в течение всего девятнадцатого века: протектораты...

— Надзор над другими странами? В это Милль верил — традиционно. Милль верил, что культурные люди должны царить над некультурными, чтобы их довести до известной меры культуры. Это не вышло. Я понимаю, почему в это верили, но это кончилось крахом.

— Так что вы не с ними?

— Нет, я не верю. То есть я бы верил, если б жил в девятнадцатом столетии и, как все, понимал, что долг культурных людей поднять негров (*он иронически, прося извинения за саму формулировку, усмехнулся*), как говорили, на извест-



ный уровень. Ну хорошо, начали поднимать — и что вышло? Ну они подняли Индию. Можно сказать, что то, что Карл Маркс сказал, было правильным — про Индию. Он сказал, что англичане, конечно, не властвовали над Индией ради Индии, их расчеты были чисто торговые, но они все-таки заставили Индию быстро пройти через какие-то шесть периодов. А то бы они остались каким-то, не знаю, пасторальным обществом или каким-то, не знаю, какими-то мужиками культуры. Патриархальным государством. Англичане их *заставили* пройти через эти периоды, так что они сегодня что-то умеют. Это их заслуга, англичан. Они сделали из эгоизма, но все-таки сделали. В этом есть доля правды. Нет, я не верю в обязанность культурных стран руководить. *Помогать*, может быть, но перестраивать жизнь этих людей? Я думаю, что иго, иностранное иго всегда делает вред. Всякое иностранное иго. Татары России добра не сделали.

— Вы последовательный противник идеи детерминизма.

— Да.

— В частности, один из ваших доводов, и может быть, сильнейший, что нет того языка, на котором детерминизм мог бы выразить...

— Мораль.

—...мораль. Скажите, нынешние американские попытки *политической корректности* — не проба ли это посадить детерминизм на трон с помощью языка?

— Изменить язык таким образом, что люди будут думать иначе?

— Да.

— Да (*с недоумением, растерянно*), я думаю, вероятно, поэтому это такой абсурд. Это абсурд, политическая корректность, это в конце концов плохая штука, мы все это понимаем. Вы знаете, что мне это напоминает? Я вам расскажу историю. Издатель “Нью-Йорк таймс“, я его видел, когда был в Америке, во время войны, был такой очень такой джентльменский такой еврей, такой маскитый, все эти, понимаете ли, американские интеллигенты его уважали как...

— Сульцбергер?

— Сульцбергер. Он мне сказал: “Господин Берлин, как вы думаете, если бы слово “еврей” не было бы использовано, если этого слова не было бы в публичных media, в газетах и в радио, скажем, на двадцать пять лет, это бы сделало много добра?” (*Я беззвучно засмеялся.*) Мне было стыдно за него, стыдно за него. Я понял точно, что он хотел сказать.

— Вы могли бы сказать серьезно, что да, Лейбниц прав, назвав этот мир лучшим из миров? Потому что мы другого не знаем или...

— Лейбниц, да. Лейбниц так сказал, да — а про другие, это верно, мы не знаем... Нет, конечно, он не прав. Нет, мир мог бы быть лучше, мог быть лучше. Я вам скажу, в разных отношениях мог быть лучше. Так что — ничего подобного. Это потому что он верил, что Бог ничего не делает зря, что для всего есть резон. Бог один знает резон. Все, что есть, это потому что — как бы сказать — высший резон, резон Бога этому велит быть. Поэтому наш — самый лучший из возможных миров. Это называется теория — как по-английски? — sufficient reason. Для всего есть достаточный резон. Это не то! Не могло быть иначе, и Бог знает, почему он делает то, что делает. Это теология, это богословие.

— Чувство частной собственности — вы считаете, что оно такое же натуральное, как прочие, например, материнства или красоты?

— Да. Я так считаю. Да-да, должна быть известная, *какая-то* собственность. Не обязательно капитализм, но ваше платье должно вам принадлежать. Ваша ложка должна быть ваша. Не нужно, чтобы было *много* этого — *что-то*

должно быть ваше. Это — одна вещь. Есть другие вещи — например, мой герой Гердер сказал: принадлежать какому-то обществу так же необходимо, как еда, как дышать воздухом и так далее.

— Гердер? Не Сантаяна?

— Могли и тот, и другой. И еще кто-то.

— Так что это человеческая природа? Инстинкт?

— Принадлежность, belong.

— Но частная собственность — это чувство инстинктивное?

— Так вышло.

— А кто был тот человек, который сказал вам: “Одиночество означает не жизнь вдали от людей, а непонимание того, что вы говорите”?

— Пламенац, черногорец. Мой преемник тут, профессор политической философии. С детства поселился в Англии, сделался профессором политической теории, был очень милым и довольно умным человеком. Йово, или что-то вроде, какое-то славянское имя, Пламенац.

— Вы встречались с Бубером?

— Один раз, нет? Нет, пожалуй, вру. Не разговаривал с ним.

— Были о нем высокого мнения?

— Он довольно даровитый и умный человек. Но все-таки его богословие — это то, что Шолем мне говорил: “Это для *них*, для неевреев, это просто маленькие штучки, которые нравятся *тем*, goiim”. Нет, он был очень неглупый человек, крайний сионист, довольно умный, довольно даровитый, написал очень хорошее эссе о Ленине. Есть такая книга, называется Path into Utopia, По Дороге в Утопию, и там он цитирует письма Ленина, где он говорит: Советы Советами, главное — это партия; мы говорим Советы, но не в этом дело. Зачем они нам? Конечная цель — это наша партия. Да, я знаю, во что мы официально верим. Но главное — диктатура партии, больше ничего. Вот это Бубер напечатал.

— Скажите, если бы вы были на обеде, где Юм спросил...

— Да-да.

—...“Есть ли в Париже атеисты”...

— И ему ответили: “Вокруг вас — двадцать четыре”.

—...да, двадцать четыре человека вокруг вас...

— Юм ужаснулся. Он не был атеистом, сам.

— А если бы он спросил: “А в Англии есть?” — вы бы показали на себя?

— Нет! Я же сказал: я не атеист. Атеист — человек, который знает, что Бог означает, слово означает, и не верит, что есть такой Бог. А я не понимаю, что это слово говорит. Это совсем не то же самое. Это хуже, ниже атеизма, это еще более, так сказать, м-м...

— Дикарское.

—...отдаленное. Более дикарское, да.

— Вы встречались когда-нибудь с Гертрудой Стайн?

— Нет, встречался — нет, но слышал ее. Когда она приезжала в Оксфорд, читала лекцию.

— Каково это было?

— Это было, как вы можете себе представить. Мой друг, он был профессор английского языка, сказал: “Вы говорите, что the same is the same is the other, the other is the other is the same. Что это значит?” Она сказала: “Послушайте, вы сидите, около вас другой человек, но он не вы, но он так похож на вас, что нельзя сделать различия между вами, между, получается, тремя людьми: вы абсолютно одинаковы и вы другие. Ответила?” Потом кто-то задал другой вопрос.

“Вот что, вы не хотите ответа, вы поставили мне вопрос, только чтобы меня раздражать. Поставленный вопрос, на который вы не желаете иметь ответа. Просто нахальство, и все”.

— Это она сказала?

— Да. Кому-то другому.

— Вам видно было, что перед вами умная баба?

— Да-а.

— Но не произвела на вас впечатления.

(*Почти шепотом:*) — Нът. Она была чудачка. Ясно, что не похожая на других. Но она знала, что она делала. Немножко сумасшедшая она, конечно, была.

— Вы читали ее “Автобиографию Алисы...”?

— Да-да, конечно. Токлас.

— Очаровательная книга.

— О, да. Она была литовка. Токлас, литовское имя.

— А из этих американцев вы встречались с кем-то, кого-нибудь из них выделяете — Хемингуэй, Фолкнер, Фицджералд, Дос Пассос, Стейнбек?

— Только с Дос Пассосом. Я его лично не знал, я знал его друзей. Он был известный человек — и железный человек, в свое время. Был конгресс в честь Толстого в тысяча девятьсот шестидесятом году, пятидесятилетие смерти Льва Толстого. Ну ясно — в Венеции. Город, который Толстой, я уверен, ненавидел. Там был Дос Пассос. Ему заплатил этот конгресс, чтобы он участвовал в культурно-популярном фильме. Конгресс, где он не проронил ни слова. В конце концов пришли американцы: мы вас привезли, заплатили за вас, конгресс, гостиница, так вы должны хоть что-нибудь сделать для нас. Мы вас не привезли сюда, чтобы вы просто молчали... В последний день — встал. Сказал: “Мне приказали говорить. О Толстом. Ладно. Я буду говорить о Толстом. Лет пятьдесят тому назад я прочел “Крейцерову сонату”. Мне показалось это очень неинтересной вещью, даже плохой. Никуда не годилась. Так как я знал, что мне придется что-то сказать, я ее прочел опять, вчера вечером — мне кажется она даже еще более негодной. Всё”. И сел. (*Я улыбался — и историл, и тому, как она нравилась рассказчику.*)

— А о них о всех у вас есть мнение как о писателях?

— Не особенное, я не очень их читал. Фолкнера я не читал, Хемингуэй довольно замечательный, довольно интересный писатель — и хороший, и плохой. Но не великий. Но он как-то изменил литературу, повлиял на историю английской литературы, повлиял. Фолкнер — не настолько. Он, говорят, лучше писатель, чем Хемингуэй, но имел меньше влияния. Я не знаю, у Хемингуэя было что-то от Герт Стайн, она крепко на него повлияла.

— Вы должны были где-то пересечься с Моэмом — нет?

— Я встретил его где-то, да. Да-да, за ланчем. Я знаю, чем он был: хилым, желтым, довольно таким большим циником, неприятным человеком, коварным, умным. Как писатель он второклассный. И его теория была, что литература — это низкий пункт, есть только работа, работа, так сказать, э-э...

— Ремесло.

—...ремесло. Просто нужно этим заниматься, а все эти гении, специальные вещи, вдохновение — это все чепуха. Это была пропаганда своей, м-м...

—...собственного писательства.

—...да, того, как он сам писал.

— А кто такой был Грэм Грин?

— Graham Green, да? Грин был писатель. Получил ОМ. (*Я опять смеюсь.*)  
Как и я. Под конец жизни.

— Но вы не любите его, да, как писателя?

— Я н-нет. Нет, он был талантливый писатель, талантливый и оригинальный писатель. Есть мир Грэма Грина, это все-таки что-то. Есть the world of Graham Green, как есть мир Одена. Есть миры, они создали миры, это действует, это редкая вещь. Нет, он был интересным человеком, не особенно приятным, не очень честным и тоже по-своему странным. Он переписывался с Филби до конца его жизни.

— Вам все-таки придется сказать мне, что вы думаете про Джойса, что вы думаете про Пруста и что вы думаете...

— Нет, я вам не отвечу. Ничего я оригинального про этих людей не могу вам сказать.

— А про Музиля?

— Не читал. Купил — и не читал.

— Вы ужасный человек. А про Беккета?

— История с Беккетом ужасная. Я и моя жена, и очень умный, даровитый один юрист, которого мы знали, очень культурный и замечательный человек, вышли посередине Waiting for Godot, “В ожидании Годо”. Так скучно было, мы оставили кресла, ушли из театра во время антракта. Этого мы стыдимся еще по сей день.

— Лично знакомы вы не были?

— Нет. Мало кто был с ним лично знаком. Я попробовал, он гениальный писатель, но не для меня. Его ученик — это теперешний наш драматург, самый главный английский, ну... сейчас имя скажу... Пинтер. Хороший, замечательный драматург, очень талантливый. Не гениальный, но талантливый. Я его хорошо знаю, большой ненавистник Америки.

— А кто вам сказал, что князь Мышкин в двадцатом веке — это Чаплин, вы не помните?

— Помню. Это был Георгий Катков. Русский, сын племянника великого знаменитого Каткова. Который был тут в Оксфорде и занимался антисоветской пропагандой, главным образом. Работал для разведки — милый и интересный, чуткий человек. Я не очень с ним был дружен, он для меня слишком христианский. Слишком. Это он сказал.

— Кто эмигрировал, занимался антисоветской; кто остался — просоветской, даже если в душе был анти — как, скажем, Всеволод Иванов.

— Всеволод Иванов. Да-да-да. Я его встретил в Индии. Он потом сделал доклад в Москве о том, что в Индии был представитель Британской империи и в этом было что-то кошунственное. Про меня.

— А вы к нему были расположены там в Индии?

— И он ко мне тоже. Мы имели приятнейшие отношения. Я переводил ему, мы попали в какой-то индусский храм, и он говорил — я переводил его с русского на английский. Мы были знакомы, я думаю, один день или два дня.

— Тогда считалось, что такое предательство разрешено — что иностранцу все равно хорошо, этот Берлин уедет к себе в Англию и будет жить припеваючи, так что можно его этак невинно “заложить”.

— О, да. Он считал это неважным. Считал, что меня это не будет касаться. Ну пришлось. Он не думал обо мне. Он думал, что как советский писатель он

должен сказать что-то резкое по поводу Британской империи. Иначе его обвинят, что он был со мной в хороших отношениях и каким-то образом испортился — что я повлиял на него, сделал из него еретика какого-то. И он будет повешен, его пошлют в Сибирь. Он прав: я не принял этого всерьез, он так не думал».

Чем дольше мне не давалось понять, почему Ахматова назвала цикл из пяти стихотворений, адресованный Берлину, по-итальянски — «Cinque», тем навязчивее становилось желание раскрыть секрет. При жизни я у нее не спросил: раз сама не говорила, значит, не находила нужным — чего же заставлять. Через тридцать лет после ее смерти в какую-то одну минуту четыре разрозненных фрагмента из «Божественной комедии», уже довольно давно без видимой связи бродивших в памяти, внезапно соединились в фигуру, достаточно убедительно разъясняющую дело. Данте употребил слово «cinque» по следующим поводам.

«Таких воров я насчитал там пять». («Tra il ladron cantai *cinque* cotali»; Inf. XXVI, 4) Ахматова описывала возлюбленного как вора, крадущего сердце, еще в раннем стихотворении, действие которого происходит в то же время, вокруг которого располагаются события «Cinque», а именно в Новый год.

«Пять раз крепчал и столько же стирался /Свет лунный над землей». («*Cinque volte raccessso, e tanto casso /Lo lume era di sotto dalla luna*»; Inf. XXVI, 130-1.) Речь идет о пяти месяцах, которые Улисс провел в море до дня своей гибели после того, как вторично покинул Пенелопу: сюжет дублирует коллизию Энея и покинутой им Дидоны, коллизию, через которую Ахматова передает в цикле «Шиповник цветет» драму роковой встречи с героем «Cinque».

«Там, где все пятеро сидели мы». («*La've gia tutti e cinque sedevamo*»; Pur. IX, 12.) Данте, Вергилий, Сорделло, Нино Висконти и Коррадо Маласпина. Судьба или творчество каждого так или иначе выражают центральные мотивы судьбы и творчества Ахматовой: изгнанничество; феномен европейской поэмы; тюремное заточение; приют беженцу. Сорделло мало того, что тоже знаменитый поэт и изгнанник, но и похититель известной Куницы да Романа — еще одного зеркала лирической героини Ахматовой, «полумонахини-полублудницы» — как в Постановлении Центрального комитета партии 1946 года именовали самое поэтессу.

«Сей сотый год еще упятерится». («*Questo centesim'anno ancor s'incinqua*», Pur. IX, 40 и далее.) Пророчество Куницы да Романа о бесконечности славы поэта; тема, которую Ахматова разрабатывала на протяжении всей жизни.

Все эти сближения могли бы выглядеть натяжкой, какие нередко возникают при анализе ахматовской поэзии, если бы не пространство, в которое помещены двое лирических героев «Cinque». Это межзвездный космос — до какой-то степени проецирующий на себя и своеобразно концентрирующий в себе космос «Божественной комедии».

В сентябре 1997 года я написал все это Берлину. 5 ноября он умер. 10-го пришло письмо от него, ответ на мое. Он продиктовал его 31 октября.

«I was delighted to receive your letter, and am full of admiration <...>. <...> you weave lines from the Divine Comedy, which AA, of course, knew intimately. <...> <It> made a marvel of this complex of interwoven attributions. I <...> am proud to be the first owner of this masterpiece.

I cannot remember if there is anything you asked me to do, in your letter, as I have been very ill and am not recovering fast. This is no surprise.

<...>

In the meanwhile, warm good wishes — there is not much likelihood of my coming to Moscow, Washington or New York — so you must come here.

My wife sends you both her warm greetings, as indeed how could not I?»

(Мне было очень приятно получить Ваше письмо, оно привело меня в восторг. Вы сплетаете нити из «Божественной комедии», которую АА, разумеется, знала досконально. Из этого сложного узора узнаваний вышло нечто чудесное. Я горд стать первым собственником такого шедевра.

Я не могу вспомнить, было ли в Вашем письме что-нибудь, что Вы просили меня сделать,— я очень болел и выздоравливаю не быстро. Это неудивительно.

Что касается добрых дружеских пожеланий — не очень похоже, что я выберусь в Москву, Вашингтон или Нью-Йорк — стало быть, Вы должны приехать сюда.

Жена шлет вам обоим теплые приветы, можно ли представить себе, чтобы и я этого не сделал?)

Пропущенные (как, впрочем, и приведенные) места — личные. Правда, и все письмо такое, и я не стал бы его здесь публиковать, если бы читал как обращенное исключительно к себе. Под тем углом, что это письмо не только конкретно *кому-то*, а еще и *в Россию*, срединный абзац в угловых скобках — «If there is something I can do for you from my literal bed of sickness, I shall of course try to do it — you have but to say» (Если есть что-нибудь, что я могу сделать для Вас с моего вполне буквального одра болезни, я, понятно, постараюсь — Вам следует только сказать) — отзывается готовностью сделать что-то не «для Вас», а «для вас». Которые *там*.

В жизни вообще, в такой полной и выразительной в особенности, и в ее предсмертном жесте тем более, ничего не выглядит случайным, и эти несколько последних фраз продолжавшегося почти столетие разговора с людьми волея-неволей попадают под луч прожектора. Луч высвечивает в них заключительное обращение туда, где все началось, а потом посередине, в двух десятках ничем не предсказанных, никак общим строем жизни не вызванных стихотворений, достигло акме. При таком освещении каждое из этой сотни с небольшим слов готово звучать как итоговое. Города, в которых больше не побывать. Болезнь, от которой не выздороветь. Тепло, сердечность. Желание послужить, дать. Душевная щедрость. Жена. Ахматова. Поэзия.

И подпись. По-русски — «Исайя». Может быть, первое в жизни слово, которое он научился писать,— и вот, последнее, которое написал.

### Эпилог

— То, что случилось с Россией в восемьдесят восьмом — восемьдесят девятом годах, было для вас потрясением?

— Еще бы.

— Сопоставимое с потрясением от революции семнадцатого года?

— Да. Я вам объясню, я это объяснил раньше. То, что сказал Толстой об истории,— правильно. Если мы хотим знать действительную причину крутых — как сказать по-русски? *turning points*...

— Поворотных пунктов.

—...поворотных пунктов, если мы об этом думаем — нам не отвечают историки, этого они не знают. Почему распространилось христианство так быстро? Почему ислам вдруг покорил всю Северную Африку? Почему так быстро —

шесть, я не знаю, десять, двадцать лет — они перешли туда? Почему была Французская революция, почему Русская — мы не знаем. Важные моменты — их никто не объяснил. Говорят, книжки все это сделали, другие люди говорят, Людовик Шестнадцатый туда, сюда — это ничего не объясняет нам. Мы хотим знать — а историки отвечают на вопросы, которые мы не ставим. Немножко круто, слишком круто. Помните, я вам говорил, я не хочу знать имя змеи, которая укусила Олега. Это мне неинтересно. Кто была шестая жена Ивана Грозного... Как получилась Французская революция — никто не знает. Говорили об этом долго. Вдруг взорвалось что-то. То же самое в России. В семнадцатом году февраль. Никто не ожидал. Октябрь тоже: конечно — Ленин хотел это сделать, он знал, что он делает. Но каким образом это получилось, почему вся Россия как-то подарила себя ему, почему не было настоящей оппозиции, вначале — это довольно загадочно. И теперь то же самое: *всего* — никто не объяснит. Хорошо: тот начал немножко, как его, Горбачев, решил, нужно что-то делать, иначе будет банкротство, может быть, вот это нужно, то и то, но что вдруг все это раскололось по кусочкам, вдруг все это взорвалось во всех направлениях — на это ответа настоящего нет. Я не считаю, что — вы знаете, я же друг Герцена — я не считаю, что в истории есть либретто. Как это может быть?

— У нас в России, с нашей склонностью к грубой, редуцированной метафизике — и при нашей тяге к отказу от личной свободы, — укоренена вера в заговоры, и главный из них — еврейский.

— Ну да, и масоны.

— В этой вере, как во всякой, есть слабое место, и, как во всякой, оно помещается в самой сердцевине — ее носители говорят: верь, как я.

— И тогда все поймешь.

— Временами евреев как главного врага сменяют кавказцы. Но евреи всегда под рукой.

— Жидо-масонская кухня.

— Если к вам придет русский человек и скажет: евреи служат сатане, христианская Россия стояла у него на пути, поэтому евреи устроили в ней революцию, что вы, Исайя Менделевич, ему ответите?

— Во-первых, это неправда. (*От неожиданной наивности ответа я рассмеялся.*) Это правда только в том смысле, что без евреев не было бы советской революции. Первая осуществилась без них. Но Ленин один не мог бы этого сделать: без Троцкого, без Каменева и Зиновьева политбюро не имело людей, которые могли это выполнить. Если б не было всех этих мелких комиссаров, я думаю, что революция бы не вышла. Все это правда, но из этого ничего не следует, никакого заговора.

— Какова правомерность революции?

— Какой?

— Любой. Революции как таковой. Если бы от вас зависело, сказали бы вы: “Пусть начинается” — или: “Все-таки не надо”?

— Я вам сейчас скажу. У меня был друг, Мид, Meade, он только что умер. Он получил Нобелевскую премию как экономист. Он был первый *не* человек моей школы, которого я встретил в Оксфорде. Моего возраста. Я экономию не знал, никогда, ни теперь, ни тогда. Не интересовался. Мы были друзья, не очень близкие. Он был человек очень благородный; и очень честный. И довольно идеалистически настроенный. Он отказался от всех английских титулов, которые

ему тут предлагали. Его жена была квакерша. Он тоже был квакером. Не квакер, но этого же типа. И я только одну вещь решил сделать по нему: если будет революция, я пойду за ним. Может быть, все это не удастся, но я ничего ужасного не сделаю. Морально — это будет в порядке. С ним я ничего *гнусного* не сделаю.

— Итак, ваш ответ ни да, ни нет. О революции.

— Некоторые — да, некоторые — нет.

— Русская?

— Первая — да. Вторая — нет. Я вполне, абсолютно скучный либеральный...

— Хотя вы и кокетничаете немножко — “скучный либеральный”, — но то, что здесь скучно либерально, в России до сих пор экстравагантно.

— Я знаю. Но первая революция была в полном порядке, по-моему.

— Как, по-вашему: почему такая разница между социализмом как идеей, социализмом как условиями человеческого существования и социализмом как реальной формой жизни? Более или менее благородная идея, спроектированные условия благоприятных отношений людей друг с другом — и реальность социализма во всем диапазоне от шведского до русского, всегда такая неудовлетворительная. Что, горбыль человечества? Из кривой доски не построишь ничего ровного? А кстати. Когда вы называли вашу книгу «Горбыль человечества», вы об отце думали или нет?

— О каком отце?

— О своем.

— (Как бы и не допуская такой мысли.) Не-ет.

— О том, что он занимался деревом, лесом.

— Нет.

— Вам не пришло в голову?

— Нет. Я нашел это у Канта нечаянно.

— И не соединили с отцом?

— Никогда.

— А сейчас, после того, что я вам это подсунул?

— Тоже нет. Нет. Мой отец торговал дровами. (Мы оба посмеиваемся.)

И мне с ним говорить о каких-то кривых дровах! Никакой связи!

— Исаяя, а по Фрейду?

— По Фрейду, по Фрейду, все, что угодно: нет.

— Так, стало быть, из кривого горбыля человечества не построишь правильного социализма?

— Да-да, я думаю, это. Я думаю, это. Но не только. Ведь социализма никогда никакого не было. Социализм никогда не воцарялся, не было нигде настоящего социализма. Социалистическое государство не существовало.

— Совсем никогда?

— Никогда. Всегда наполовину. Социализм в Англии после войны — это не был настоящий социализм, это все-таки был полукапитализм. Если установить настоящий социализм, это значит, что будет диктовка — откуда-то. Не партии, как у коммунистов, но кто-то все-таки будет говорить людям, что можно, что нельзя. Социализм может получиться, только если все будут проникнуты желанием быть социалистами. Тогда не будет оппозиции. А поскольку люди хотят сидеть у себя дома и слушать пластинки музыкальные и не заниматься политикой, то это будет запрещено. Социализм включает в себе элемент деспотизма, деспотизма общества над человеком. Поэтому я не за социалистов.



— Пожалуйста, сформулируйте для нас, русских, разницу между социализмом и демократией — у нас эти понятия исторически смешаны, представления нетвердые.

— Социализм — это значит... *(с паузами)* ликвидация частной собственности. В маленьких размерах она может существовать. Мои туфли, мои пластинки. Но нельзя, чтобы были люди, которым принадлежат три парохода. Люди, которым принадлежит сорок домов, — этого не может быть. А демократия — это вы голосуете, вы в меньшинстве, но, может быть, завтра вы будете большинством. Всегда можете верить, что наша все-таки возьмет.

— Существуют такие гибриды, как социалистическая демократия и демократический социализм?

— По-моему, нет. Социализм — это правило, его надо выполнять. А демократия может от него отказаться: мы предпочитаем капитализм. Конечно, демократия и социализм подходят друг другу: у каждого человека есть голос — маленькая доля контроля, у всякого. Но — контроль. А раз контроль, это не свободная демократия. Демократия тоже отнюдь не всегда хорошая вещь. Другое дело либерализм, это уже частные права.

— У вас есть объяснение того, почему марксизм так захватил двадцатый век и почему он так рухнул?

— У меня нет, я не знаю. Но марксизм не очень-то захватил двадцатый век, только в России. В конце концов социализм и марксизм — это бунт бедных против богатых. Это центр — всей истории. В Германии рабочие были организованы Лассалем, а не Марксом. Может быть, официально они были марксисты, но это была партия Лассала. Помню такую историю: началась первая война, какого-то германского господина спросили: вот вы пойдете на фронт, что будет с вашими женой и с детьми? — Партия, движения за ними будут смотреть. Пенсии наши, наши пляжи, наши дома — все принадлежит партии: за ними будут очень хорошо смотреть, семьи вполне уютно устроятся. Государство в государстве. Марксизм — совсем другое дело, он запал в русскую душу, потому что русские верили в ход истории. Что у истории есть либретто — то, что так возмущало Герцена.

— А марксистский Запад! Левые.

— Германия — да. Франция — да. Венгрия — еще бы. Америка — особенно немарксистская страна. Американские левые — это мелочь. Это как американская Коммунистическая партия. Мелочь.

— Ну и два главных вопроса.

— Ну?

— “Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые”.

— Да.

— Это вы? Вы посетили?

*(Была долгая пауза, добрая четверть минуты. Когда я расшифровывал запись, подумал, стерлась кассета. Потом он произнес очень серьезно:)* Я думаю, что да. И вы тоже.

— Вы как-то влияли на них?

— Нет. Нисколько. Минуты роковые это Советский Союз. *Это* была минута роковая. Все переменялось. Русская революция разворотила все, все смахнула. Это был роковой момент. После этого ничего уже не было таким, как было раньше, все переменялось.

— Правильно Тютчев сказал “его призвали всеблагие”, то есть боги, “как собеседника на пир”? Вы можете о себе так сказать?

— Нет. Был поворот *(он стал хлопывать ладонью по другой руке:)* двадцатое столетие самое ужасное из всех западных столетий. Такие вещи, которые

произошли в двадцатом столетии, никогда не были раньше. Самые большие ужасы — это в нашем столетии. Это, в общем, страшное столетие. Меня не коснулось. Я просто избег этого. Просто выпала удача. Но, в общем, подумайте — что случилось. Ничего подобного раньше не было. Самое страшное столетие в западном мире.

— Последний вопрос, Исайя. Жизнь, какая бы она ни была длинная, она короткая.

— Да.

— Да. Даже если вы не верите в конец света... Чем надо наполнить такую короткую жизнь — сейчас вы можете это сказать, у вас опыт, как ни у кого — чтобы чувствовать удовлетворение от этого? Чтобы не было разочарования от книг, отвечающих на “последние вопросы”, и чтобы не превратить все в “игру в бисер”. То есть надо ли об этом заботиться?

— Нет, нет, не надо. Нет ответа на это. Всякая жизнь отдельна, всякая жизнь не похожа на жизнь других людей. Не то же самое делает людей (*он стал говорить с расстановкой, выбирая слова*) счастливыми; богатыми; серьезными; могучими; и так далее. На это нет одного ответа. Ответ на это — Герцен. Цель жизни... Вы знаете, что такое жизнь? Жизнь сама. Жить нужно для того, чтоб жить. А не как Лютер сказал. Лютер спросил кого-то: что вы считаете целью жизни? — Как что? Что тут может быть? Счастье! — Как счастье?! “Leiden, leiden. Kreuz, Kreuz”. Страдать, страдать. Крест крест. Его ответ — не мой ответ. Нет. Нету на это ответа. Ясно, что жизнь должна быть производительной, жизнь должна быть creative, творческой. Если *не* creative — тоже в порядке!

— А лениться можно в жизни?

— Что?

— Лениться.

— Можно.

— А то, что называется, “а я сегодня хочу день пропустить.” — можно?

— Можно. М-м, как его зовут, ну, гончаровский человек?..

— Обломов.

—...Обломов не негодяй.

— Обломов великий человек. Гамлет!

— Он не был несчастным, не был очень несчастным.

— Он был универсальной фигурой.

— О, еще бы! Он думал: вынуть руку из-под одеяла или нет? Будет холодно или нет? Думал об этом.

— Великий человек.

— Он вызывает симпатию этим. Он тоже — пропускал день. Пропускать день можно, всё можно. Только преступления не нужно делать. (*Похлопывание ладонью по руке.*) Не нужно делать вреда. Это нельзя, это запрещено. Нельзя делать людей несчастными. Нельзя заставлять людей плакать. Нельзя пытаться людей. Нельзя говорить им, что они негодяи. Нельзя им читать проповеди. Все это запрещено. В это я не верю.

(*Началась новая пауза — без конца.*)

— Не скажете, чьи это лица у вас на двери? Кроме тех, кого я знаю.

— Я вам скажу, я вам скажу... Под машину? Давайте. (*В эту секунду зазвонел телефон.*) Постойте. Никак не могу встать. Алё. Who am I speaking to? Yes... Oh, yes, of course. My wife would like to come to lunch tomorrow... Oh, yes, where are you now? And when... We're going abroad on Wednesday, indeed... And we're in Oxford till then. Well, she's out at the moment, you could ring her in the evening. She'll be here

She'd be delighted, and so would I. Delighted to see you... For Sunday, Monday and Tuesday... (*Заурядный разговор о назначенной встрече.*)

Слева — это Герцен. Это Михайлов, который поэт, переводчик, каторжанин; писал, между прочим, о Милле. Это Белинский. Это Шостакович. Ему голову пририсовали и ручки. Это Austin, Остин, вот этот человек, знаменитый философ. Наверху не важно, кто все эти люди в мундирах. Потом кто еще?

— А это что за рисунок? А, “Quo vadis”! Петр и Павел, да?

— Да, вероятно. Кто это сделал? Кто-то сделал для меня почему-то... Это Vico, мой герой. Это Михайловский, да.

— А кто тут выглядывает?

— Это не мои герои. Здесь герои и антигерои. Кто тут выглядывает? Это лорд Weidenfeld, Виденфельд, очень негеройская личность.

— А это товарищ Сталин.

— Это товарищ Сталин.

— С музой почему-то.

— С какой-то музой, да.

— Прелесть.

— Это Юзе.

— Это Джойс — с кем?

— С кем-то. Это Джойс, это... Jonathan Sullivan, тенор, которого я очень уважал, ирландский тенор, пел в опере.

— А это Исая с кем?

— Это — как его зовут — Всеволод Иванов. Это он и есть.

— Что за индус?

— Не Неру, Неру не был так стар. Это Криш<твин> (*не расслышал*), он был профессор восточной философии тут. Это — опять Hertzgen. Это — Бабеф.

— А как Максвелл к вам попал?

— Потому что такой мошенник!

— А с кем это он? Страшненькая фотография...

— Это да.

—...как театр какой-то.

— С одним знакомым моим банкиром, забыл его имя. Как его зовут? Gratzam? Gretzam? Немецкое имя... Ну, что еще?

— Кто вот это? Плеха?..

— Нет-нет, это Каэтано, итальянец, это профессор, это друг мой большой. Первый антифашист, первого часа антифашист. Я вам скажу историю о нем. Когда он был на смертном одре, я пошел его увидеть в Италии, в каком-то доме какой-то графини. Я ему сказал: как вы поживаете? Он говорит: “Кроче умер. Муссолини умер, и Кроче умер.— Почему я не чувствую себя лучше?” Я спросил: вот будут выборы, вы будете голосовать? — “Я сказал коммунистам: “Если вы повесите папу, буду голосовать за вас. Если нет, то нет”. (*Мы оба посмеялись.*) Он был католик... Это опять Шостакович, в своей мантии.

— Оксфордской. А это?

— Не так легко... (*Ищет подпись и читает.*) Ruskin и Henry Acland, был такой доктор.

— Это Ахматова. Это мы над ее гробом.

— Это Кант.

— Про кого еще спросить? Чернышевский, ужасный.

— Ужасный? Это должно быть.

— Это?

— Индусы какие-то.

— А вот Никсон за роялем почему-то.

— Индусы и белые, не знаю, кто они, наверное, конференция какая-то. Абсолютно забыл.

— President Nixon at the piano.

— President Nixon at the piano. А это Стивен Спендер. Это... художник — как его зовут? — который сделал с меня портрет — знаменитый английский художник, очень известный. Живет в Калифорнии. Очень гомосексуальный. Постойте. Имя его... Ах ты, у меня все забывается. Молодой художник — все еще довольно молодой.

— А эти два человека?

— Это американский посол Брюс и около него такой довольно ужасный господин лорд Цукерман. Был лорд — Zuckerman.

— Все бывает.

— А вот это Чемберлен, это Галифакс. Это Лаваль, да, тот. А там кто-то из хорошей компании. Феликс Франкфуртер, американский судья, которого я знал. А это кто?

— Кто-то русский...

— Н-наверно. (*Оба смотрим подпись.*)

— Э-э, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

— Да-да, конечно. А этого я не знаю.

— Хорошо, не надо наклоняться.

— Кто-то лежит, я не знаю... руками кого-то зацепляет.

— Исая, хорошо, спасибо большое.

— Это не друг. (*Мы смеемся.*)

— Спасибо.

Этот человек, Исая Берлин, был, как сам он сказал при нашем знакомстве, «ни то, ни другое». Не философ и не филолог. Не историк. Не литературовед. Не исследователь, не политолог, не этик. Не поэт. Словом, типичный «нематематик». Очень остроумный, но не Бернард Шоу. Умный, но и я, и он встречали людей умнее. Добрый, но меньше, чем, положим, мать Тереза. Много знающий, но не академически. И так далее.

Всегда хочется объяснить человека одним словом, и всегда тратишь сто или сто тысяч, и всегда суть остается недосказанной. Однако, если бы было поставлено условие: или одно, или ничего, — я бы назвал героя этой книги *нормальным*. Он был эталоном человеческой *нормы* — не в том нынешнем значении этого слова, которое подменяет собой понятие «о'кей», «в порядке», а в значении оси, от которой и вокруг которой человечество ведет, чаще бессознательно, отсчет ума, добра, таланта, экстравагантности, исключительности, банальности, пошлости, низости, тупости. Нормы как стержня, который все эти человеческие проявления подпирает. Нормы отнюдь не как усредненности, отнюдь не как ограниченности, а, напротив, предлагающей себя во всей полноте и яркости своего содержания. Но — нормы: той амплитуды, которую выбрал маятник земной жизни, чтобы не укорачивать размах и не замедлять хода и в то же время не раскачаться до разноса всего механизма.

Его сверстница и хорошая знакомая Мириам Ротшильд, известный энтомолог, однажды убеждала меня — в своей легкой независимой иронической манере, — что цивилизация муравьев настолько же мудрее, насколько древнее человеческой — то есть жизненной. Что когда люди исчезнут с лица Земли, муравьи будут жить на ней, как жили до появления человека. Возможно. Кое-какое под-

тверждение этому я получил на днях, обнаружив, что крохотные бледно-коричневые городские муравьи завелись у меня в компьютере. Возможно, муравьи сменят племя людей. Однако не заменят же. Как и компьютеры.

Всю жизнь этот человек был обернут к прошлому. Никогда не прогнозировал будущего. Жил только мгновением настоящего — правда, никогда его модой. И сейчас обнаруживается, что при всем при этом он не запер себя в «свое время». Не то природой, не то чутьем он опередил его по самой манере участия в жизни и в культуре. Его постижение действительности и его отдача ей были принципиально *несистемными* и только постольку целостными, поскольку им были освоены фрагменты целого. В некотором смысле, как сказали бы теперь, *клиповыми*. Иначе говоря, современными. Присматриваясь к людям, а не к насекомым и в руки беря перо, а не компьютер, он тем не менее переехал из своего века в следующий — «современным», открытым любой новизне и знающим ей цену. Забавным. Абсолютно подлинным. Живым человеком.



## Ф у к

РАССКАЗ

*Рите Джулиани*

Сарай — старовер и крестится двумя перстами на своих крестовиков. Сарай первобытнее дома. Как навес первобытнее сарая. Как спасительный от солнца куст первобытнее навеса. Как пещера पहले норы, поскольку нору еще надо рыть, а пещера — вот она.

Сарай — старик двора, по-стариковски обходящийся всякой малостью, тихо греющийся на солнце, желательно подальше от нетерпеливых обитателей жилья.

Возле него в теплых столбах воздуха толкуются мухи. У помойки тоже. Но там другие.

Сарай, как придуман, такой и остался. Крыша неизбежна. Она — навес. Без стен от бокового ветра и дождя не обойтись. Дверь обязательна — входить в древнее укрывище земледельческих орудий и предметов жизни. И выходить.

Сарай — хранитель скарба, или полезного, или неупотребляемого, или бывшего, или разного хлама. Скарб этот — человеческая надежда: проводок — сгодится, чурбак — понадобится, худая галоша — кому она мешает?

Дом — существо теплокровное и привередливое. Из сарая же кровь ушла, а возможно, ее и не было. Обескровленный и серый, он к нашему времени обрел видовую неказистость.

Сарай — по-турецки дворец — зовется так в насмешку, поскольку дом над сараем трунит. А еще он выселен на задворки без права переписки.

Сарай ищет пообщаться с другим сараем, но как это сделать? Разве что твои букашки переберутся к собрату или дверь от ветра хлопнет, а в ответ дверь соседского — тоже хлоп! Вот и весь разговор.

А еще сарай — единственное место, где ничто не отбрасывает тень, при том что летнего света всегда сколько угодно. Вспомните:

«В сарае от солнечных лучей, просовывавшихся в каждую щель, было светло и хорошо, и — странное дело — хотя солнце светит всегда с одного какого-нибудь боку, лучи эти лезли со всех сторон. Они входили в щели стен и крыши и пересекались где хотели, потому что надо уметь устраиваться, а солнце в те годы умело, и раз уж попался кособокий низкий сарай, оно совало куда хотело плоские пыльные лучи...»

Мыши, насекомые, пауки и прочие неприметные существа, восславимте же сарай!..

Нашего героя зовут Вадя. Он худ и сутуловат и, можно подумать, истощен, хотя питается Вадя нормально, а худоба — потому что мало ест. Зато думает много и неотступно. Еще он безответен. Еще — тихий. Людей, как правило, избегает и правильно делает. Глаза у него покрасневшие, как от переутомления. С такими усталыми глазами, отпусти Вадя бороду, у него образовалось бы сходство с Достоевским. Достоевскую кротость его мало кто принимает во внимание, и в детстве Ваде здорово доставалось.

Ему, например, чаще других показывали Москву. Подойдет сзади опасный кто-нибудь и спросит: «Москву показать?» Увернуться уже не успева-

ешь, потому что детскую голову твою, включая уши, беспощадно стиснули с боков мерзкие ладони и ты бываешь приподнят вместе с туловищем и свисающими ногами. Голова потом долго не ощущается. Так что Москвы Вадя с детства навидался, хотя чего ее показывать тамошнему жителю, прописанному в собственном доме?

Дом этот — ихний давно. То есть всегда. То есть с тех пор, как его поставили. Лет сто пятьдесят они тут живут. И сад разросся, хотя, как все здешние сады, запущен, а вертоградный его прибиток или червив, или с белыми семечками, или поклеван. Таков уж здешний обитатель — никак не благоустроится, все на что-то рассчитывает (прежде говорили — уповаает) и все, что стодится для надежды, как сказано, сволакивает в сарай.

Семья была многолюдная плюс Вадин неродной брат с женой. Его тоже вырастили Вадины родители — дед с бабкой. В парке по соседству играло радио. Толклись в летних столбах мухи. Разрастался сад. Яблоки — хоть бели стволы известью, хоть не бели — червивели. Правда, одна яблоня с красными яблочками (у них даже внутри все красное) червю не давалась. Дед яблоню берег и говорил, что название ей — сорт-пунец, но, по-моему, врал, а пунца выдумал из-за красной яблочной серединки.

Места в доме хватало и детишкам, то есть внукам, и пользовавшимся безусловным послушанием добрейшим деду с бабкой. Разве что у бабки по ночам скучали ноги, и она до света ходила по ихней с дедом надстройке и места себе не находила. Недоспавшая от этого, к домашним она все же придиралась, а выпавшийся и сладко поспевший на зорьке дед был как голубь, и от него хотелось услышать сказку про старую жизнь с городовыми и околоточными. Но не только. Если деда порасспросить, он откровенничал и про своего барина, графа Шереметева — крепостника каких поискать.

Дед — натуральный человек этих мест. Он по-прежнему отбивает ненужную больше в хозяйстве косу, а заодно от скуки шорничает. Во всяком случае, хомут, который тоже на хрен кому теперь сдался (хотя лошадей с телегами в московском обиходе хватает), у деда в порядке. Еще у него живет за три километра друг, тоже чей-то дед, но во Владыкине. Наш к нему ходит покурить. И всегда берет косу — помахать по дороге. Потом вялую траву подбирают окрестные люди у кого коза.

Собираясь во Владыкино, дед бреется опасной бритвой перед осколком старинного с широким фасетом барского зеркала, отчего отражение милого дедова лица получается со сгибами, как у сложенного, а потом расправленного листа бумаги. Однако бинокулярное стариковское зрение дробленностью этой не смущается, да и бритва тоже как надо острая. А затупится, он ее — раз! — и направит на царском еще ремне, зацепленном пряжкой за гвоздь, вбитый тут же в столбик рукомоЙника.

Намыливает щеки дед помазком, повертев его на мокром мыле, а потом вода по щекам и возле бородки с усами, которые оставляет. А потом уже бритвой с костяной ручкой, забрав между пальцев, которую надо, ее изламывающуюся часть — раз! — убирает широкой полосой белое мыло вместе со щетиной и сразу — раз! — мыльную эту с седым волосом налипку об кусок газеты снимает. А кровь — раз! — из пореза (у деда кожа розовая и нежная) давай немного течь, а он ее квасцами, квасцами (палочкой такой), она и останавливается.

И язык деду под щеку подсовывать не надо — у него на эти места как раз усы-борода приходятся. Так что он еще разок, заглядывая за амальгамную плесень, поскоблится — и всё. И побрился. И газетины со сбритой пеной в мутной воде поганого ведра под рукомоЙником плавают.

Побрился дед, водкой лицо протер, а бабка опасается, что — бритого и с косой — деда схватят как единоголичника, хотя с косой он выглядит вообще-то как смерть. Мелкая жужжащая и ползающая живность — летние слепни, стрекозы и мурашки — его так и называют: смерть траве.

А некоторые мухи, чтоб не мешать бритью, уходят всем столбом, в каком толклись у рукомоЙника, к сараю, где сидит Вадя.

А еще дед, перед тем как идти к другу, достает из фанерного баула, позабытого при старом режиме одним дачником, коробку папиросных гильз, а еще пачку филичевого табаку — у него с войны несколько осталось — и сидит себе под сортом пунец гильзы набивает, укладывая их в пустую коробку от «Казбека». И кричит: «Вадь, я их целую эту уже натолкал!»

Курить они с другом все равно станут козыи ножки, табаку в которые крошат из старательных филичевых папиросок, причем друг обязательно, чтоб не ударить лицом в грязь, заметит: «Казбек — от него ноги вразбег», — но с папиросами приходится форсистее, особенно если дед отправляется в старом картузе с облупленным лакированным козырьком. И, конечно, с косою. «Ну я пошел, Вадь!» — и уходит.

Канавы не канавы, кочки не кочки — дед косит. Зеленоватая травяная сукровица лезвие мочит, одуванцы, слышав «свис-сь!», сами отлетают, жилистый подорожник ложится тоже, а в забранном решеткой окне одного научно-исследовательского училища, виднеющегося вдаль от дороги (что там такое, мы понятия не имели), глядит на деда один будущий писатель, как раз отбывающий в шарашке свое, и недоумевает, что, мол, за чудо такое у дороги происходит. Козырек отсвечивает, синяя косоворотка угадывается, коса вспыхивает на солнце, косарь ее нет-нет отбивает — словно и продрозверстки не было, и трудовой навык народом не пропит. Ломает голову над странной загадкой наш знаменитый узник, а его товарищ по несчастью — Лёва с идеями — предполагает, что большевики-ленинцы все же чего-то добились и чего-то не утерjali. А будущий писатель, не умея постичь фуражечные вспышки у дороги, в бессонную ночь догадывается, что это особый топтун, уже на далеких к шарашке подступах делающий свою ябедную работу.

Да какой там топтун?! Это же золотой дедок наш! Покосил и дальше пошел, напевая редкую песню «Молодой охотник по острову гуляет — ему неудача, сам себя ругает», а сейчас виднеется за дубками, которые сразу после упраздненной, но от властей не поруганной церкви князей Черкасских. Идет, напевает и окрестному виду не придает значения, не то что один Левитан, снимавший здесь до революции дачу и, между прочим, забывший фанерный баул. Дед с бабкой его потом разыскивали баул вернуть, но им сказали, чтоб шли в Третьяковскую галерею, там, мол, и Левитана этого (а не того, который по радио) найдут. А они никак не соберутся, хотя даже война уже кончилась.

Дети у стариков были сыновья, один из которых приемный. Про остальных как-нибудь в другой раз, а — из родных — Вадя оказался особый. Когда была зима, из сарая не выходил. А если зима — не выходил из дому. Никто не понимал, почему так. Он ведь в сарае сидел не просто, а всегда занимался чем-нибудь полезным в смысле сарайной надежды, хотя и бесполезным в смысле прожиточной безнадежности.

При всем при этом Вадя страшно опасался отбрасывать тень, додумавшись, что, если могучий солнечный свет, дошедший из парсеков и зодиаков мироздания, может быть заслонен любым препятствием и образуется то, что называется тень, значит, тень состоит из выбитых лучом частиц препятствия, припорошивающих запреградные поверхности столь тонким слоем, что через него различимы, хотя и потускневшие, краски заслоненного.

При исчезновении преграды эти частицы — назовем их понятным Ваде словом корпускулы (см. школьный учебник, Ломоносов, корпускулы) — незагороженным теперь светом сразу разрушаются и пропадают в воздухе.

Но коль скоро корпускулы покидают вещество, из которого вытолкнуты, оно со временем дырявет, истончается и поэтому обречено на погильель.

Освещаемые, к примеру, солнцем деревья, постоянно отбрасывая тень, желтеют, и листва их умирает. То же и теряющий корпускулы человек — взять хотя бы потемневшую кожу бушменов и армяшек.

Упасаясь в сарае, Вадя уже многие годы делает велосипед. Для наших мест правильной сказать — изобретает. Хотя недавно выяснилось, что велосипед на самом деле изобрел Леонардо да Винчи, но об этом еще будет сказано.



Сперва Вадю корили — вот, мол, уже сколько химичишь, а что толку! И жена брата тоже ото всех не отставала. Но Вадя по старой книжке ремесел (там среди прочего было, как возгонять духи из васильков и отливать самодельные галоши) взял и показал домашним батавские слезки. С помощью особой трубочки под названием фефка он расплавил на спиртовке стекло и жидким его каплям дал упасть в ведерко с водой. Они там, конечно, сразу затвердели, обратясь в капли со стеклянными хвосточками-жгутиками. Твердость такой штуковины была неправдоподобной. В стеклянный сперматозоид ударяли скороходовским каблуком — и ничего. Неродной брат даже кувалдой саданул. Стекляшка только подпрыгнула. Вадя же тихонько отломил хвостовой жгутик, и она рассыпалась в пыль. Бабка перекрестилась. Дед пошел натирать хомут салом. Брат ушел обозленный, а молодая крепконогая его жена с интересом поглядела на Вадю. «Дед бил-бил! — засмеялась она. — Баба била-била, не разбила...»

С тех пор к нему особо не приставали, а она, насчет него прежде зубоскалившая, вообще переменялась, но про это опять впереди.

Ко времени, которое взято в рассказе, показывать Москву упомянутым способом необходимость отпала. Уже — на коне с яйцами — поставили памятник Юрию Долгорукому, а к 800-летию стали продавать круглые жареные пирожки с тонзурой повидла. Еще состоялся праздничный базар на Пушкинской площади, еще отменили карточки, еще у многих пропали в реформу деньги, и все, честно говоря, давно с удовольствием забыли, как в старом парке возле Вадиного дома играли прощальные вальсы уходившим погибать в ополчение непригодным к военной службе жителям.

Уже не распевали тыловые пацаны похабных переделок военных песен, словно никогда их и не знали, хотя если что от той поры в памяти тогдашней проросли останетса, так эта незамысловатая грустная похабенъ. Например:

На позицию девушка, а с позиции — мать.  
На позицию женщина, а с позиции... и т. д.

Правда, пелось и другое. Жена Вадиного брата, когда в доме пусто, а муж на Дробильном заводе, чтобы не пускать в дом знойный день, налаживается мыть полы. В комнате и на терраске. И крыльцо тоже. Потом ходит по прохладным потемневшим доскам белыми ногами.

А пока с высоко подоткнутой юбкой убирается, напевает:

Все она тогда раздела,  
Рядом с ним легла.  
И всю ночь кровать скрипела...  
Все равно война!

В поломоиные дни братова жена, бывает, появится и перед Вадей, который занят своим делом и на нее не смотрит. «Я к тебе, Вадя, насчет картошки дров поджарить», — говорит она, сквозь сверкающий мушиный столб войдя в сарай за стамеской — соскрести с террасочного пола какую-нибудь присохшую детскую соплю или скovyрнуть ржавую кнопку, втопанную в половицу так, что ногтями не вытянешь, — обламываются и, если Вадиным напилком их не заровнять, цепляются за вязкие трусы, когда юбку подтыкаешь.

Пока Вадя поворачивается за стамеской, избегая каких есть сарайных лучей, она, приметив газетину с ненашими буквами, в которую завернуты гвозди, говорит: «А ты, Вадик, и по-французски знаешь?» — и рассказывает, что у одной вот старушки были собачки, знаешь, такие самосерьки, и она, эта старушка, в нашем парке с ними гуляла и по-французски звала Обся, Руся, Напа, Нелли... — смесь, говорит невестка Ваде, с опущенными глазами протягивающему ей стамеску, и только сейчас спохватывается подоткнутую юбку свесить обратно.

В выходной, когда муж (то есть его названный брат) дома, или по вечерам, когда возвращается с предприятия, она к Ваде не заходит, к сараю не подходит и даже в эту сторону не глядит. И грубая бывает.

Бабке такое ее поведение, конечно, не нравится, она ворчит, чтоб сноха Вадю не трогала. Но та огрызается:

— Он тобой не нуждается, мама! Мы тобой нуждаемся.

А Вадя кроток настолько, что вообще не понять, откуда она взялась, такая кротость. Ведь он чего только не пережил! Еще когда не додумался до корпускулярной смерти всего живого и в сарае целыми днями не сидел, Вадя, скажем, видел, как учившийся в цирковом училище Зулька с Седьмого проезда разгрызал в мелкие кусочки лезвие «Экстра», причем разгрызал на самом деле, потому что потом выплевывал стальные корпускулы в ладонь желающим убедиться, что их не накалывают. Видел Вадя, и как девочки, сидя на завалинках, сшивали в разных направлениях кожу на сухих своих ладонях, подцепляя иголкой самую верхнюю и сухую авитаминозную тонизну, так что белая нитка, скрючивая руку, шла от пальцев к ладони и снова к пальцам. Да и к рукодельничанью своему он приохотился, наблюдая удивительный инструмент часовых дел мастера Михал Борисыча, у которого кусачки мокрую папиросную бумагу на щелчок перекусывали. «Я, когда в пинцет попадает волос, чувствую...» — хвастал бывало покойник Михал Борисович.

Таких кусачек, забегая вперед, скажем, Ваде не видать. Потому что золингеновские. А забежали мы вот почему.

Если вам когда-нибудь попадалась фраза «а один человек возле сарая уже который год изобретает велосипед», не верьте, потому что сказана она была для красоты при описании умопомрачительного пути на барачный нерест. На самом деле велосипед изобретался тут, на этом вот месте и в этом сарае, и, пока рассказ пишется, будет изобретаться и производиться тоже тут, причем Вадей и никем другим.

Сколько я себя помню, он с этим велосипедом никак не управится.

Машина сотворяется годами не из-за нерадивости — работа над ней идет всегда. Педали, скажем, готовы уже как года три. И красные стеклышки в них вставлены, как у великов трофейных. И крылья — вот они тоже. Покрашены и отполированы. И спицы. Но о спицах потом.

Замедлялось же все сутью общества, небрежавшего материальной и бытовой культурой, зато осваивавшего поедание пищи алюминиевыми ложками, меж тем как исчезали орудия труда (кроме золингеновских, у кого они были), навыки работы, а нужное сырье или все было засекречено, или обреталось на свалках.

Вот, скажем, Вадя доделывает с того года спицы. На черновое их изготовление из сталистой проволоки, которую брат принес с Дробильного завода, и расклепывание втулочных концов ушли все прошлое лето и осень — спиц в обоих колесах множество — к тому же прошлогоднее лето выдалось жарким и ярким, даже в сарае от тени было не отъединиться. Зато в нынешнее лето Вадя успел уже отхромировать и спицы, и обода, изготовленные давно-давно, когда он еще в техникуме поучился. И сейчас улучшает клипцанки, в каких зажимаем спицу, когда нарезаем леркой ее ободный конец. А теперь вдобавок придется разгибать и те, которые поуродовал брат. Почему поуродовал — скажем тоже дальше.

Как же не улучшать клипцанки? Они ведь иначе всю хромировку попортят! А так наклепываешь им бронзовые щечки — и зажимай спицу.

Он целую неделю этими прокладками и занят.

Наклепывать — нетрудно, но и небыстро. Сперва в щечках сверлятся отверстия, размеченные по предварительно высверленным дыркам в налагаемых пластинках. Потом наносят центра для сверления. Однако наносить оказывается нечем, приходится делать керн. Из чего? Из стебля ржавого шпингалета, отпилив от него сколько надо, заточив и зашлифовав, а затем закалив до ворононой побежалости и уж потом только намаслив, чтоб не ржавел. (Сперва, конечно, шпингалет очищаем от краски, на нем же вековые белила...) Потом сверлим дырки в клипцанках. А потом... то есть теперь Вадя который день шлифует медные заклепки, коими присобачит накладку, для чего щечки разогреет — дырки в них расширятся, — пристроит накладку, поставит заклепки и остудит. Потом накладку опилит и зашлифует вместе с заклепками. И это дело небыстрое.

Как приспособливаются старые или делаются новые сверла, напильники, надфили и тому подобное, описывать, я думаю, не обязательно. Делаются — и всё!

В любом случае тщательный Вадя бывал отбрасываем изготовлением орудия труда для изготовления орудия труда все дальше от детали. И, как сейчас, домывая пол, жена его брата пятится с крыльечка, дабы в конце втрипогибельного движения залучить в себя хоть какого избранника, так пятился он по технологическому циклу, а вернее сказать, по цивилизации, и, похоже, может достичь отправной точки — изобретения первых рычагов или колеса.

Ну чепуха! Разве мы не видим, что оно уже у него в руках, колесо? С этим всё уже в порядке. А вот бабушка, между прочим, по ночам не спит, мотаясь по связанном из цветного лоскута половикам, и ей, между прочим, сдается, что в доме не спит еще одна женщина. И правда, еще одна не спит, блудня. Жена приемыша не спит. Рядом с мужем, а не спит — потому что он хоть горячий во сне, но бесполезный. Вот она и думает: «Что же делать? Не Вадыкину же слякоть в себя поиметь? У дурака и слякоть дурацкая... Но чего же я тогда пячусь к нему, как сучка к кобелю, когда полы мою?»

Она моет пол, как мыли везде и всегда. Это — на первый взгляд. А между тем здешнее мытье было, каких больше не бывает, стоит лишь вспомнить, каков делается дощатый пол, какими ощущаются четыре влажные ступеньки с терраски до первых травинки, мокрых теперь и зеленых рядом с потемневшими проступями, прохладными и любезными босым твоим ногам.

А если не твоим? Если полнотелой поломойки, только что с подоткнутой юбкой задом к дверям мывшей терраску и теперь отступающей к крыльцу? Мыть ей уже надоело — ступеньки домывают в последнюю очередь. Так что елозишь тряпкой вправо-влево и туловищем склоненным — тоже вправо-влево, а задница твоя — влево-вправо и выжмешь, конечно, разок тряпку, но уже не в ведро, а сбоку ступенек, и снова заберешь тряпкой воду из ведерка, и все не разгибаясь — поясница же затекла, так что разгибаться не стоит, потому что потом снова сгибаться, а это неохота. Охота шваркать и чтоб груди мотались. Так что — вправо — «все с себя тогда раздела», влево — «рядом с ним легла»... Муха, что ли, по ноге вверх ползет? Ай! Там же кожа нежная! «И всю ночь кровать скрипела» — вправо последнюю ступеньку уже только сырой тряпкой. «Все равно война!» Влево последнюю ступеньку. Всё. Распрямитесь, откинуться назад и повертеться, чтоб, заняв на мгновение, разошлась поясница и отнылась боль, а грудь, свисавшая покамест мыла, заняла свои места и как надо стала выпуклая.

Жена брата пятится с крыльечка и потому, что домывает пол, и потому, что у нее с его братом не получается жизни, а на самом деле затем, чтобы в конце поломойки согнутости вошло в нее семя хоть какого избранника, нужное природе для продолжения жизни вспять в одном отдельно взятом сарае...

...Трясогузка, проживающая в саду, качает хвостом возле валяющейся у корыта треугольной — из-под уксусной эссенции — бутылки, с помощью которой Вадя, отбив один уголок у донца, а горлышко заложив пальцем, наблюдает разные струения жидкости — налил воды, зажал горлышко, вода из отбитого уголка не течет. Отпустил — и потекла... А еще он однажды видел, как жена брата, отбросив тряпку, обреченно вернулась на терраску, оперлась спиной о межоконный стояк, запрокинула голову, втиснула между ног юбку, приоткрыла губы и зубы (однако зубы тут же сомкнула), потом стала трясти ногами, дернулась и снова, подоткнув юбку, вернулась мыть крыльцо. И пятилась, и широко протирала доски, так что ступенек хватило только на три шага, и движения ее были похожи на взмахи косаря, разве что косарь откинут, а она — согнувшись, так что высоко видать белые ноги.

Пейзаж, на котором она, прежде чем закрыть в женском самозабвении глаза, остановила взгляд, был обзорим из каждого здешнего окошка и примечателен тем, что, начинаясь в окошке, кончался где угодно — у кого в синем небе на серой вороне, у кого на радиометелке дальней крыши, а у кого на помойке, где

вскорости, уйдя от сарая, станут мелькать в стоячих столбах мухи, причем какие-то наладятся из этих столбов метаться в стороны, но потом кидаться назад.

Что же это за столбы такие? Отчего толкутся в них мухи наши? Отчего, точно корпускулы, отлетают вбок из своего миропорядка? И, наконец, отчего мельтешащих слюдяными крыльями столб вовлекает их снова? О! Непостижима подоплека наших дворов, и вообще правильно ли разглядывать что-то в окошко, если ты после разговора с бабушкой, или приходит муж, а ты в комнате у себя тихо плачешь и кто-то что-то швыряет об пол — или ты, или муж, Вадин брательник. И брательник орет нехорошие слова, а поскольку после Вадиных слезок стал совсем козлить, то взял до ухода на работу и согнул пучок готовых уже спиц, дурак.

Вадя ушел тихо лежать и плакать, а бабушка ему толоконного киселя сварила.

Вообще-то весь тот день знаменовался разладом и неприятностями. Вадина обида всех перебудоражила. Бабушка не отпустила деда к другу. Честила его, что с хомутом возится, а клопа на смородине не давит, что хомут она выкинет, все равно коня нету, а хоть бы и был — нету телеги, так что один только навоз выгребать придется, а у нее — ноги, и пошла, и пошла, но на слове «навоз» совсем рассердилась, потому что неделю назад внуки набросали одному еврюше из Ново-Останкина в сортирную яму дрожжей, которые бабушка с трудом раздобыла к Ильину дню. Дрожжи были свежие, добро в выгребной яме подошло на славу и говнами поползло по всему двору. Внуки были не полностью виноваты, их подбил один паразит-парнишка с соседнего с еврюшей двора. Тоже еврюша. Но пацаненок. Подробней об этом как-нибудь в другой раз.

Все в то утро друг с другом переругались, все друг на друга нападали, гремели корытом и ошпаривали пальцы. Потом убежало молоко, каркала на осине ворона, пришла от Стенюшкиных черная гусеница-объедала, а бесстыжая сноха, пока остальные удручались, долго мылась в теплом от солнца дворовом душе.

И вроде бы в тихом том, благословенном дворе разок даже помянули твою мать...

А Вадя, когда трудится, никогда не выражается, зато в моменты наивысшей сосредоточенности (например, шлифуя заклепку) что-то тихонько бормочет или напевает. Если хотите узнать что, быстро не узнаете, потому что, даже разобрав слова, мало что поймете.

«Плёнок цыренный жа плёнок цыренный па шел по оду по гор лять гу гое малипой товали арес леливе спортпа зать пока... Я не ветскийсо, я не мецкийне...» — и так далее. Разве такое поймешь? И что вообще оно такое? Не потребность ли мастера уйти втай, скрыть прием и способ работы, чтобы кому не положено ничего не узнали?

Не таково ли поступал и Леонардо да Винчи, для отвода глаз напевавший какую-нибудь виланеллу, а сам зашифровывая чертежи, для чего пользовался отражением в осколке зеркала с факетом? Так ведь и он велосипед-то! Это же обнаружилось много позже, а хоть бы и раньше обнаружилось, что из того? Вадя все равно бы Леонардов манускрипт никогда не увидел и о находке нигде бы не прочел.

Леонардо ограничился чертежом, потому что имел под рукой только бронзу и железо — субстанции тяжелые и для велосипедной езды несдвигаемые, плюс к тому невозможность хромировки и отсутствие солидола. А значит, изобретал несбыточное, но наперед. Вадя же из-за отсутствия орудий труда изобретал несбыточное, но назад, хотя продвигался быстрее флорентинца из-за множества находимых на самолетной свалке разных хреновин.

Единственное, что их сблизает, так это что Леонардова служанка тоже то и дело мыла полы. Но уж тут Леонардо поступал, как поступают в таких случаях со служанками все, а Вадя...

Эх, Вадик! Она к тебе, как сучка к кобелю, а ты только и знаешь, что паяльник греешь и тенью собственной брезгуешь...

Касательно же самолетной свалки — он, чтоб не отбрасывать тень, ходил на нее в хмурые дни. Вчера как раз было пасмурно, и, расстроенный позавчерашней выходкой брата, он туда отправился.

Продравшись сквозь сорные заросли и колючую проволоку, Вадя был сразу сбит с толку. В лежавший среди сорняков, оторванный от куда-то подевавшейся башни ствол танкового орудия, юркнул воробьенок, так что Вадя уже не мог не думать, из какого дульного конца тот станет выпрастываться.

Тут же серела кипа чего-то непонятного — с виду металлического войлока, при надавливании сыпавшегося черно-серым прахом. Серый колер кучи и вообще серый день определяли угрюмый вид огромного свалочного урочища. Алюминиевый, а значит, вдобавок к серому покрытый белой паршой металлолом не давался распознать, что за чем и что от чего. Фасонные штанги и элероны, зубчатые полуколеса, замысловатые фрагменты были неисчислимы, плюс ко всему мягое, замызганное ведро или одинокий военный ботинок с костью обклеванной воробьями немецкой ноги...

Несметное крошево совершенно не давалось глазу. Непомерность доделок тоже обескураживала, отчего сразу пропадала надежда, что с помощью здешних сокровищ можно сотворить мир сначала, но уже правильно.

А Вадя, между прочим, был слабоголовой и вовлечся во что-то мог, следуя ниточке простых догадок и последовательностей одного-единственного намерения. Скажем — сотворения спицы.

Беспомощно озирал он серый хаос, тщаьсь хоть что-то постичь. Увы! Безотчетный страх неудачи, тревожная первопричина несвершения заявили себя сразу столь беспощадно, что Вадины голова, в которой трепыхалась теперь главным образом судьба воробьенка, постигать что-либо больше не бралась.

А из-за невозможности догадаться, от чего тот или другой обломок, какой понадобится для работы инструмент и до чего ото всего этого допятишься, недолго было повредиться в уме.

Вон от той железки, похоже, можно дорукodelьничаться до мессершмитта, а вон от той... до сатураторной тележки! И что же? Сооружать возле помойки аэродинамическую трубу, если станет получаться аэроплан? Или плакать, что возрожденную сатураторную тележку невозможно доукомплектовать Райзбергом, потому что газировщик умер? Или испугаться, что наотбрасываешь тень, пока хоть что-то сделаешь?

Вадя оторопел не поэтому.

Что-то такое, чего он не мог уразуметь, оцепенило его. Нити последовательностей обрывались и путались. Мысль стала упрощаться и, если можно так сказать, идиотизироваться. Главное свалочное заклятье ускользало. Вадины голова стала тихонько отъединяться, ибо...

Ибо мир свалки не был еще готов в те времена ни к чьему усердию. Алюминий не паялся! Покореженный здешний металл, хоть грей паяльник, хоть не грей, было не спать!

Именно это — безусловную беспомощность и безоговорочное фиаско — предощущал растерянный Вадя...

...Похожее случалось и с Леонардо. Бывало, взбредет ему изобрести вертолет. Он, конечно, изобретет, а делать не из чего. А чтоб было из чего, надо чего только не насоздавать. И руки флорентинца опускались. Но, конечно, на бедра подвернувшейся полумойки...

А бедная Вадины голова меж тем настолько обременилась воробьенком, что, не отрывая глаз от орудийной дырки, моргая красными веками и с одного конца ствола на другой переводя взгляд, он все более отвлекался от алюминиевого бедлама. И вдруг... увидел выскользнувшую из дула серую, как свалка, мышь, метнувшуюся в один из мушиных столбов, каковые заходили почему-то по всей свалке, словно серые небеса встали на стеклянные ноги...

А поскольку Ваде уже было не разобрать, галлюцинация это или мышь без обмана, он начинает дрожать, плакать и, прикусывая язык, валиться в крапиву...

...То ли облако набежало на летнее наше солнце, то ли яблоком оно загордилось, то ли просто из-за развешанного белья на сарай пала тень, но Вадя, забившись в нутро своего убежища, усталый от позавчерашней обиды и вчерашней свалки, тихо сидел на стуле, ссутулясь, руки зажав меж коленей — точь-вточь Достоевский, будь у Вади борода, а зальсины уже есть.

А сарай, как было сказано, хоть и обходился по-стариковски всякой малостью, но, если заглянуть в дверь, являл зрелище редкостное, ибо сразу позади Вади виднелись дедов хомут и огородное дреколье с залоснившимися ратовищами, что — заодно с остальными сарайными кулисами — представлялось большим голландским натюрмортом.

Вот заглянули мы в дверь, и она будет наша рама. И у всего, что мы видим, колорит темного лака, а с темной полки желтеет медным патроном настольная лампа в виде раскрашенной золотой охрой и глухой умброй девушки в чепце и с лукошком, причем трухлявый гуттаперчевый шнур с полки свисает. Тут же тяжеленная в коросте черных бородавчатых окисей кованая гильотина для колки сахарных голов. Ничего ею сейчас не колют — головы давно в прошлом, а кусковой сахар разделяют щипчиками, сильно разжевавшимися в осевом соединении и потому соскакивающими с куска, неохотно позволяющего хлябвым их клювикам откалывать от себя ломкие черепочки, из-за скорлупной хрупкости для чаепития негодные. К чаю хорош маленький сахаряющий кристаллами неправильный тетраэдр: держишь его со стороны утолщенной и под глоток откусываешь с острого кончика. Под зубом он как попало не рушится, а дает удобный отгрыз. Кстати, при неумело совершаемом откалывании сахарный булыжник круглеет, становится для щипцов неухватист, и они только карябают его, уничтожая поверхность и оставляя вьюжные следы от стертых кристалликов; клюв же щипцов замарывается получившейся сахарной пылью, а на клеенку осыпаются острые крошки...

А еще в сарайных глубинах виднеется старый верстак, светятся на нем ясные стружки, висят над ним сапоги-скороходы, и что-то еще тусклеет и отсвечивает, угадывается и чудится, шуршит и осыпается, а еще — все покрыто лаком цвета золотого пива...

Мыши, насекомые, пауки и гусеницы, вот мы и воспели сарай! Так что быстрей дальше, ведь столько еще всякого дела!

А у Вади пропало два дня времени, из-за чего вчера, отлеживаясь дома, он отчаивался и убивался. Когда не делается велосипед, жизнь для него не жизнь. Бабка, чтобы Вадя после припадка успокоился, носила ему отвар воробьиной травы, которую собирала сама, потому что дед целебную эту траву не так дерет. Сколь правы были придорожные букашки! Он и у бабки прослыл смертью траве, ни в чем не повинный дедушка наш!

Но так было вечером. А сейчас почти день. И день этот, хотя в сарае пока что пивной сумрак, настолько прекрасен, что все это чувствуют и стали жить в ожидании чего-то хорошего. И брат перед работой приходил прощения просить, хотя в глаза не глядел, зато принес в подарок сворованные на заводе штуцеры...

Поскольку утро только что кончилось и подсыхая от росы природа начала применяться к теплоте дню, скоро может начаться летание тонких паутинок — летание без ветра, на каких-то неведомых дуновениях, которые к обеду обязательно прекратятся. Слабый от вчерашнего Вадя сидит, тихо поглядывая то на штуцеры, то на сияющие с гвоздя готовые обода, отчего, конечно, вспоминает про обода деревянные, которые на английском велосипеде у одного парня с Пятого проезда. Пока он размышляет о необыкновенных лубяных ободах, на поросший рыжими волосиками бледный мускул его руки садится пониже локтя комар, из-за сарайной сумеречности решивший, что снова вечер и пора кусаться. Комар никакой тени не отбрасывает, значит, и Вадя не отбрасывает, так что можно со стулом по сараю не ерзать.

Комар по причине волос дотянуться, куда хочет, не может и поэтому потихоньку утаптывает их и вот-вот воткнет свой достигающий хоботок.

Вадя на него дует, и комар неспешно отлетает, но собирается опуститься снова, так что Вадя стягивает рукав рубашки — и комара как не было, а через малое время Вадя видит семенящую по тропинке ихнюю трясогузку. Рядом с ней — тюр-люр-лю! — бежит ее тень. Из птичкиного клюва что-то свисает. Похоже, ноги примерявшегося к Вадиной руке комара.

Еще он видит помывшую крылечко и распрямляющуюся жену своего брата. Распрямляясь, она производит всё сразу: сбрасывает юбку, поправляет куда надо груди, откидывает, как лучше, волоса, а босые ноги вытирает о зеленую траву, которая возле сырой ступеньки.

А при всем этом еще и глядит на него.

Потом, выкрутив тряпку, идет вешать ее на лохматую веревку ближе к сараю и при этом говорит: «Лето уж вон совсем лето, а ноги до сих пор белые — не прихватываются. Я когда от работы в домотдыхе была, приехала загорелая, грудь прямо кололом! — А потом добавляет: — Ты отдыхаешь, что ли, Вадик?» И, чтобы расположить мастера к разговору, интересуется: «Чего сегодня изготавливать будешь — фрикционную втулку? Давай хоть сперва в шашки сыграем, а то я полы помыла и теперь делать нечего...»

Тихо скрипит калиткой, под скрип пуская нежданчика, дед. Радуются его появлению старые яблони, особенно которая с красными яблочками. Деревя всегда примечают возвращающегося деда и радуются, потому что любят его. Однако дед, под ухающую в парке маршевую музыку подходя к калитке, на них не смотрит, а глядит на отпаривающую в тазу ноги бабку, которая невесть за что может исказить человека. Но, кажется, ноги бабке отпустило и «дедушко пришел» — только и говорит она...

В сарае расставляются шашки. Белые — из коровьей кости со свинцом, темные из сургуча. Одной белой нету, поэтому ее заменяет пуговица. Коровьи шашки не в пример легким сургучным раскладную картонную шашечницу держат в прижатии. От калитки долетает дедово: «Вадька, я тебе какую-то навертяйку возле графских овсов нашел...»

Сидят они, играют. Она на камаринский мотивчик все время напевает «полюбил меня красавец-водовоз». Давай, Вадя, ходи! Дальше должно быть «положил меня на лавку и таво-с!», но этого она не поет, а Вадя и так может с детства знать, про что дальше...

Кофта на ее груди здорово не прилегает. Сильно виднеются выпуклые верха белых грудей. Вадя неспокоен — тревожится, что вот-вот отбросит тень, и, двигая стул, ерзает... В голове его мутно, как после показа Москвы. Еще он поглядывает на невестку и, хотя та целыми днями только и знает, что отбрасывает тень, ни одной корпускулы, похоже, от нее не убыло.

Из-за этой мысли слабая его голова, как давеча на свалке, вот-вот начнет отъединяться, а она говорит: «В уборную тебя заперла! И куда ты, Вадя, смотришь?» А он сейчас смотрит поверх нее на поблескивающий в сарайных дверях пляшущий столб мух-толкунцов.

«Фук, Вадя! Опять фук! — Она снимает с доски бестолковую пуговицу и с женской улыбкой победно ловит растерянный его взгляд.— Ты, Вадя, какой-то некультяпистый прямо!».

А между тем на опилочном полу возникает слабая Вадина тень. Тихая такая, сарайная, непонятно откуда взявшаяся и едва заметная из-за небольшого количества корпускул...

Господи! Где они теперь, корпускулы эти?

*Санта Маринелла. Июнь 2000.*

Игорь ТИМОФЕЕВ

---

## Лопотухинские хроники

**В** начале 90-х, наверное, в последнем бесплатном приступе, власти отдали лесистый участок в 150 километрах от Москвы около городка Лопотухино под участки десятку-другому непрестижных «почтово-институтских» организаций и контор, а также последним невымершим ветеранам Великой Отечественной.

Так родилось объединение, состоявшее вперемешку из участников одной войны и потерпевших от развала СССР, всю жизнь честно проработавших на ожидаемую следующую...

При дележе земли на общем собрании садовников НИИБУМ-ВОИН — так в названии выявили суть — разгорелись жуткие ссоры и склоки. Масла в огонь подливали «независимые эксперты», тайком от правления побывавшие на месте и теперь кричавшие, что пятая часть разбитых участков приходится на болота, а еще такая же часть — на границу огромного старого мелиоративного оврага, что перерезал будущий дачный массив наискосок на всю длину.

И это была правда. Хотя само место под участки было довольно высокое, даже деревня в трех километрах от них называлась не случайно: Косые Горы. А болота местного значения появлялись в низинах такого же местного значения исключительно за счет глинистой почвы, которая слабо пропускала воду. Но попавшим по жребью со своим участком в болото от этого, естественно, было не легче.

Кстати, один из членов ревизионной комиссии правления первого созыва, дама, прозванная впоследствии «земляной бабушкой», даже обнаружила, что глина эта — так называемая «белая», и выбрала себе не самый лучший участок, а тот, где эта глина выходила на поверхность. Она мечтала-думала, что это месторождение впоследствии обогатит ее, когда какой-нибудь новый русский задумает построить на ее десяти сотках заводик по производству знаменитого в будущем лопотухинского фарфора.

Глина оказалась действительно белой, но не того качества, которое требуется для изготовления фарфора...

После этого удара «земляная бабушка» сдалась не сразу и следующим коммерческим начинанием пыталась продать на корню ольху со своего участка для изготовления качественной и дорогой мебели, которую, она слышала, делали именно из ольхи...

Итак, землю распределили, членам учреждения НИИБУМ досталось по два участка, членам правления — за их труды — по три и четыре на разные фамилии, но при этом один — по решению собрания — обязательно сомнительный, то есть на болоте или в овраге...

Родственники ветеранов получили по одному, так как были как бы привеском к бедному, но все же солидному институту.

Но вообще-то, честно говоря, мало кому тогда нужны были эти участки для освоения. Все ждали таинственных капиталистических будущих времен и набирали последнее даровое от советской власти впрок, думая, что уж землю-то по всем статьям и всемирному опыту всегда можно сбыть с последующим наваром...



При жеребьевке родившиеся под несчастливой звездой получили свои десять соток в виде ямы оврага, а совсем неудачники — в болоте местного значения.

Попервости, правда, некоторые все же ринулись осваивать свалившееся садовое счастье. Даже те, кто уже имел участки, полученные пораньше и поближе. Но энтузиазм быстро угас, у многих сразу после первой поездки на место, особенно у тех, кто не имел автомобиля.

Добираться приходилось долго. Очень долго: четыре-пять часов. Электричкой до областного центра, оттуда одним автобусом до городка и еще одним, редким местным, от городка до дачного массива. Правда, существовал еще автобус-экспресс, отходивший от последней станции метро города и доезжавший до городка часа за два с половиной, но не всем он был по карману, да и ездил не часто, поэтому еще и с билетами получалась по выходным напряженка.

И всем, даже счастливым обладателям высокого сухого места, открывалась взору непроходимая чаща разнокалиберных кривоватых деревьев, состоявшая преимущественно из нестройной ольхи, иногда в лучшем случае с вкраплением нескольких осин, а также черемухи, рябины и кустарников дикой малины и смородины, невесть как сюда попавших. А на болотистых местах почему-то росли березы.

Участки были разграничены еле видимыми колышками с желтым верхом и с совсем уж неразличимыми цифрами. (Некоторые, следуя тайным желаниям и собственническим инстинктам, тут же их тайком переставляли, оттяпывая за счет пока мифических соседей лишние метры никому, казалось, не нужной чащобы.)

А из городка или поселка городского типа — кому как нравится — на новых пионеров сразу с первого приезда начали охоту умельцы-шабашники. Первый эшелон их состоял из самых отчаянных, забубенных алкоголиков, которые брались лепить предварительные постройки из подручного материала, росшего на месте, за несколько бутылок водки.

Многие на свою голову соглашались...

В организациях побогаче нанимали трактористов, которые так спьяну лихо утюжили все вокруг, что это напоминало театр военных действий. И после них оставалась серо-коричневая, как с содранной кожей, земля со страшными завалами корней по границам...

Поначалу некоторые в НИИБУМ-ВОИН сами или с помощью алкоголиков собирали каркасы из более-менее прямых ольховин со своего и соседних участков. Но это оказался, как говорили профессионалы, действительно нестройной лес. Ольха, высыхая, очень быстро трескалась (те же знатоки утверждали, что этого не происходит, когда дерево срубают и обдирают кору не в строительный сезон — весной и летом, как поступают все, а только осенью и еще лучше в мистический момент полнолуния). А нижняя часть ольхового каркаса и бревнышки, на которые он ставился, вообще очень быстро гнили и превращались в труху.

Поэтому среди активных и способных таскать тяжести «пионеров» началась настоящая охота за не очень толстыми (чтобы можно было дотащить вдвоем-втроем через буреломы) осинами.

Все это напоминало сказку про трех поросят с их строительным бумом.

Вот энтузиаст Паша, а в будущем и постоянный житель, по жеребьевке получил выгодный сухой участок, к тому же на окраине, с подъездом почти к самому дому.

Ночуя с женой в старенькой «копейке» еще итальянской сборки и целомудренно завешиваясь занавесочками на окнах, днями он ударными темпами выстроил себе треугольную сараюшку, взяв за основу и обив три дерева, росшие рядом, спилив у них верхушки. И он (сарайчик) оказался в буквальном смысле краеугольным камнем всех его дальнейших грандиозных долгостроев, но об этом речь еще впереди...

А еще один выстроил дом буквально на песке. Он нанял трактор с ковшом, который вырыл ему огромный котлован, куда было засыпано целых два самосвала пе-

ска. И вот на эту подушку он положил бетонные столбы, на которых тянут местные линии передач, на них «венец» из осин и дальше вверх к небу — симпатичный домик из нового материала, купленного в облцентре, где цены на все свое местное были в полтора-два раза ниже, чем в Москве.

Многие видели первое время также большую такую бабищу — радиорежиссера, расхаживающую по своему участку с газовым пистолетом на мощном бедре и представлявшую себя, наверное, на Диком Западе. Она заказала шабашникам из ольхи каркас большого дома «б на б» аж с ломаной крышей. Но жадность фраера сгубила — каркас рассыпался на следующий год. И бой-баба охладела к ниибумовской земле и больше здесь не появлялась...

Один кандидат наук собрал домик также с ломаной крышей, похожей на крылья птицы, собирающейся взлететь, из старых дверей и рам. В Москве он жил на престижном Ленинском проспекте, где в новые времена бывшие коммуналки постепенно становились убежищами новых русских, которые при въезде все поголовно делали «евроремонт», выкидывая двери, рамы, паркет и прочее на помойку. Кандидат все это за зиму складывал у себя дома и в гараже, а по открытии дачного сезона перевозил к себе на участок.

Были и такие, как Коля, прозванный Колымским (он всю молодость и зрелые годы проработал-отсидел на Севере), и первый председатель товарищества Петроповский, очень похожий на Кашея Бессмертного из популярного некогда олимпийского мультфильма «Баба Яга против». Они оба являлись большими мастаками по строительству грандиозных воздушных замков.

В итоге у первого на его сотках года через три возник маленький дощатый домик без окон без дверей и то благодаря брату-дальнобойщику, который перевез материал на своем трейлере, и тестю, который этот домик предварительно собрал на своей даче.

А Колымский сначала рьяно взялся за дело: выстроил хозблок в виде маленькой пирамидки, натаскал отборных осин, обтесал их и соорудил солидный куб каркаса будущего дома. Но венцом его строительной деятельности стало сооружение длиннющего парника из тонких ольховин, которые он предварительно также старательно отобрал и обтесал.

В нем он собирался разводить цветы и на этом разбогатеть.

Из этого, естественно, ничего не вышло, тогда он подался шабашить в соседнее товарищество побогаче, но там его вскоре турнули за запои, и он уехал в Москву, где одно время занимался продажей свадебных платьев...

За это время участок его опять зарос травой выше человеческого роста вперемешку с новой порослью деревьев. Кстати, как и дороги, которые в свое время прорубали всем миром, причем с применением совершенно разных технологий.

Сторонники одной пилили деревья, оставляя пеньки, за которые потом должен был цепляться ковш трактора, чтобы вывернуть их с корнем. Другие срезали стволы под самую землю, утверждая, что оставшиеся корни будут держать грунт, не давая образовываться глубокой колее и ямам.

В итоге — всех победил лес.

Наверное, многие читали в детстве про исчезнувшие города. Но это было где-то там, в далеких заморских странах, в джунглях. А что и подмосковная природа обладает поразительной живучестью и буквально все растет на глазах, с этим, наверное, многие горожане, получившие здесь участки, столкнулись впервые. Уже через два года от прорубленных дорог остались только еле заметные тропинки.

Но были и такие, которые сразу заложили коттеджи, более подходящие к местам в районе Рублево-Успенского шоссе.

К ним относились бывший главный бухгалтер института НИИБУМ, отгрохавшая мощную крепость на высоком «ленточном» фундаменте, хорошо смотрящемся в обступившем его лесу.

И бывший, кажется, главный инженер «ЗИЛа», у него было преимущество как у энтузиаста-аборигена Паши, только с другой стороны массива. Там также имелся

хороший подъезд — с поля. Так он с соседом развернулись на славу — заказали пробурить скважину на двоих, пользовались для освещения и работ движком-генератором и оба имели твердое убеждение, что только так далеко надо иметь и строить дачу. «В пределах ста километров от Москвы все загажено и с каждым годом будет все хуже. Какая же там будет дача?»

И, наконец, сапер Иванов... Единственный сам настоящий ветеран, а никакие-то там родственники и дети. К тому же жизненно заинтересованный в освоении своих соток.

Вот он-то выстроил поистине уникальный дом.

Но сначала, не нанимая никаких тракторов и врагов родной земли — местных пьяниц-трактористов, он, как в Великую Отечественную против немецких танков с винтовочкой, вышел на ольху на своем участке с построенным им самим агрегатом для выдергивания огромных деревьев с корнем. Это было что-то среднее между лебедкой, мельничными жерновами и чертовым колесом.

Через некоторое время благодаря чудесному аппарату (выкорчевывать деревья, подрывая корни топором, приваренным к лому, — поистине адский труд) освободилось место для постройки дома.

И ничего при этом не пропало даром. Корни разрубались и сжигались для обогрева и готовки. А деревья, даже самые замысловато-кривые, шли в ход как строительный материал по уникальной забытой древней технологии. Они распиливались вручную лучковой пилой на бревнышки длиной примерно в шестьдесят сантиметров, обмазывались глиной и из них собирались стены, как из кирпичей.

Все это делалось спокойно, неторопливо, обстоятельно, может быть, с молодой точки зрения раздражающе медленно, но безостановочно и монотонно. Такая работоспособность человека 1923 года рождения, прошедшего всю войну, поражала.

Потом по такой же технологии была сложена печка, и только на пол и потолок пошли доски, купленные в местном РСУ...

Надо еще добавить, что освоение новых земель «бум-воинами» начиналось в самый комариный сезон: конец мая — июнь. Меньше страдали получившие открытые участки у поля. Для других это был сущий ад.

Вот рассказ одного из этих бедолаг: «Это были не комары: камикадзе-терминаторы. Они набрасывались на тебя тучами, как только ты подходил к лесу. И вместо убитых тут же налетали новые. Тонкая ткань, типа тренировочного костюма, конечно, не спасала. Приходилось сверху надевать рабочую робу, а голову укрывать убором, которым пользуются сборщики меда. И это — в тридцатиградусную жару! Больше часа не выдержишь, начинаешь перегреваться. Тогда идешь в палатку, заdraиваешь все щели и раздеваешься догола для охлаждения и чтобы перевести дух. Правда, когда порвешь траву на участке, их становится значительно меньше, да и постепенно к ним привыкаешь и перестаешь обращать внимание на укусы...»

Форпостом государства НИИБУМ-ВОИН по отношению к соседям из других садовых образований выступала баба Нонна, прозванная недругами-старожилами «лесной бабушкой», которая зорко блюла корпоративные интересы родного товарищества.

Дело в том, что те, как старожилы, уже привыкли рассматривать лес за околицей своих участков как свой собственный и запросто по привычке продолжали шастать туда даже тогда, когда местность эта была поделена на прямоугольники и уже имела новых собственников.

Нонна Николаевна умудрялась отслеживать каждое спиленное бревно и устраивала несуну такой скандал-склоку, что вскоре мало кто решался на воровские вылазки. Три первых года, начиная с марта и по ноябрь, спала она на своем участке в дырявой, старой палатке, утепленной сеном, а при особо крутых минусовых температурах грела на ночь в костре два кирпича и подкладывала их под себя. Основным блюдом в ее рационе выступали бычки с местного пруда, которые ела не каждая кошка и которых приносила ей вся окрестная детвора.

Первый ольховый каркас, который ей слепили шабашники, она в зиму застравала и, когда он по весне, как и у телевизионной режиссерши, развалился, пыталась получить за него страховку. Но ей объяснили, что деньги не выплачивают за естественные процессы, вот если бы он сгорел... Тогда она заставила пьяниц-шабашников сделать ей новый. И они на это пошли, вспомнив историю с рубероидом...

«Лесная бабушка» приобрела его для своей крыши в количестве четырех рулонов и закопала в сено под себя.

А как раз в это же самое время в деревню Косые Горы вернулся из заключения один бывший хулиган и дебошир. Несколько дней он «гулял» с корешами, а когда деньги кончились, подался в садовое товарищество ранним утром выменять полмешка картошки на бутылку водки.

Это ему удалось, так как многие предусмотрительные строители новой дачной жизни всегда держали заначку для таких вот взаимовыгодных обменов.

Опохмелившись тут же, бывший зек стал шататься по лесу в поисках выхода, набрел на Ноннину палатку и, обнаружив отсутствие хозяйки, решил пошуровать на предмет огненной жидкости. Но обнаружил вместо этого рубероид. Недолго думая, он прихватил два рулона и понес предлагать их соседям.

Потом вернулся за оставшимися двумя и перепрятал их. Вечером он приехал с дружком на мотоцикле, но изъять перепрятанное не получилось, так как Нонна уже обнаружила пропажу и поставила на уши всех в округе.

Зек бежал, но он еще не знал Нонны. Та поехала в городок, обратилась в милицию, поставила и там всех на уши, и те **нашли** (!) два ранее украденных рулона.

Да... Тогда все признали, даже бывший зек Колымский, что милиция городка работает не хуже ГАИ, видимо, у них, как это говорилось раньше, — соцсоревнование за звание лучших людей в погонах. В НИИБУМ-ВОИН даже приезжал, потратив собственный бензин, молодой капитан, бывший афганец, и вежливо всех допрашивал. А потом за показаниями исчезнувших свидетелей ездил даже в Москву...

Косогорского уловника быстро вычислили, но он все отрицал и говорил, что продал собственные два куска. Тут-то ему и пришел конец. Оказывается, «лесная бабушка» пометила своей фамилией все четыре рулона и таким образом опознала рубероид. Бывший зек получил пять лет, а Нонна Николаевна славу особы, с которой лучше не связываться...

Случались в товариществе и настоящие любовно-романтические истории. Некто Кораблев, бывший боксер, а по лопотухинской жизни пройдоха и бабник, много сил потратил, чтобы перепродать свой и участки сотоварищей всяким темным кавказским элементам. У него ничего не получилось: никто не хотел связываться с такой глухоманью, к тому же без коммуникаций, без света и воды.

Но зато он поимел любовный и бескорыстный роман с некоей Леной — молодой разведенкой, имеющей выдающиеся женские прелести и десять соток в самой потаенной, глухой и укромной середине дачного товарищества, на границе с оврагом. Добраться туда можно было только днем извилистой тропинкой, проложенной бывшим боксером.

Он так в нее влюбился, что выстроил ей дом, забыв про супружеский и строительный долг перед детьми и женой, которых — с глаз долой — поселил в летний период в упоминавшуюся деревеньку Косые Горы.

Это был подвиг, и до сих пор остается загадкой, как он смог перетащить материал для стен, крыши и так далее в такую чащобу.

Наконец, любовное гнездышко было выстроено, но тут лесная дива Лена выкинула фортель: дала от ворот поворот пожилому Ромео.

Как раз в то время по дачному лесу бродили два молодых красавца-хохла в поисках работы и ласки. И только взглянула на них истосковавшаяся Лена, как сразу же все стало ясно, и поселились богатыри-красавцы в лубяной избушке, и по ночам слышны стали страстные крики даже в городке Лопотухино...

Еще были две веселые молоденькие художницы, которые утверждали, что не променяют этот рай ни на какие обжитые дачи родителей, и сначала, первые годы,

жили на своем участке, как «лесная бабушка», в палатке, да еще вместе с котом и собакой.

Потом родители все же выстроили им какой-то сарайчик, но художницы перебирались туда исключительно в плохую погоду.

Поэтому колебалось воздушное пространство над НИИБУМ-ВОИНОм в летнее время почти каждую ночь. От художниц слышались смех, звон гитары и горел до рассвета костер — там кучковалось все молодое местное население с соседних садовых товариществ. А из дремучей глубинки доносились звуки вакхических игр веселой Елены и ее неразлучных приятелей...

А энтузиаст Паша вообще здесь «прописался». В Москве он был рядовым телевизионным мастером и последнее время в связи с массовой закупкой населением импортных, практически не выходящих из строя телевизоров остался без работы.

Здесь он буквально переродился.

Участок, полученный на папу-ветерана, оказался как нельзя кстати. Паша понял, что мечтал об этом всю жизнь.

Начал он, как уже упоминалось, с треугольного сарайчика, который потом оброс еще одним, затем к нему прилепилась еще постройка. Со временем появились гараж и курятник и был заложен огромный фундамент дома «8 на 16», который сейчас почти закончен.

Так как Паша жил здесь чуть ли не круглый год, его знали почти все лопотухинские мужики. Одно время в его сарайчиках был даже своеобразный мужской клуб, пока всех не разогнала жена. Здесь подолгу жили и пьянчуга Колымский, и неутешный пожилой Ромео — Кораблев, так и не выстроивший собственного жилища «для дома для семьи». Пользуясь знакомством с трактористами, шоферами и крановщиками из городка, Паша потихоньку, растянув это на несколько лет, выстроил свой дом из бруса и с оцинкованной крышей за смешные по московским меркам деньги — пять миллионов рублей — меньше тысячи долларов до кризиса. (А деньги на строительство добывала жена, работающая парикмахером в модном салоне и не устающая ездить каждые выходные в такую даль.)

Постепенно все, кто «заболел» этим далеким местом на окраине Московской области, кто как умел обустроились. Даже Нонна наконец перебралась из палатки в домик, обшитый «горбылем», но зато с терраской.

Рядом с ней построила дом еще одна не очень старая женщина, у которой появилось аккуратное обиталище, обшитое уже вагонкой. Оно ей обошлось дорого по местным меркам — в тысячу долларов. А около него разбита аккуратная клумба, огороженная заборчиком из водочных бутылок, подбрасываемых милым другом женщины.

Есть у нее и беседочка, где собирается посудачить и попить чайку, когда нет комаров, весь местный женский бомонд...

Ивановский же дом сейчас очень аккуратный и радостный. Он нашел себе подругу — бодрую сухонькую старушку, которая обмазала домик глиной, так что он стал ровненьким и чистеньким, покрасила в синий цвет наличники на окнах. И развела в огороде такой урожай, что им с Ивановым хватает питаться заготовленным всю зиму...

Паша на женины деньги купил еще один участок, покорчевал там деревья, засадил его весь картошкой и даже построил еще один домик.

И вот появились здесь уже не только те, кто занесен сюда, так сказать, судьбой и даровыми сотками.

Еще одна женщина купила участок за два миллиона рублей (за две тысячи новыми) с оформлением и наняла строить шабашников (не пьяниц) дом «5 на 6» с каркасом из мощных осин (их-то в массиве осталось много, так как перетаскать на месте такие можно только с помощью гусеничного трактора). За лето она вырастила на участке с десяток кабачков, килограммов пять морковки и несколько роз и безмерно этим довольна...

А сын ее так вообще завалил Нонну бычками и ни о каком другом отдыхе в школьные каникулы слышать не желает.

Так что же тянет сюда этих людей? Ведь если сесть и посчитать скрупулезно все расходы, на дорогу и так далее, общие затраты сил и времени, то оказывается, что совсем невыгодно было все это затевать и, быть может, стоило подождать, накопив и поджавшись, до покупки дачи по пресловутому Рублево-Успенскому шоссе?

Но так рассуждают очень скучные люди.

Ведь даже приезжающими сюда в гости чувствуется какая-то непонятная магия и чистота этого места.

И не даром экологи посчитали эти же места самым здоровым районом Подмосковья, и сам президент имел недалеко отсюда свои охотничьи угодья и одну из резиденций...

И потом, разве не так осваивались сначала неоткрытые материки и острова, а потом и космическое пространство?



Лариса БЕРЕЗОВЧУК

## Естественный отбор

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Безусловно, сам процесс чтения — подарок цивилизации. *Желание читать* — т. е. осознанное предпочтение этого информационного канала другим — возникает и сохраняется на всю жизнь лишь в том случае, если хоть раз появилось сложно вербализуемое, радостное и захватывающее чувство. Назвать его «расширением масштаба личности читающего и горизонтов его сознания» — все равно будет неточным. В основном это происходит за счет раскрепощения — со- и подлинно творческого — психологических механизмов представления и воображения.

Изображение намного проще, доступнее, потому что в значительно меньшей степени вызывает к сотворчеству: акт чтения требует прежде всего *внутренних психологических усилий*, а рассматривание картинки есть в первую очередь *контактное внешнее действие*. Такова, как мне представляется, основная причина победного шествия визуальности и, как следствие, одна из причин утраты художественной литературой своей роли в жизни людей.

Поэтому в моих размышлениях многое связано с феноменом чтения.

В статье Михаила Берга «Вторая попытка», посвященной прецеденту восстановления андеграундной в прошлом премии Андрея Белого, читаем: «...Кризис современной литературы вызван не только тем, что она осталась без читателя, дочитавшегося в свое время до оскомины и теперь обнаружившего, что жить ему интереснее, чем читать. Да, некогда роскошный и разнообразный субтропический материк отечественной словесности почти в одночасье превратился в плохо различимый островок размером с сухое колхозное поле».

Есть известная доля лукавства в этих суждениях, и не зря автор трижды обращается к лексеме «читать». А я еще специально усилила «лукавство», добавив четвертую.

Одна сторона «лукавства» заключается в том, что *художественная значимость и ценность литературного произведения последовательно подменяются репутацией автора в культуре*. И подмене мешает именно чтение, устанавливающее эстетические качества «вещи» или обнаруживающее их полное отсутствие в ней, несмотря на репутацию, ведь последнюю можно создать, выстроить, тем более «раскрутить» самыми разными средствами, и писать для этого роман или поэму вовсе не обязательно.

Другая сторона «лукавства» состоит в игнорировании двух — общеизвестных — моделей чтения, каждая из которых по-своему формирует вхождение читателя в тематический и образно-эмоциональный строй литературного произведения. При этом четкой границы между моделями не существует — при доминировании какой-либо из них в акте чтения все равно частично «работает» и другая. Так вот: одна модель ориентирована на восприятие текста как картины другого, «чужого» мира, к которому в реальной жизни человек приобщиться в принципе не может. Вторая же модель почти впрямую предполагает эмоциональную сопричастность читателя тому, о чем идет речь в произведении — «зеркале» его собственного существования и вполне реальных жизненных проблем — нравственных, психологических, социальных, бытовых в конце концов.

Различия в этих моделях чтения ярче всего проступают в литературе для детей: с одной стороны, существуют книги о детях, рассчитанные на самоотождествление читателя с персонажами, и с другой — приключения, фантастика, исторические романы. По мере взросления на первый план обычно выходит вторая модель и ей соответствующая литература, хотя в обществе не исключены ситуации, когда всеобщую популярность обретает — для взрослых уже эскейпистская — первая модель.

И если вспомнить, что школьная система образования традиционно поощряла — даже насаждала — только вторую модель, а дальше свою лепту вносила малопривлекательная советская действительность, то можно понять, почему отечественный потребитель литературы долгие годы бросался в чтение как в омут. *Жить всегда любили больше, нежели читать.* Иное дело, что многие вопросы непозволительно было задавать вслух, не говоря уже о получении на них ответа. Поэтому массовая читательская аудитория, похоже, действительно отвернулась от авторов с амбициями «людоведов» и «душелюбов», начитавшись их дидактичных, насквозь политизированных опусов до оскомины. Что правда, то правда.

За очень короткий срок почти все население нашей страны начало читать исключительно для собственного удовольствия, на что, как известно, у взрослого человека остается мало времени. Вопрос в том, что предпочитают читать. Ожидаемой фундаментальной переориентации в сторону первой модели для взрослых читателей (а она программировалась популярностью эпопеи Дж. Р. Толкиена, широчайшим распространением фэнтези, такими произведениями, как «Имя Розы» У. Эко, «Парфюмер» П. Зюскинда, и др.) так и не произошло. Все закончилось отечественными боевиками, детективами и «чтением для дам», потому что во всей своей красе «чужая жизнь» появилась на телеэкранах в упаковке «мыльных опер». В них повествование отчетливо ориентировано на структуру романа. Очередные «богатые тоже плачут» начали утолять голод потенциальной многомиллионной читательской аудитории на «чужедальной» социальной экзотику, восприятие которой организовано точно так же, как чтение исторических сериалов В. Пикуля. Так что дело не в отказе от любви к печатному слову и не в пресыщенности наших сограждан сочинениями отечественных и зарубежных авторов.

И в этом — третья сторона «лукавства» М. Берга. Коль скоро в печально памятные времена автора «насиловали» пассажем, а несчастных читателей для появления перманентной оскомины кормили исключительно лимонами или клюквой, то какой толк современным авторам умиляться новому — вроде как литературному — истеблишменту и радостно взирать на неизвестно кем «иерархически выстроенную пирамиду репутаций», подыскивая в ней местечко для себя? Ведь речь-то идет не о книгах, которые кто-то будет читать, а о социальном ранжировании. А построение социальных структур — дело политиков. Как показывает исторический опыт, подобными вещами заниматься следует настолько виртуозно, чтобы не оставалось вещественных доказательств типа текста.

Текст и прочитать могут.

Читая со сцены свои стихи, автор-поэт переходит в некое иное качество-изменение.

Не зря считается, что актеры-декламаторы (за редчайшим исключением) читают современную поэзию хуже, нежели авторы-поэты. Актеры или «раскрашивают» голосом стихотворение, игнорируя при этом неповторимую авторскую интонацию и особенности произнесения сугубо стиховых элементов (трактовка акцента, стихораздела, знаков препинания, органическое существование в какой-либо системе стихосложения и др.), или «играют» поэтический текст как роль.

Когда же сам поэт читает свои стихи, в некоторых случаях чтение настолько характерно, сложноорганизовано, что начинает выполнять текстообразующую роль. Похоже, в пору говорить о сдвиге в поэзии артефакта из письменной фиксации (текста) в устную форму (произнесение). Так было на фестивале «Москва — Петербург», когда свои стихи читали Лев Рубинштейн, Владимир Кучерявкин, Генрих Сапгир (выступление в Москве), Александр Горнон.

Мне кажется, что в повышении художественной значимости реально звучащего стихотворения в сравнении с его письменным текстом проявляется своего рода защитная реакция искусства поэзии на культурный контекст, в котором оно сегодня вынуждено существовать. Этакая «самооборона» поэзии.

В истории западной цивилизации художник-автор и продукт его творчества (артефакт) всегда стремились к уникальности, уповая на дороговизну «ручной работы». Искусство не терпит стандарта, единообразия копий, неизбежно возникающих при тиражировании. В конечном итоге многомиллионные тиражи — одна из форм на-



ступления массовой культуры на искусство слова: ведь «текстов» можно напечатать столько, сколько нужно авторам для удовлетворения амбиций и издателям для получения сверхприбылей. Сегодня все — при желании и наличии средств — могут опубликовать свои прозаические и поэтические опусы. Толку! Не потому ли в Москве сейчас существует (по данным апрельских выпусков «Литературной жизни Москвы») 13 салонов? Наверное, интуитивно коллективное сознание литераторов ощутило потребность в активном «живом» существовании искусства слова. По этим причинам оно сейчас стремится спрятаться от распродажи в уникальности художественного события (авторское чтение-исполнение) или в еще малодоступном и непривычном для многих читателей Интернете.

Действующий перед публикой в зале автор-человек с грузом персонального его неповторимого опыта — не бумажка с текстом: все это делает звучащий голос поэта чем-то большим, нежели «простой» акустический феномен — богатым, образно (или смыслово) емким, художественно выразительным.

Попробуй-ка его «размножить», ничего при этом не потеряв!

Для своих родителей в раннем детстве я, наверное, была ребенком-чудовищем — шкодливым, агрессивным и настойчиво требующим к своей персоне внимания. Что, впрочем, естественно: если занятые с утра до вечера работой взрослые не находят времени для общения с отпрыском, то он будет рад найти себе собеседников в лице дядечек-милиционеров и тетечек из районной детской комнаты милиции, куда я в возрасте от трех с половиной до четырех с половиной лет регулярно, с частотой как минимум раз в неделю, попадала. А почему бы и нет, если там меня всячески забавляли — разговаривали, давали игрушки, даже показывали диафильмы.

Так было до тех пор, пока родители не наняли няню, чешку пани Марию. Как теперь я понимаю, исключительно ради того, чтобы настырный ребенок не приставал к ней с бесконечными вопросами и разговорами, она за один месяц научила меня читать по русскоязычным (а иных в украинских городах первой половины 50-х не было) вывескам над магазинами. Кроме того, сообразив, что буквы на вывесках дают ключ к любому тексту, я начала сама — сперва по памяти дома, а затем останавливаясь на улицах с альбомом для рисования, — карандашом копировать в нем начертания литер. Я, конечно же, не понимала, что осваиваю «азы» правописания на русском языке, а не на украинском; я не понимала, какие позже возникнут проблемы с несостыковкой «книжности» и «устности», да еще в условиях лексически близких языков. Но все вокруг были довольны: со мной уже проблем не было — я замкнулась на себе и книгах.

Можно представить себе, какой тогда в моей детской голове был языковой компот, если до восьми лет (период, когда активно формируется языковая способность) я жила в среде, где в речевой практике равноправными были украинский и его русинский диалект, венгерский, русский и чешский языки. Дома же разговаривали на центрально-украинском — т. е. на господствовавшем в качестве литературного языка — диалекте. Но читать-то я научилась на русском... Мои первые книги тоже были русскоязычными.

Дальше — и по сей день: конфликт письменного фиксированного текста и живой устной речи, похоже, сидит у меня на уровне спинного мозга. В творчестве всем своим существом (да еще в придачу характерологические особенности личности) я стремлюсь к устойчивости, к нормативности и универсальности в языковых высказываниях. Но приобретенная с детства определенная независимость и самостоятельность речевой практики от языковых стандартов все равно берет свое. Даже читая чужой текст, я со страниц воспринимаю говор. Стихи других авторов, чем-то меня заинтересовавшие, дома читаю вслух, не говоря уже о поэзии на других языках, — там я понимаю и переживаю только по слышимому своему голосу и напряжению связок, а не по «видимому» тексту. Из-за этого судить о творчестве какого-либо автора могу и берусь лишь тогда, когда послушаю его декламацию.

Ясно, что мой случай в определенном смысле патологичен. В норме так быть не должно: язык и речь двуедины. Но все мы знаем, какой резкий сдвиг в сторону аналитизма произошел в первой половине века во французском языке и чему в немалой степени способствовала практика поэтов-верлибристов, активно включавших в тексты элементы разговорной речи. А сейчас? Какие ожесточенные дискуссии в филологической среде вызывают первые изданные книги из запланированного пятнадцатитомного проекта «Словарь современного итальянского языка», едва ли не на одну треть состоящие из междометий и звукоподражательных фонетических структур?

Если не кривить душой ради чести литературного мундира, то нельзя не заметить, включив хоть на десять минут слух в общественном транспорте для восприятия речевого фона: и в современном русском языке начались сходные процессы. А при-

дешь в школу или посмотришь по TV передачи для юношества — уши вянут. И вовсе не от обценной лексики, с помощью которой деклассированный люмпен способен решать и бытовые, и социально-мировоззренческие, и метафизические проблемы. Здесь другое, принципиально важное для самого существования литературы письменной традиции: *речевая практика современного человека катастрофически начинает расходиться с языковыми нормативами для прозаического или поэтического текста.*

Музейность книжной культуры?

Несостыковка опыта чтения и опыта слушания?

Массовая тенденция трактовать текст не как семиотическую структуру, а как образную? — на эту тенденцию уже есть творческие реакции в направлении ФОРМА-ПОЭЗИЯ (туда же и я со своей «новой риторикой»).

Ослабление левополушарных функций коры головного мозга?

Ответов на эти — актуальнейшие для любого литератора — вопросы у меня нет. Подобные фундаментальные изменения в языковой способности всей нации могут быть вызваны комплексом причин. Но у поэта, прозаика или драматурга свой, как говорится, интерес: для кого он пишет? на «каком языке» он должен это делать? кто его сочинения в конечном итоге будет читать?

Хотелось бы пересказать (как можно ближе к первоисточнику) то, что мне в 1994 г. поведал мой знакомый — украинский филолог. Этот пассаж — об одной диковинной и, похоже, абсолютно невозможной в нашей стране экзотической форме приобщения молодежи, не связанной с литературой профессионально, к высокой поэтической традиции. Мой знакомый был на долгосрочной научной стажировке в Кембридже и знакомился с особенностями «культурного быта» в этом центре английской — и не только английской — университетской молодежи.

Однажды вечером британский коллега, с которым мой знакомый подружился, повел его, предварительно вручив дешевое карманное издание «Потерянного рая» Джона Мильтона, в какое-то развлекательно-питейное заведение: их на территории университета-города не счесть. Именно наличие томика Мильтона, а вовсе не возраст или кредитоспособность было пропуском в этот битком набитый юношами и девушками самого разного этнического происхождения небольшой бар — человек на 60—80, где, как ни странно, музыка не играла, а разговоры велись вполголоса. В гардеробе швейцар продавал точно такие же томик, правда, их цена была намного выше реальной. На стене висел в рамочке устав поведения в этом баре, но его читать не стали и пошли в зал. Парень у входа, выдав обом по жетону, выкрикнул для присутствующих их номера. В ту же секунду британский коллега замер на месте, прислушиваясь к тонкому девичьему голоску, который своей ритмичностью солировал на фоне тихого общего говора. Девушку трудно было найти взглядом, но в ее произношении чувствовался специфический акцент, всегда выдающийся представителей юго-восточной Азии. Затем он потащил моего знакомого к стойке бара, на ходу лихорадочно листая свою книжку.

— Вот! Видишь — вот! — показывал он пальцем на строфу. — Скорей ищи эту страницу. Молчи пока: слушай, какой сейчас будет номер. — И начал шарить глазами по бару.

Вдруг из дальнего угла — а зальчик был неправильной геометрической формы — раздался душераздирающий вопль «Сорок девять!!!», и огромных размеров бело-брысьый юнец явно скандинавской или тевтонской наружности истерическим криком начал скандировать следующую строфу под добродушные смешки привыкшей, очевидно, ко всему публики.

— Уф... Повезло... — облегченно выдохнул кембриджский профессор, — наши номера «шестьдесят четыре» и «одиннадцать». Ты первый, между прочим. Первым и выпьешь. А теперь следы вполглаза с текстом.

Как оказалось, в этом очень популярном среди университетской молодежи баре с момента его открытия была введена традиция: войти может лишь тот, кто принимает правила... наверное, игры. Но литературной ее — в строгом смысле — нельзя назвать: это что-то иное, больше из области культурной жизни.

Прийти может любой, но с книгой поэм Мильтона: довольно давно стихов других авторов здесь не читают. При входе он получает порядковый номер и сообразно ему включается в декламацию строф отнюдь, мягко говоря, не минималистских опусов великого английского поэта. Одной поэмы хватает надолго — весь вечер pop stop. Отчитав свою первую строфу, посетитель бесплатно получает кофе, небольшую порцию выпивки (сок, пиво, джин с тоником или прохладительные напитки) и нехитрое угощение (орешки, чипсы, бутерброд, мороженое) в традиционных для этой страны разумных объемах — раз в полтора часа (академическая пара, между

прочим!) в течение вечера. Тот, кто ошибся строфой или опоздал включиться в декламацию хоть на пять секунд, выходит из последовательности читающих вслух посетителей. В этом случае зазевавшийся лопух платит весьма солидный денежный штраф или целую неделю бесплатно работает на заведение уборщиком, мойщиком посуды, официантом. Чтения начинаются в 18.00 и заканчиваются в 22.30; раньше этого вошедший уйти не может. До и после этого времени бар работает как обычный: без стихов за все нужно платить, причем довольно дорого. И очень больших денег стоит право повеселиться в вечернее время, со стороны наблюдая за университетской экзотикой, заняв два столика на невысоком подиуме. Помимо гардероба, эти правила вместо стандартного ргисе-меню вывешены в витрине у входа. Хочешь выпить, провести время — заходи и декламируй Мильтона, а не хочешь читать — так поищи себе другое место...

— Ты представляешь, — говорил моему знакомому кембриджский коллега, — они перед Мильтоном за два года все пьесы Шекспира едва ли не наизусть повывучивали. Пьеса — месяц. Каждому по десять строк. За вечер иногда успевали дважды «Лира» прочитать, а комедии и по три раза прокручивались. А что здесь тогда творилось! Это же драматургия, а не эпос. Веселье было такое... К шести часам уже очередь выстраивалась с книжечками под мышкой — попасть было почти невозможно.

Ясно, что, увидев и *улышав* подобное, мой знакомый был потрясен. Но ни о какой профанации гениев национальной литературы речи быть не могло. Ведь вся эта разноязычная публика обязана была не только следить за текстом, но и знать его, чтобы вовремя вступить и прочесть свою строфу или десять строк. А многочасовое пребывание в поле могучего эпического ритма мильтоновских поэм! — он завораживающе действует на любого, кто способен ощутить демиургическую силу поэтического дыхания и мистику гармонии числа, максимально воплощенных в поэзии именно в пульсации ритмических приливов и отливов. Да что там говорить...

Я же позавидовала. Мудрые в своей островной изоляции британцы оказались отнюдь не консерваторами, гибко адаптируясь к новой культурной ситуации. Они поняли: нынче *за счастье читать своим голосом поэзию и ее слушать следует платить*. Иначе традиция искусства — возвышенно звучащего поэтического слова — умрет.

Хотелось бы взглядеться в лица читающих и слушающих «Потерянный рай» Мильтона в этом баре.

«По знакомству» мне удалось вволю поработать в Интернете. В наконец найденном сайте обнаружилось девять зарубежных исследований — коллективные и персональные монографии последних лет. Вот радости-то! Быстренько забив четыре дискеты, я, естественно, предвкушала, сколько интересного обнаружу, когда с чашкой чая усядусь за своей машиной.

И уже на рынке возле дома, где я покупала овощи и зелень, до меня дошло: да на что мне эти дискеты вкуче с Интернетом!

*Я же не могу с экрана читать!*

На дисплее без последствий для зрения я различаю и читаю только четырнадцатый кегль. А каким при подобной величине шрифта может быть объем строки? Ничтожным. При этом поле экрана обязательно должно вмещать полную неподвижную страницу: иначе — рези в глазах и утрата смысла текста. А потеря в естественной для меня скорости чтения!

Ох, как я разозлилась...

Хотя — куда ж деваться! — по структуре оглавления и что-то подглядев, почти наугад буду делать распечатки на своем стареньком матричном принтере. Так придется поступить с исследованиями; в работе не обойтись без знания новейших трудов. Но чтобы я чьи-то стихи читала, сидя в Интернете, — да в жизни этого не будет!

Читать художественную литературу — дело интимное: наедине — с глазу на глаз — ты и книга. А с компьютером — как это? На экране *любой человек видит* (а не только я по причине своей консервативности или природной тупости) в первую очередь *изображение* — картинку, а не текст. Дальше начинаются очень сложные преобразования самого познавательного механизма, который вынужден как-то адаптироваться к новым средствам донесения информации и иной форме ее материального воплощения. Известно об этих метаморфозах пока очень мало. А изображение, если можно так сказать, подглядывает за моими интимными взаимоотношениями с текстом.

До сих пор вспоминается то неприятное чувство, которое меня посетило при, казалось бы, самом обычном занятии: нужно было просмотреть в поисках образцов для анализа довольно большой массив теоретико-эстетических трудов русских сим-

волистов. Поскольку я не люблю работать со старыми изданиями, то заказ делался по основному залу гуманитарной литературы РНБ им. Салтыкова-Щедрина. Я даже предположить не могла, что такого рода сочинения символистов, бурно начавшие переиздаваться с середины 80-х гг. и закупаемые библиотекой столь высокого ранга в нескольких экземплярах, пользуются — иначе не сказать — бешеным спросом у читателя: почти весь «новодел» был на руках. В результате меня отправили в специализированный зал русской литературы.

Там незнакомому в лицо посетителю строго объяснили, как следует себя вести с раритетами. И действительно: экземпляры с дарственными надписями, экслибрисы частных собраний, настоящие маргиналии на полях (а какие руки чертили эти эпистолы!); между страницами труда Л. Эллиса «Русские символисты» обнаружился даже засушенный лепесток розы... В общем, настоящий — до экстаза в поджилках — рай для историков отечественной словесности и культуры.

У меня же заботы были иные, и нужно было входить в режим скоростного чтения. Замелькали страницы. Но из состояния специфически «отстраненной» напряженности, необходимой для продуктивной переработки текста при скоростном чтении, меня постоянно выводили подчеркивания и пометы на полях. Они мешали глазу и мысли сосредоточиться на том, что напечатано. Практически все книги мэтров символизма были испещрены пометками читателей, по-видимому, их современников, по-ученически выделявшие *самое главное, важное, субъективно значимое и ценное в осваиваемом опусе*. Признаюсь, я не в первый день работы осознала, что в своем большинстве мои выписки наиболее «темных» по смыслу мест совпадают с подчеркнутым. Именно в них авторы применяли специфический для символистского движения язык (в именах редуцируется предметная соотнесенность знака и «вещи» при произвольном и неограниченном расширении поля коннотатов). И вот здесь меня посетило то самое неприятное чувство, напоминающее скорее всего стыд: ты присутствуешь при насилии, но ничем помочь не можешь.

Ясно, что пометки делались не профессиональными учеными: даже в 20-е и до середины 30-х гг. гуманитарное знание не имело потребности (да и возможности) дистанцировано относиться к трудам символистов — они были тогда почти «современными». К книгам недавних «властителей дум» в России приобщалась весьма широкая аудитория читателей, которая закономерно не могла владеть *герметическим* по существу языком этих книг.

Судя по публикациям отечественных исследователей эпохи символизма (преимущественно филологов), проблема взаимоотношений в этом культурном движении между Dosti (авторами-мэтрами) и Idiotaе (профанами, непосвященными) вообще не ставилась: не считать же постоянно встречающиеся отписки-указания на «туманный смысл» символистских текстов научной формулировкой проблемы. Это принятое в медиевистике членение потребителей культуры напрашивается даже при первом приближении к ситуации, когда состояние языка в тексте разграничивает потенциальную аудиторию читателей на две — и в количественном, и в статусном отношениях — неравноценных категории — «образованных» и «простецов». Однако сегодня подобная аналогия покажется подавляющему большинству людей абсурдной по своей вопиющей недемократичности. Как это так? Владельцы дипломов о высшем гуманитарном образовании или попросту уткнувшиеся в общественном транспорте в газеты и коммерческие бестселлеры не в состоянии понять, о чем писали Белый, Иванов, Розанов, Соловьев, Мережковский, Гиппиус? Да ведь эти имена у всех на устах!

Наверное, не всё так очевидно, если человек, умеющий читать, не понимает неспециализированный текст на родном языке. И поскольку подобного рода текстов сейчас в культурном обиходе обретается великое множество, то не в трудах символистов — конкретно — дело, а в целеполагании пишущегося текста по отношению к читателю, его сознанию, его личности.

Сейчас появилось много «толстых» лакокрасочных журналов. Одно дело, если они, что называется, «модные» — типа «Vogue», «Cosmopolitan», «Elle» и др.: эти предназначены для разглядывания, из них праздный человек хоть какую-то полезную информацию почерпнуть может, да и картинки красивые. Другое же дело, если эта дорогостоящая полиграфическая глянцевость предполагает еще и чтение. В такого рода изданиях тексты обычно посвящены темам со специфическим душком, которые принято нынче называть — кем? по какой причине? — «актуальными». Кто их читает? Для кого они предназначены? В нищадской на глазах гуманитарной среде яркие «толстые» журналы иногда называют «прессой для богатых». Но это не так — я пыталась установить рынок сбыта таких монстров, как «Птюч», «ОМ». В связи с чем вспоминается история, происшедшая два года назад.

Я договорилась о встрече в вестибюле станции метро «Владимирская». Время — плавающее, потому что повод — деловой и необходимый, а человек едет с другого конца города, где добраться до метро бывает непросто. Жду двадцать минут, тридцать — не отойти покурить и почитать нечего. Начинаю рассматривать прилавков с прессой, сплошь уставленный разнообразнейшими цветными красотоми, в основном обнаженно-женского пола.

Словоохотливая продавщица среднего возраста тоже томилась от скуки. Я сразу сказала, что приобретаю ничего не собираюсь, а вот если можно, то погляжу что-нибудь.

— Конечно, конечно, — радостно согласилась она.

Увидев свежий номер «ОМ», попросила показать мне журнал. В лицо отшатнувшейся продавщицы как будто бросили медузу. Она осмотрела меня с ног до головы, с возмущением спросив:

— И вы, — подчеркивая брезгливость, — это будете смотреть?

— К сожалению, мне по роду деятельности приходится такое не только смотреть, но и читать, что, поверьте, намного неприятнее.

Я закрылась журналом, но рядом с моим ухом все время раздавалось гневное сопение. Но потом продавщица остыла. Лишь минут через двадцать она рискнула заговорить: тон был явно извиняющимся за неожиданный всплеск чувств.

— Вы знаете... Я так удивилась... Эти журналы такие дорогие, и их никто не покупает. И тут вдруг вы — как будто ничего другого посмотреть не хочется...

А вот здесь уже вскинулась я:

— То есть как «никто не покупает»?

— Так. Не покупают, и все.

— Может, из-за цены?

— Да нет. Издания о моде даже дороже, но их берут и уважаемые дамы, случайно забредаящие в метро, и молоденькие девушки, которым хочется быть самыми модными, даже парни и взрослые мужчины иногда покупают — на фотографии, наверно, посмотреть...

Сказанное продавщицей заставило меня задуматься о двух вещах. Первая: для какой аудитории предназначено это жизнененавистническое чтение? И вторая: кто добровольно выбрасывает такие немислимые средства на ветер, коль скоро на *это* реального читательского спроса нет?

Обычно на каждой станции метро встречается от двух до четырех прилавков с прессой. В течение месяца в разных концах города, иногда представляясь сотрудником сектора художественной культуры нашего РИИИ, я спрашивала у продавцов о сбыте журналов «Птюч» и «ОМ». Всего я охватила чуть более пятидесяти точек. Но везде ответ был стандартным: распространители приносят не более двух-трех экземпляров и обычно их забирают обратно с выходом нового номера. Журналы не просят посмотреть, их сразу покупают, как сказали продавцы, «странного» вида парни и девушки, категорию которых они затруднялись определить: «не бедные, но и не богатые, не клерки, не бандиты, не студенты, не телки, даже не свободные художники». Правда, это случается крайне редко.

Получается, что ничтожная аудитория у этих изданий все-таки имеется: у кого-то подобное патологическое видение мира идиосинкразии не вызывает. Так о чем тогда нужно думать: о тематической направленности журналов или о *специфике сознания* ничтожно малой группы их читателей?

Так проступил сугубо политический характер материала, скрывающегося под новомодной «актуальной тематикой»: деньги тратятся не ради прибыли, а ради идеологии. Это не сразу бросается в глаза лишь потому, что для подавляющего большинства наших соотечественников политические и идеологические факторы «по старинке» намертво привязаны к «социальности» и «классовости». Но времена, как известно, меняются... А если еще учесть почти немислимый заряд коммуникативной суггестивности, присущей пропагандистскому стилю «Птюча» и «ОМ», то было бы любопытно узнать, кем конкретно — какой структурой или группой частных лиц — на подобные цели выделяются средства.



## Храни боеготовность ЯЗЫКА

Среди многочисленных критических клише, характеризующих поэтическую речь, выражение «энергичные стихи» имеет вполне определенную привязку. Сразу вспоминается Маяковский, его решительный шаг по Тверской, протянутая навстречу градоначальнику Лужкову рука: «Отечество славию, которое есть, но трижды — которое будет!» Строки, вырвавшиеся из тенет стандартного стихосложения, брызжут молодостью и задором, и литературовед, восторженно восклицающий: «Какая энергия!», — не грешит против истины. Но разве только к творчеству *агитатора, горлана, главаря* применимо словечко «энергия»? Вопрос на первый взгляд кажется чисто риторическим: всякий хороший стих обладает способностью зажигать сердца, создавать невидимые поля высокого напряжения.

И все-же насколько допустимо связывать поэзию с линией электропередач (ЛЭП)? Если мы действительно хотим описать в критическом тексте некую реальность, а не заниматься переливанием из пустого в порожнее, приходится уточнять само понятие «энергия». Тем более что границы его сегодня проходят, возможно, вовсе не там, где пролегли вчера. Или, может быть, они уже стерлись и никакой энергии в произведении не осталось. Чтение — это сотворчество. Иногда — рутина: скучные лица корректоров выразят это лучше любых пассажиров. Эстетический эффект на стыке «читатель—текст» возникает каждый раз заново. Но в один прекрасный момент может и не возникнуть. Чернышевский сегодня не пробуждает никаких, даже негативных эмоций. Горьковский буревестник улетел за край света. Чеховский почитатель Лессинга постоянно падает в обморок. Это его личное дело. Конечно, существуют книги, к которым обращаются в самые разные времена. Но справедливо ли будет сказать, что своим долголетием они обязаны заложенной в них энергии? Давайте мысленно поставим эксперимент: подключим чудо-вольтметр к будущей народovolке, листающей в тишине дворянского гнезда роман «Что делать?» От страницы к странице стрелка ползет все выше и на каком-нибудь «Пятом сне Веры Павловны» зашкаливает. Теперь последуем за стрелкой во время чтения «Онегина». Глава первая: отклонилась на два-три деления. Глава последняя: дрожит около нуля.

На выставках актуального искусства разговоры о духовности картин — не новость. Вслед за Кандинским поэты цвета и линии предлагают доверчивому слушателю путешествие в дебри метафизики, имея в виду при этом вполне конкретную цель — убедить уважаемого покупателя, что раскошеляется он не напрасно. Однако в узком кругу доброжелателей звучат суждения иного рода. «Это ...!» — прокомментировал свою картину Н. («...!» лучше всего расшифровывать лирическим эвфемизмом Александра Введенского «потец»). О «композиции N 2» Н. заметил: «Это ...!». Ну а «композиция N 3» с вырезками из журнала «Penthouse» в комментариях не нуждалась. Потец — он и в Африке потец.

«Духовность» в наших рассуждениях легко заменяется «энергией». С тем же значением необязательной метафоры. И таких метафор в критике пруд пруди. Вспоминаю семинар Левитанского в Литературном институте в конце восьмидесятых, где в ходу было выражение «вещество поэзии». Здесь его больше, здесь меньше — поди разберись. Но из совершенно абстрактных разговоров рождались вполне конкретные требования к тексту — вплоть до размера и лексики.

Обратный ход — от конкретного бытования стиха к обобщениям — понятно, более труден. И потому, что в поэзии много чего есть. И потому, что «вещество поэзии» подвержено метастазам. Читает, скажем, артистичная Ры Никонова «вакуумный» стих:

ничего больше, кроме ничего

(показывает слушателям белый лист формата А4)

и ничего меньше

(показывает тот же многократно сложенный лист).

И это поэзия. Хотя для традиционного читателя несколько странная. Но, может быть, здесь дело только в привычке? Достаточно полистать антологию «Самиздат века», чтобы убедиться, что ничто не ново под луною, что явлениями на грани стиха и прозы, графики и литературы многие авторы интересовались еще со времен оттепели.

В поэзии много чего есть. Это факт. Но соблазн поделить стихи на высокие и низкие все равно остается. Тем более что сделать это нетрудно. Договориться, скажем, что стихи пограничных жанров питаются кармой падшего мира, «низкой энергией», а классических — высокой, и — пожалуйста в дебри схоластики. Впрочем, здесь мы уже побывали благодаря незабвенным опусам Константина Кедрова и вялым текстам метаметафористов. Постмодернизм при всех своих странностях сделал одно доброе, православное дело: лишил поэзию привкуса языческого гностицизма. Христианство, напомним, знает преображенную плоть и злых духов. Падение произошло не в низинах материи, а на вершине человеческого духа. Высокая энергия сама по себе мало о чем говорит. И хотя православие помнит синтез Григория Паламы, энергетический дискурс для большинства верующих остается тайной за семью печатями. А уж размышления об энергии, связанные с эстетикой, с проживанием стиха как таинства слова, открывающего тайну творения, и подавно.

И все-таки жаль совсем отказаться от метафоры «энергия». Ведь текст действительно может нести самые разные заряды. Слово способно даже убить. Тут вспоминается бронзовеющий Хармс, его высказывание: «Стихи надо писать так, что если бросить стихотворение в окно, то стекло разобьется». Энергия, локализованная в пространстве речи, вполне конкретна. Поддается анализу. И потому интересна.

Снова обращусь к «Записной книжке» Хармса: «Сила, заложенная в словах, должна быть освобождена. Есть такие сочетания слов, при которых становится заметней действие силы... Грубое представление этой силы мы получаем из ритмов ритмических стихов... Пока известны мне четыре вида словесных машин: стихи, молитвы, песни и разговоры. Эти машины построены не путем вычисления или рассуждения, а иным путем, название которого АЛФАВИТ».

От этих размышлений полшага до утверждения Всеволода Некрасова, что поэзия — это объективно сильная речь. «Речь» в данном контексте синонимична «энергии» и «веществу поэзии». Если каждая новая строчка слышит предыдущую, переключается с ней, а не с неким абстрактным содержанием, то стих дышит. И корабль плывет. Правда, на его пути встречаются подводные скалы. Современные любители поэзии уже имеют представление о sound poetry, vidual poetry, semiotic poetry, performace poetry, shaped poetry, typewriter poetry, concrete poetry, vacuum poetry, etc. Чисто механически к речевой реальности такую поэзию не привяжешь. Живущий в США поэт и редактор альманаха «Черновик» Александр Очеретянский относит все эти жанры к смешанной технике. Знакомой поэтической речи здесь и впрямь мало. Зато появляется множество разнообразных приемов, заимствованных у театра, музыки, живописи, техники... Их сочетание — своего рода «язык». Точнее, множество языков, не только демонстрирующих реалии индустриального общества, но и актуализирующих его ментальность. Новая «сильная речь» звучит в литературных салонах и — благодаря своей энергии — вырывается на оперативный простор. Ее используют в рекламных роликах и в СМИ, она завоевывает щиты рекламы.

И тут возникает отнюдь не праздный вопрос о границах, за которыми самый что ни на есть цепляющийся, остающийся в памяти стих превращается в навязчивый рекламный слоган, перестает быть фактом литературы. Конечно, современная поэзия в отличие от лирики ушедших десятилетий хорошо защищена от подтрунивания и иронического обыгрывания. В известном смысле контекст для нее не очень существенен. Стих может вообще без него обойтись, как это происходит иногда у поэтов говорной школы (которая придала речи тотальную осмысленность). На поэтических деланках происходит эстетизация обыденности, элементарных мыслей — не в смысле их простоты, а в смысле исходности, аксиоматичности, неделимости. И все-таки общая атмосфера восприятия текстов, «контекст контекста», чрезвычайно важен. В этом смысле показательны поиски филологического журнала «Новое литературное обозрение». В последнее время «НЛО», как справедливо отметил на страницах «Литературной газеты» В. Радзишевский, явно нравится играть в Серебряный век с его «Бродячей собакой». Иначе чем объяснить тягу устраивать презентации свежих книг и журналов не в библиотечных залах или в литературных салонах, а в глухом полуподвале без воздуха и света, облубованном подростковой тусовкой, — в московском клубе О. Г. И. Удовольствие, скажем прямо, ниже среднего — слушать стихи среди

жующей, пьющей и курящей публики на фоне реплик, разговоров и непрерывного хождения. Если к этому добавить гудение динамиков да знакомые запахи злачного места, то, кажется, быть сему месту пусту. В смысле новых поэтических интуиций и творческих открытий: ну поиграли — и хватит, по домам!

Наверное, по большому счету так оно и есть. Нельзя войти в одну реку дважды. Но все-таки в этом богомном, живом собрании, где неспешно потягивающие сок модные литературные акулы сидят в одной компании с влюбленными юнцами и слыхом не слыхавшими, что имярек — великий поэт, да и дела им нет ни до какого имярека, возникают очень важные для культурного сообщества обертоны. Поэзия испытывается на прочность уже не хармсовским методом бросания стиха в окно, а новым контекстом.

Какие стихи в самом деле могут выдержать непринужденную атмосферу молодежного вечера? Сработает ли здесь классический стих с поворотами к туманным далям и незнакомкам? Или здесь более уместна футуристическая поступь дорогого Владимира Владимировича? Или соц-арт?

На презентации книги Л. Рубинштейна «Домашнее музицирование» (М., «НЛО», 2000) ее автор решил сочетать свое чтение с музыкальными концептами приятеля, то игравшего на дудочке, то выдававшего что-то на электрофоно. Стихи воспринимались как музыкальная пауза наоборот. Рубинштейновские тексты — фрагменты обыденных, несколько устаревших разговоров с характерными отбивками: «Тише» или что-нибудь в этом роде — прекрасно стыковались и с музыкой, и с тем трепом, который на время утих. Одно дополняло другое. Яркий хеппенинг здесь был бы, пожалуй, ни к чему: он бы отвлек мирно беседующих на жестких табуретках друзей и воспринимался ими как очевидное вторжение в частную жизнь. В подвале клуба О. Г. И. нашли себе место нейтральная поэзия, чтение без нажима, без пафоса. Чтение, допускающее известную толику перца и соли, небольшой скандалчик, но всегда ориентированное на некоторую камерность и политкорректность, уважительность интонации.

Однако здесь и речи не могло быть о мистическом сквознячке, об умиленной душе и о судьбах русской культуры. Контекст определил текст. Стих оказался в данном ему энергетическом поле.

В других местах, понятно, силовые поля выстраиваются иначе. Скажем, в большом зале ЦДЛ самое место старым песням о главном. В библиотеке-фонде «Русское зарубежье» звучит не обремененная ностальгией по советскому прошлому регулярная, ориентированная на традицию поэзия. А в Георгиевском клубе властвует стих свободный, учитывающий интересы компетентного слушателя.

Судя по всему, атмосфера, среда в современной культурной ситуации становятся частью объективно сильной речи. В понятие «энергия стиха» могут быть включены и коллективный слушатель-читатель, та аура, которую он создает. Текст словно бы снова начинает звучать на фоне биения сердца (какое это сердце, уже другой вопрос).

Но, с другой стороны, как уже говорилось выше, стих может обойтись вовсе без контекста и мирно жить за кулисами литературной тусовки, в тихих заводях ни на что не претендующих литобъединений, в заархивированных файлах, в виртуальных пространствах Интернета. Недаром я выловил там такое, например, одностиишие Леоныда Виноградова: «Тропинкаприлиплакботинку»...





# Села муха на варенье, или Похвальное слово литературному редактору

Оппозиция «писатель — критик» стала предметом острых профессиональных дискуссий. Стороны тянут на себя одеяло: писатели хотят, чтобы их любили из любви к литературе, критики же полагают, что они теперь сами писатели, а что касается великой русской и так далее, то тексты рубежа тысячелетий делаются уже по совершенно новым моделям. Отечественный постмодерн, имеющий, как любое русское явление смутного времени, некоторый оттенок бессмысленности и беспощадности, смешал языки. В результате продвинутый критик ищет сопряжений между собственным текстом и тем, что он рассматривает, не в области суждений и оценок, но в области пограничных комментариев и вольных оркестровок. Мне, человеку, любящему писать о конкретных произведениях для тех, кто эти произведения читал или прочтет, долгое время казалось странным, как же так: собственный продукт критику важней, чем та литература, о которой он намерен говорить. А вот так. Критика ищет и обретает самодостаточность в пространстве между жанрами, где, как оказалось, и сидит искомый радужный фазан. Мне там, в общем, тоже неплохо. В каком-то смысле нам всем указан выход из положения, в котором долго застревала литинститутская проза: автор знает только литературу и литературную среду, поэтому он может сделать пару повестей про детство, а все остальное у него будет про собратьев-писателей. Ну у женщин, если они склонны к беллетристике, — еще про любовь. Новые критики, которые в своем новейшем критическом качестве тоже прозаики, реализуют право не выходить за пределы собственных жизненных контекстов. Им так положено по статусу: современное искусство говорит про то, как делается современное искусство. В этой специальной области сфера авторских интересов идеально круглая.

Между тем в литературном процессе присутствует фигура, которую смело уподоблю водяному знаку всякого опубликованного текста. Этот персонаж, ведущий жизнь, быть может, еще более бумажную, чем все другие смежники, обладает своими таинственными связями с миром — потому, что мир сам напирает на него посредством разнообразных и беспорядочных выбросов. «Редактор, как актер, проживает столько жизней, сколько рукописей проходит через его руки, — писала в юбилейном «Конференц-зале» журнала «Знамя» Елена Холмогорова. — Обширность собственных случайных познаний иной раз поражает: помню, как валили огромную сосну у меня на даче, и я стала давать советы, ошеломившие присланных из лесничества рабочих. Еще бы! Сколько было прочитано и отредактировано в перестроечные годы про лесоповалы...» Со своей стороны могу добавить, что, проработав десять лет в журнале «Урал», я стала компетентна, например, в маргинальных видах питейного дела. Знаю все: как при помощи поваренной соли и деревянной палки приготовить «Бориса Федоровича» (клей БФ), как правильно употреблять бутерброды с гуталином, что такое «коньяк с резьбой». Также обладаю теоретической подготовкой в области сантехники, неплохо представляю работу на токарном и металлорежущем станках. Особенно информативен для редактора так называемый черный самотек, где жизнь простодушна. Иногда становится обидно, что не существует специальных изданий для фиксации жутко многообразного опыта, что сваливается на голову редактора усилиями графоманов. Между прочим, в графоманских рукописях, помимо

картин непричесанной действительности, имеется и собирательный портрет самой литературы. Это не только народный лубок в духе старых добрых производственно-бытовых романов, но и лубочный Платонов, лубочный Кастанеда, лубочный Саша Соколов. В целом можно говорить о самостоятельном постмодерне, «перепиращем» литературу на язык менталитета. Литературный редактор, имеющий дело с изнаночной стороной писательства и читательства, в профессиональном одиночестве наблюдает этот феномен, достойный, быть может, многих докторских диссертаций.

Считается официально и озвучивается на всевозможных парадных мероприятиях, будто редактор — друг, советчик и добрый ангел литераторов, особенно тех, кто только вступает на стезю. Отношения маститого Короленко и молодого Горького рассматриваются как классика жанра. Между тем мне не раз приходилось выслушивать от писателей сожаления по поводу существования в природе литературного редактора — и, что характерно, высказывались те, кто особенно нуждался в дотягивании текста до ума. Не нужно строить иллюзий: между писателем и редактором, как между кошкой и собакой, существует изначальный, не зависящий от личностей, природный конфликт. Суть его в точности такая же, как и у конфликта между писателем и критиком.

Сегодня много и справедливо говорят о том, что оплата писательского труда не соответствует ни затраченному количеству, ни тем более достигнутому качеству. Действительно, если считать в условных деньго-часах, то автор прозы, не говоря уже о поэте, зарабатывает меньше любой уборщицы. Однако то положение, когда писатель вынужден продавать свой продукт намного дешевле себестоимости, не есть примета одного только российского дикого капитализма. Так происходит всегда и везде. Не сознавая своей обреченности, творец литературы хочет, чтобы ему зачитывался не только результат, то есть текст, но и сам процесс: так называемые творческие муки, психологические риски, болезненные комплексы нецененной гениальности и так далее. Драма в том, что по-другому литературу делать нельзя: само занятие требует и формирует совершенно определенный тип личности, до крайности ранимой и опрометчиво склонной рисовать в воображении картины грядущего успеха. В то же время писателю за вредность не положено даже пакета молока. С его точки зрения, и критик, и редактор — это равнодушные, «умственные» люди, которым почему-то можно лезть в его работу с ногами и в грязных ботинках, можно вообще перечеркивать все его усилия и слезы над милым, душою согретым вымыслом, а сами они неподсудны. Бабочка поэтиного сердца — вот элемент, который не может приниматься во внимание остальными участниками литпроцесса, если они, конечно, желают быть профессионалами.

Бедное сердце графомана не менее чувствительно, чем соответствующая мышца известного литератора. Вообще написать стихотворение или повесть так же опасно для жизни, как признаться в любви. Отослав в редакцию тщательно укомплектованную, свежайшего картона, чуть ли не печатными буквами напечатанную папку или сбросив по «мылу» вложенный во вкрадчиво-скромное письмо компьютерный файл, автор переживает все ощущения влюбленного, не знающего своей судьбы. Он не может жить повседневностью: в груди у него словно кто-то ходит на цыпочках, мысль о папке (файле), застигая посреди обычных дел, обливает жаром и холодом, телефонный звонок воспринимается не слухом, но всем сомлевающим физическим составом — так, наверное, ощущают когда-нибудь мертвецы беззвучную вибрацию труб Страшного суда. Делая перед собою вид, будто ничего не происходит, автор каждую минуту ждет, что ему позвонят из редакции, попросят немедленно приехать, — а там... Там улыбки, возникающие прямо в воздухе, будто магниевые вспышки фотографов, и кто-то маститый, немножечко страшный, благословляет, перед тем как сойти в стоящий тут же, на полу, похожий на часть старинного комода полированный гроб.

Тем временем редактор, хлебая из надтреснутой редакционной чашки остывающий чаек, читает рукопись. Редактор видит, что вымысел состоит из сугубо частных реликвий и ценностей и что ситуация «Короленко—Горький» при всем желании невозможна. Значит, предстоит тяжелая встреча, во время которой придется говорить немного не своим голосом и озвучивать аргументы, которые все равно не будут восприняты. «У вас, дорогая девушка, вместо сердца репа», — сказал мне тяжелый, как гусь, старик-ветеран, написавший, конечно, о войне, и эти слова были лучше всего, что содержалось в рукописи. «Вы же ничего не понимаете, кто же вас сюда посадил? Ничего, ничего не понимаете...» — бормотала интеллигентная дама с лицом,

как папиросная бумага, неловко утряхивая рассевшиеся страницы и завязывая папку на взаимноисключающие бантики. Потом вдруг спросила, глядя странными, почти бесцветными глазами, напоминавшими полупрозрачные кольца сырого лука: «А вы не думаете, что после таких экзекуций человек может пойти и броситься с десятого этажа? Вот представьте себе, что я это сделаю». Я не хотела представлять, было глупо в конце концов, но так получилось. За окном редакции с мокрым шелестом проносились белые призраки: чистили крышу, и сквозь приоткрытую, почти вываливающуюся от старости форточку было слышно, как сброшенный снег с каким-то плотским еканьем лепится на тротуар. Несколько дней воображение работало против меня, выделяя из окружающей действительности то мультипликационно-текущую черную кошку, то необычный изгиб березы, точно дерево силилось и не могло что-то проглотить. В журнале регистрации оставался телефон мстительной авторессы: смалодушничав и набрав из дому заученные цифры, я услышала знакомый голос, горворивший несколько в нос, и сразу бросила трубку, будто оскорбленная писательница могла меня в чем-то изобличить.

Впоследствии выяснилось, что встреча с редактором не прошла для автора бесследно: в одном из полусамодельных сборников, выпущенных самоотверженными усилиями группы непризнанных товарищей, я увидела рассказ, а в рассказе свой непривлекательный портрет. Опять-таки это было лучше, чем образы той отвергнутой повести о любви инженера и инженера, что была написана от большой любви к Людмиле Петрушевской. Обижаться редактору не на что: если критик в целом работает дистанционно и имеет дело со свершившимися публикациями, то редактор режет по живому, и руки у него по локоть в крови. Будучи одновременно по обе стороны баррикад, лично я всегда пойму коллегу, у которого выработалась агрессивная защитная реакция на писательские эмоции. В каком-то смысле редактор — жертва парадного мифа о благородстве своей профессии. На самом деле он живой человек, который постоянно находится в том незавидном положении, когда ответственность на нем, а права и возможности этажом выше. Более того: основополагающие права находятся на самом верхнем этаже — у Того, Кто раздает литературные таланты, нимало не сообразуясь с нашими земными понятиями о справедливости. Когда же приходит время расхлебывать нестыковки механики земной и механики небесной, крайним оказывается литературный редактор, объект карикатур.

Комплекс отвергнутого влюбленного не единственная психологическая сложность, с которой приходится сталкиваться людям нашей героической профессии. Бывает, что литератор, обивающий порог, выбирает себе образец: не кумира из великих (с которыми литератор тайно ощущает себя в одной команде), но некий ГОСТ. Как правило, этот образец — писатель из известных, имеющий, что называется, своего читателя, регулярно публикуемый в толстых журналах, но на самом деле являющийся скорее привычкой, нежели достижением российской словесности. Ход мыслей соискателя понятен: я пишу не хуже, чем Имярек, однако печатают почему-то его, а не меня. Как правило, ГОСТами обзаводятся снобы всех мастей, от надменных юношей с высокими влажными лбами до грузных интеллектуалов с профессорскими бородками и дам в богемных одеждах: имяреков они в глубине души презирают, ориентируясь на уровни никак не ниже Маркеса и Достоевского. Но вот что замечательно: чем острее соискатель переживает свои литературные обиды, чем ревнивее сравнивает себя с выбранным Имяреком, тем больше становится на него похож. В конце концов редактор уже и сам перестает понимать, где в представленном тексте человек и где ГОСТ; все беседы с автором насчет сомнительности его успехов превращаются в хождение по замкнутому кругу. Впрочем, сегодня актуальным кумиром становится не философ и не стилист, а легкий беллетрист. Не думаю, чтобы у редактора от этого убавилось проблем: бороться с узаконенной вторичностью, чей механизм — мода, почти невозможно, и разница между удачей и неудачей конкретного автора становится исчезающе мала.

Особый случай — когда литературный редактор одновременно сам писатель. Тогда бывает, что на роль Имярека авторы назначают именно его. Тут уже не важно, каковы в действительности творческие достижения сотрудника издательства либо журнала (если тут вообще можно говорить о какой-то объективной действительности). Редактору выпадает честь быть в глазах широкой околоредакционной общественности своего рода ватерлинией русской литературы. При этом нижний предел его возможностей автоматически становится планкой, преодолев которую, всякий имеет право на доступ к печатному станку. В свою очередь, «потолок» редактора

(имеющийся у всякого пишущего) рассматривается как маловысокохудожественный уровень, выше которого, вообще говоря, и располагается вся настоящая литература. Редактора, таким образом, переворачивают с ног на голову и лишают права на собственное творческое пространство.

Такая публичность не всякому по силам. Само ощущение, что вот этот тип тебя выбрал для удовлетворения своих низменных психологических потребностей, — прямо скажем, не для слабонервных. Редактор начинает смотреть на автора как на опасного маньяка. Предел ситуации — персональный шизофреник. Всякий, кто достаточно долго проработал в журнале либо в издательстве, обзаводится парой-тройкой тихих фанатов, которые являются к редактору на службу, как к себе домой, пьют из его чашки, звонят с его телефонного аппарата, часто ходят в редакционный туалет. Некоторое время ко мне захаживал совершенно фантастический экземпляр, поставивший целью переписать по-новой всю мировую литературу. У этого человека была официальная II группа, обликом он до странности напоминал Петра Великого, глаза его полыхали синим светом, будто милицейские мигалки. Незловредный, он любил посиживать за нашей старой пишущей машинкой, хлопавшей, как мухобойка, по запрограммированному листу; вскорости обнаружилось, что друг редакции читает мою корреспонденцию и отвечает авторам на официальных бланках. Сперва у меня бродило подозрение, что, переделывая рассказы Борхеса и О.Генри на перестроечный антикоммунистический лад, человек проверяет редактора на вшивость; после, когда он мощно забуксовал на «Преступлении и наказании», открылись все бредовые величие его постмодернистского замысла. По-своему это был незаурядный сумасшедший; возвращая ему все более пухлые опусы, которые псих.принципиально подписывал всякий раз новым, взятым из классики псевдонимом (среди которых, между прочим, был и Обломов), я пугалась, что он распространит на меня свою теорию всеобщей несущественности существования. Слава Богу, все обошлось. Сегодня мой лучший друг, говорят, по-прежнему много пишет и пугает родных не топором, а обещанием, что назанимает денег и купит себе компьютер.

Очень долго функции литературного редактора смешивались в сознании писателя с функциями цензуры. Хотя на самом деле у людей нетрусливых и неглупых, побитершихся на редакционной работе, видимо, всегда имелись способы обходить негласные и гласные запреты. «Редактируя художественное произведение, советский редактор помнит, что задачи идеологические решаются в этой области художественными средствами», — писала в предисловии к своей хрестоматийной книге «Лаборатория редактора» Лидия Чуковская. Я еще застала времена, когда в «Урале», в отдельной, совершенно кубической комнатке сидел пожилой невеселый человек, которого почти в глаза называли «лакировщиком действительности». Когда он читал вверенное ему печатное издание, то закрывался локтем либо страницей, отчего казалось, будто цензор кушает или тайком читает лежащий на коленях детектив. Вреда от него не простекало, равно как и пользы; после того как в редакцию стали приходить несколько напуганные, крепко пахнувшие духами дамы из Обллита, разъярившие нам на инструктажах, какие именно ограничения теперь отменены, «лакировщик действительности» тихо исчез на пенсию, и никто про него в дальнейшем не вспоминал.

В то же время у многих писателей сохранилось ощущение, будто природа редактора ничуть не изменилась и что природа эта сугубо советская. Если официальные цензурные ограничения отменены, то в профессиональных функциях редактора образовалась пустота, которая будет заполнена чем-то другим. В качестве суррогата государственной цензуры кто-то видит групповые литературные интересы, кто-то — пристрастия редакционного начальства. Но что-то непременно должно быть. Помню, как лет пять — восемь назад стремление свободных творцов уничтожить редактора как класс замечательно совпало с желанием новых издателей сэконоимить на редактуре. В результате расплодилось монстры, как отечественные, так и переводные: их можно рассматривать как вредителей, потравивших язык и сгубивших не один литературный урожай. Чем-то история напоминает уничтожение воробьев в Китае; редактор, может, и не во всем хорош, но если его убрать, то все пожрет долгоносик. Одно время многим казалось, что если из читателей и писателей мы превратимся в ридеров и райтеров, то потребность в редакторе отпадет сама собой, потому что на Западе подобной профессии нет. Оказалось — не так. Там имеются разные типы литературных конвейеров, на некоторых неременным звеном является рирайтер, то есть переписчик. Видимо, рирайтер — это редактор,

доведенный графоманами до крайней степени озверения. К счастью, мы пока до этого не досорли.

Знаменательно, что Владимир Маканин в повести «Удавшийся рассказ о любви» сделал главной и глубоко прочувствованной героиней женщину-цензора. Когда-то юная Лариса любила диссидентствующего писателя Тартасова и помогала ему проводить сквозь рогатки своего сурового ведомства самые живые страницы прозы. Настали новые времена, и вот Лариса Игоревна — содержательница по-домашнему милого дома свиданий, а Тартасов — озлобленный неудачник, растерявший остатки таланта. Тут есть, пожалуй, чисто маканинский парадоксальный ход — шаг от ненависти к писателю со стороны цензуры к женской жертвенной любви. Если отвлечься от многослойных маканинских смыслов, повесть можно воспринять как знак прощения и примирения. Маканин, в сущности, сказал, что цензура — женщина. При том, что редакторы — как-то так сложилось — тоже по преимуществу принадлежат к слабому полу, их пока что не прощают. Я сейчас вспоминаю не собственный литературный портрет, а страничку из хорошей писательницы Нины Горлановой: «А на самом деле жизнь-то шла советская, и в этот день в издательство просто завезли лук. Дело житейское. Гора лука — золото, медь, и среди этого ярко-красный маникюр редакторш, корректорш. В самом низу эта сцена, т. е. пройти наверх, в издательство, я не могу. Пытаюсь, но всюду задницы наклоненных сотрудников и сотрудниц. То одна, то другая задница меня отталкивает (не специально, а лук они себе накладывают, делом заняты). А я-то холерик, я не сразу сдалась — пыталась прорваться, но крепкие какие задницы вырастила советская жизнь! Они меня упорно отталкивали. Словно сверху насыпали этот золотой лук (горький внутри), чтобы символ задницы, отталкивающей писателя, сразу мне в сознание ввести». Обнаружив эти обидные строки в книге Нины Горлановой «Вся Пермь», я представила, как долго еще редактору предстоит ассоциироваться с советским образом жизни. Тот факт, что толстые журналы (за исключением «Урала», которому просто повезло с губернатором) сегодня никак не поддержаны государством, никого ни в чем не убеждает. Напротив: люди полагают, что редакции «толстяков» безо всяких на то моральных прав приватизировали авторитетные брэнды, в результате чего еще и получили помощь от Сороса. «Ты кто такой?» — задают редактору вопрос мысленно и вслух. «Живу я здесь», — мысленно отвечает редактор. Написав последние строки, я вдруг подумала, что надо бы редакции «Урала» все-таки узнать, что случилось с нашим цензором, жив ли еще, не сильно ли бедствует. В конце концов он тоже был сотрудником журнала, а старость почти всегда наказывает человека страшнее, чем он того заслужил.

Между тем не мною первой замечено, что по-настоящему классных редакторов гораздо меньше, чем хороших писателей. Редактор — это совершенно особый талант, редкий и своеобразный. Елена Холмогорова сравнивает его с актерским дарованием, Лидия Чуковская называет редактора режиссером и многое в его работе поясняет примерами из Станиславского. Я бы сравнила литературного редактора с тренером. Правда, особенность нашего спорта такова, что в нем не существует объективных показаний хронометра и финишной ленточки, в чьи шелковые трепещущие объятия бросается счастливый чемпион. Результат в литературе недоказуем; тем важнее убежденность редактора, что этот результат потенциально присутствует.

Если очень огрублять, то литературные редакторы делятся на два типа: на тех, кто исходит из реального, и тех, кто исходит из должного. Вторые кажутся сильнее, пассионарнее; а ведь именно они, имея в уме идеал (чаще всего излюбленный пример из классики), застревают на самом первом и примитивном уровне работы над рукописью. Зная, что нельзя дважды в одной фразе употреблять слово «как» или «будто», что надо повторяющиеся слова заменять синонимами, такой редактор попадает в иные клейкие тексты, будто муха в варенье. Только он вычеркнет «будто» и поставит «точно», как тут же видит, что это слово уже присутствует в опасной близости от правки, и вымарывать теперь надо уже его. Как незадачливая муха, вытащив лапку, тут же увязает другой и третьей, так и редактор-идеалист прилипает к абзацу и исполняет мушиный танец, пока страница не оказывается измарана вдоль и поперек.

Редактор-реалист вживается в то, что имеется в наличии. Он входит в виртуальное пространство произведения, лучше писателя понимая, насколько оно нематериально. Проза (о поэзии я уже не говорю) — это такое место, где дверная ручка может поворачиваться под рукой героя при отсутствии дверей, красное платье через несколько абзацев нечувствительно становится голубым, погашенная лампа продолжает гореть и что-то освещать. Словом, проза для редактора — это сплошные улыбки

ки Чеширского кота. При этом судить писателя по им же созданным законам значит для редактора обнаружить зыбкости, где автор сам нарушает собственный кодекс. Бывают страницы, написанные в плохие дни из одного желания отработать урок. Бывают целые главы, которые, как заплатки, маскируют отсутствие другого текста, который автору сделать не удалось. Бывают линии, что насильственно прочерчиваются для воплощения некоей начальной идеи, которая по большому счету существовала для того, чтобы на ней могла взрасти паразитом иная и лучшая идея, которую и следует выращивать, а не глушить. Иными словами, каждый состоявшийся роман и даже рассказ реализует два замысла: удачный и неудачный. Умный редактор умеет расчистить завалы и убрать из текста строительные леса; правда, в иных вариантах оба замысла срастаются, как сиамские близнецы, и разделение их хирургическим путем опасно для жизни произведения. В моей редакторской практике бывали такие неоперабельные случаи. Понадобился некоторый опыт, чтобы понять: здесь ничего не надо делать, а надо просто брать и печатать, потому что достоинства вещи бывают важнее ее недостатков.

Если редактор не в меру активен, с ним иногда происходят сюжеты, травестирующие постмодернистскую идею «смерти автора». Это случается, когда в руки ему попадает сочинение из разряда, который среди моих коллег назывался «рукопасти». Как правило, это огромная, вроде стога сена, гора бумаги, где в мешанине разнородных и по большей части слабых эпизодов редактор видит непрописанный шедевр. Тогда редактор берет над автором плотное шефство: составляет для него план произведения, контролирует все стадии переработки полуфабриката. Увлечшись, он сам начинает вписывать связки, придумывать недостающих героев, добавлять удачные метафоры, — словом, становится рирайтером в самом буквальном смысле слова. Происходит переадресация авторства в духе Всеволода Некрасова: «Кто написал стихотворенье / Я написал стихотворенье». И села муха на варенье. Кстати, о стихах: у некоего редактора некоего отдела поэзии была неизлечимая, но тайная болезнь. Он, естественно, сам версифицировал, но без особого успеха: его унылые поэмы были какие-то эмалированные и отличались от настоящей поэзии, как хозяйственная посуда отличается от хрустальной. Однако, получая в свое распоряжение стихи собратьев по перу, которые следовало дотянуть, человек преображался: на него вдруг накатывало вдохновение, и он дарил клиентам строки и даже целые строфы, уровень которых превышал суммарное дарование редактора и автора. Возможно, что природа этого феномена близка к природе фетишизма. Возможно также, что имело место глубокое недоверие к собственному «я», легшее в основу не одного современного романа. Помнится, в каком-то детском юмористическом киножурнале, кажется, в «Ералаше», был сюжет, когда мелкий пацан, ассистируя старшему приятелю, бегущему дистанцию, носился около группы спортсменов, будто собачонка около автомобиля. Он не только сам прошел положенные километры, но еще успел побегать по разным поручениям потенциального чемпиона — и никто особо не заметил его активного присутствия. Так и редактор: бывает, что «рукопасти», которые он обрабатывал, получают признание, хорошую критику. Нередко после этого писатель начинает питать к редактору большую личную неприязнь.

Если говорить о редакторе очень сильном, редакторе почти идеальном, то в его работе есть большая доля профессионального цинизма. Он, как тренер в спортзале, видит в писателе «материал». По большому счету цель у редактора больше, чем у каждого отдельного автора. Эта цель — вся литература. Только такой редактор может установить с «материалом» полный контакт, какой бывает у тренера и его чемпиона. При этом редактор писателя гоняет и материт, а тот, понимая пользу, показывает все более высокий результат. Именно такой тип редакторской работы адекватен современному состоянию литературного процесса. Сейчас, когда событиями литературы становятся не столько сами книги, сколько Букеровские игры и Григорьевские чемпионаты, психология творчества закономерно включает спортивный элемент. Дело чести редактора — вырастить своего рекордсмена, а лучше целую команду, способную достойно представить издание или издательство на престижных соревнованиях.

Теперь скажу о романе, кажется, единственном в современной русской литературе, который художественными средствами проник в алхимию редакторского таланта. Это «Женский роман» Ольги Новиковой. Его нельзя понять, если не видеть структуру личности главной героини. То, что происходит с молодой и «простодушной» Женей Селениной, происходит не потому, что она любима маститым Рахато-

вым или гонима издательскими интриганами. Все дело в ее даровании быть малым спутником большой литературы: движения сюжета — игры этой невидимой миру гравитации.

«Говорящая» фамилия героини в романе не случайна. Она — Селена, Луна, придающая внешнему свечению больше поэзии, чем это свечение содержит. Ольга Новикова видит в даровании и кропотливом труде своей героини гармонизирующее начало. Драматизм произведения в том, что на нынешнем этапе развития и самосознания литературы гармония невозможна; писательница уловила этот тихий протест несвоевременного человека, что придало ее якобы бесхитроственному тексту полное романное звучание. Несвоевременность личности редактора, пусть он десять раз заслуженный тренер Российской Федерации, заключается в том, что его профессиональная и внутренняя задача — совершенство результата. Между тем если в современной литературе, протезирующей свои разломы гладью беллетристики, и возможно обретение нового качества, то ждать прорыва следует от текстов несовершенных, не убожавшихся собственного уродства. Редактору в отличие от провозгласившего независимость литературного критика предстоит умирать в писателе мучительной смертью — и воздастся за все за это, видимо, в раю.



Владимир БЕРЕЗИН

## Кусочность и непрерывность

Массовая страсть к путешествиям как бы компенсирует ничтожность буржуа. Побывав везде, он как бы побыл всем.

Больше всего буржуа любит навещать чужие страны в момент праздников — своих и чужих.

*Пол Зборовски*

Приближающаяся смена тридцать первого декабря на первое января уже кажется дурным анекдотом. Вернее, таким анекдотом, что рассказан тебе подвыпившим собеседником по второму разу. То, что происходило год назад, можно справедливо считать масонским сговором туристических компаний, и, надо сказать, сговором удавшимся. Миллионы билетов были раскуплены, и миллионы людей кинулись в омут странствия. Доход туристических фирм от фальшивого миллениума был сравним лишь с доходом разработчиков компьютерных программ от «Ошибки-2000». Многократно цитировали и слова бывшего Президента России, что удивил всех не только своим исчезновением с политической сцены, но и пропагандой подставного юбилея: «*Наступает 2000 год. Новый век, новое тысячелетие...*» У больших государств всегда свой отношения с тысячелетними периодами, империи так все сплошь тысячелетние.

Но вернемся к путешествиям. Их непрерывности и фрагментарности. К постоянно обсуждаемому нами главному фактору путешествия — помимо расстояния — времени. А между тем время есть субстанция непрерывная, тягучая и вязкая, независимая от нас.

Большинство людей склонны к путешествиям: они думают, что путешествие делает их жизнь непрерывной, и в этом процессе перемещения они могут соревноваться с самим временем. Отпускник образца смены тысячелетий забывает, что все жители Земли совершают путешествие вдоль одной из координат — оси времени. Это движение постоянно и осуществляется без всякого спроса самого путешествующего.

Приближение того, что называют «новым тысячелетием», — тема, обсуждаемая едва ли не чаще, чем любая другая в преддверии юбилея. А про юбилей Иисуса Христа уже сказано, что дата этого юбилея, дескать, не точна, что существуют и иные счисления, и иные мировые религии и, наконец, что счет времен от сотворения мира также вполне христианский. И вот наступает дубль-два → новая попытка празднования. Непрерывный праздник, который демократически делится на всех, ибо избежать миллениума невозможно, так же как невозможно избежать собственного дня рождения, даже бежав от родных и сослуживцев.

Каждому предлагается свой кусок от этой действительно, настоящей непрерывности.

Кусочность и непрерывность — термины вполне математические, впрочем, техническая и естественно-научная терминология хорошо подходит для описания явлений культуры. В математических терминах начинает просвечивать какая-то особая метафоричность.

Речь на этот раз пойдет о непрерывном путешествии, состоящем из отдельных кусков повествования.

В каком-то смысле философия выше литературы. И именно философ Платон говорил об одной особенности созерцания мира, он говорил о фрагментарности этого созерцания. После этого «сильного», как говорится в математике, утверждения, нужно сказать о примере, на котором будет строиться разговор о перемещении в пространстве и о прерывности такого перемещения.

Этот пример — роман «Сатирикон». Название смазано, и часть наших современников соотносит его то с театром, то с рестораном. Между тем вкус римской литературы нам особенно близок. Петроний писал «Сатирикон» во времена Нерона,



когда империя уже начинала умирать, хотя ей еще было отпущено четыре века. Другая великая империя — СССР — умирала куда быстрее. Распад был неотвратим, и СССР растаял, как намокший кусок рафинада.

В обоих случаях изменилась вся конструкция мира. Оттого бродяга, путешественник по Кампании, похож на печального пассажира электрички, едущего в Петушки. Последний, впрочем, одержим иным, нежели Энкалпий, пороком.

Я не очень понимаю, почему не переиздавали Петрония. Может, потому, что в нем много натурализма. А может, потому, что мужчины там любят не только женщин, но и мужчин, — главный герой попадает, правда, в компанию знаменитых философов, писателей и композиторов.

Но речь совсем не об этом.

Часто о книгах говорят такими словами: «Книги первого ряда, книги второго ряда...»

Так они стояли по шкафам. Непрерывность литературы прерывалась. Петроний оказался как бы во втором ряду мировой литературы. Был он впервые за много лет переиздан году в девяностом и продавался отчего-то только спекулянтами. Имя переводчика скрывалось за тремя мохнатыми звездочками, расположенными треугольником. Таков был репринт с издания 1924 года.

Петроний, по словам Тацита, был талантлив не трудом и упорными штудиями, но рассуждениями в праздности. Эстетизм Петрония — особенно в его отношении к смерти — чем-то схож с эстетизмом Оскара Уайльда, также Арбитра Изящных Искусств. Сама его смерть неоднократно становилась литературным сюжетом. Пушкин интересовался Петронием. набросок, такой же фрагментарный, как и «Сатирикон», посвящен последнему путешествию римлянина.

Нить, ведущая от Петрония к Пушкину, еще сверкнет перед нами.

Сцены путешествия римлянина похожи на вид из окна скорого поезда. Вот дачи, вот труба, вот кирпичная стена гаражей, на которой — инвектива в адрес куда-то подевавшегося прежнего Президента, метод решения национального вопроса или просто национальный орнамент с «и кратким» на конце. Видение, тут же исчезнувшее, мгновенный отпечаток эпохи.

Каждый из этих мгновенных снимков самодостаточен.

Древние карты Средиземноморья, сделанные греками, похожи на съемку широкоугольным объективом. Изображение, верное в середине, деформируется к краям. В центре мира — Греции — еще сохраняется масштаб.

Греки много перемещались. Они жили в центре мира, и вокруг было море. Море наполняло огромную миску с Египтом на одном краю и Таврией — на другом.

В море, как фрикадельки в супе, плавали острова. Между ними и осуществлялось перемещение. Далеко греки не плавали — не больше двухсот километров за раз. Они плавали недалеко, и Язон с Одиссеем скорее исключения, чем правило.

В дантовском аду выясняется, что Одиссей поплатился за любовь к дальним странствиям — утонул за Геркулесовыми столпами. О своих странствиях, кстати, он в основном только рассказывает. Свидетелей у него нет.

Судьба Язона еще менее завидна. Но плыть по морю все же выгоднее, чем тащить на лошадях (или на себе) тяжелые бьюки через горы. Поэтому лодки и корабли так часто описываются греками. Странствующие поэты двигались по морю туда и сюда — от Апеннин до Малой Азии...

Китайский роман странствий отличается от греческого. В китайском романе герой, вернувшись из странствий домой, стучается лбом о притолоку. За время путешествий он подрост. Греческий персонаж входит в свой дом спокойно. Он не изменился, голова его остается цела в процессе соприкосновения с прошлым.

Путешествие в греческой литературе прерывисто и оттого похоже на метрополитен. Наблюдатель воспринимает остановки, а не процесс движения. Движение остается в темноте. Это очень важно: описываются лишь станции.

В трагедии это тем более объяснимо. Непонятно, как можно изобразить корабль перед публикой. Конец древнего мира тоже связан с кораблями. Кормчий Тамус слышит печальную весть о кончине Пана, качаясь между Ионическими островами. Пан умер, и железный занавес истории, по меткому выражению одного политика-философа, с лязгом опустился.

Но до этого было пока далеко, и римляне, следуя грекам, тоже двигались по Средиземноморью. В отличие от греков они расширяли границы Ойкумены, делая их своими государственными. Они больше путешествовали по суше, оставив на ней вечными следами дороги.

Дороги, обсаженные терновником, ригоры, финесы и лимиты, ограничивавшие пределы владений, составляли сетку. Лимиты были ортогональны, что должно было устранить земельные споры в зародыше. Границы делали мир конечным, кусочным и прерывистым. Это касается и границ времени — системы календарей нарезали кусками то, что по сути своей не режется никак. Потому что мирозданию все равно, как повернулась Земля по отношению к Солнцу и сколько оборотов она сделала вокруг своей оси. Все юбилеи — задолго до древних греков — рукотворны.

Роман Петрония чем-то похож на греческий, но это скорее пародия на него. Эн-

колпий действует как Великий Комбинатор времен принципата Нерона (может, именно от Энколпия тянется этот род, принесший в русскую литературу Павла Ивановича Чичикова, а затем и неутомимого сына турецко-подданного). Этих людей роднит способ путешествия. Повод может быть различен — война, торговля, помощь попавшим в беду родственникам. Поводов много, но путешествие героев «Сатирикона» почти бесцельно, вернее, его целью является само путешествие, непрерывное странствие.

Энколпий похож на элементарную частицу, не имеющую массы покоя. Находясь в сравнительном благополучии Кротона, он начинает страдать от неуверенности.

Эти перемещения с неясной целью собственной неясной выгоды удивительно противоречат путешествию с подорожной по казенной надобности.

Сцены меняются с кинематографической быстротой. Кусочный и прерывистый сюжет будто сам подготовил себя к монтажу — радостному открытию двадцатых годов. Петроний, как ни странно, легко экранизируем, и речь идет не только о фильме Феллини.

А в «Сатириконе» Феллини блестяще передан запах тления, хотя до конца Римской империи, когда писалась книга, было еще далеко.

Запах тления сладок. Тление начинается тогда, когда организм перестает ощущать цель своей работы. Наступает скука. Собственная выгода ощущается уже не так отчетливо.

Пушкин передал эту бесцельность забав Фауста и Мефистофеля, а затем, приведя их в ад, подтвердил словами Смерти: «Ведь мы играем не из денег, а только бо вечность проводить». Наброски Пушкина отрывочны, прерывисты.

Отрывочен и «Сатирикон». Об этом распорядилась история: большая часть текста утеряна. Он написан так, будто говорящий переводит дыхание.

Так писал Шкловский. Позднее многие пытались имитировать такое письмо. Рукопись обрывалась, путешествие вдоль текста не было завершено. В средневековых канцонах честно писали: “*Mihi pergamenta deest*” — мне не хватило пергамента.

Правда, есть и еще более древние тексты, сохранившиеся куда хуже, а то и просто не дошедшие до нас.

Сказочный кот Гофмана рвал рукопись, и приключения придворного капельмейстера Иоганнеса Крейсlera приобретали запутанный вид. Братья Стругацкие обрывали главы своего романа «За миллиард лет до конца света» на полуслове.

Собственно, самым ярким жанром прерывистой фабулы является детектив. Это его неотъемлемое свойство, основанное на движении от одной головоломки к другой — чтобы разгадать самую главную загадку внутри повествования.

Это происходит потому, что досказанность губительна. Слово изреченное есть ложь, но Слово записанное, в котором дотошно расставлены буквы, есть скука. И искусство — в отличие от юриспруденции — посылно борется с досказанностью.

Текст Петрония тоже недосказан. Действие переносится с корабля на пир, в гостиницу, ведутся и не заканчиваются разговоры между рабами, слугами, почтенными матронами, вольноотпущенниками и крестьянами.

Отрывочность этих сцен похожа на отрывочность статей словаря, нового вида массовой литературы.

«Сатирикон» действительно стал энциклопедией римской жизни, комментарий Ярхо составляет чуть не четверть от объема издания 1924 года. Этот комментарий похож на известную книгу Лотмана, комментирующую «Онегина».

Отрывок следует за отрывком, каждому соответствуют своя стилистика, язык, скрытые цитаты и намеки. Случайностью они отделены друг от друга. Поэтому попытка француза Надо соединить текст вставками потерпела неудачу.

Так же обречена была бы идея достроить Колизей. Целым, законченным воспринимается первый том «Мертвых душ» и пушкинский отрывок о Фаусте.

В массовой культуре финал повествования всегда четок. Роман или фильм завершены соединением влюбленных или убийством злодея. Однако классический фильм ужасов всегда подразумевает продолжение. Монстр начинает вновь шевелиться, а герои уже ушли обнявшись в предчувствии свадебного путешествия. Кусок истории существования чудовища завершен, но жизнь его не прервалась.

Массовая культура вообще стремится стать однородной и непрерывной — как время, вобрать в себя все сюжеты, построить мир, где на одной ветке сидят попугай Сильвера и Тарзан, а Геракл беседует с Одним.

Можно сделать вывод, что это история распорядилась по-своему, позволив нам лишь подматривать в окно на ходу поезда. Предоставляя самостоятельно расставить вдоль насыпи верстовые столбы круглых дат, веков и тысячелетий. Каждая картина, открывающаяся на этом пути, закончена. Каждый юбилей неизбежен и радостен.

Труба, дом, гаражи, насыпь, где пируют новые вольноотпущенники, — всё, возникающая на секунду, создает единый текст непрерывного путешествия во времени.



Словари, должные бы переводить понятие в смысл, а смысл в языковой пример и даже в рисунок, теряют самый момент перевода. Это, другое, третье существуют независимо, в противовес друг другу. Барка, толкует словарь, «плоскодонное речное судно без палубы для перевозки грузов». Приводится пример из классической литературы А. Н. Толстого: «Четырнадцать человек тянули бечевою тяжелую барку с хлебом». А художник-иллюстратор изобразил судно со многими веслами<sup>1</sup>.

И если словарь объясняет устройство бильбоке, он не ограничивается словесным описанием: «Игрушка — шарик, прикрепленный к палочке, который подбрасывается и ловится на острие палочки или в чашечку». Рисунок изображает вздорную эту игрушку в двух вариантах сразу, и, коли в пределах словарной статьи инварианты взаимно себя дополняют, в рисунке они неизбежно противопоставлены.

Смысловое биение, иллюстративный тремор характерны и для упомянутой выше азбуки юного целовальника (опять варианты возможны?)<sup>2</sup>. Важное положение о том, что «термин “французский поцелуй” пришел в русский язык как элемент французской культуры, которая всегда считалась наиболее тесно связанной с темой любви. Во Франции этот поцелуй называется “поцелуем душ”», проиллюстрировано нежным объятием двух неясных фигур, снабженных крыльями. Ангелы это небесные, амуры, сломавшие на часах луки и стрелы, неприкрытые души, явившиеся в собственном виде, — сказать затруднительно<sup>3</sup>.

Суть не в том, что в пособиях для детей составители и художники вытесняют свои детские комплексы — пусть Эдиповы, пусть Олоферновы, пусть Буридановы, все едино. Суть в том, что у каждого из них собственный комплекс, пусть Иродиады, пусть Клитемнестры, пусть Герострата. Самость каждого расщеплена, а юной публике достаются продукты этого процесса расщепления, разные занозы и щепки.

Попробуй узнать, ставят ли хорошо воспитанные дети локти на стол во время первых объятий, или выяснить значение фразы «Андроны едут». О, и словари, и нравы, и комплексы!

Андроны и проехали, и вернулись, и сделали ближний круг, и уехали вновь. Осталось на земле несколько разрозненных клочков сена, да пособие, посвященное тому, как крепче свить дворянское гнездо.

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ МОСКВОШВЕЯ



<sup>1</sup> См. Иллюстрированный словарь забытых и трудных слов из произведений русской литературы XVIII — XIX веков. Оренбургское книжное издательство, 1998.

<sup>2</sup> NB (*лат.*) — проверить читателям в каком-нибудь независимом словаре.

<sup>3</sup> Равно в иллюстрированном словаре забытых и никому не нужных слов борзая собака изображена со столь явственной половой принадлежностью, что возникает вопрос: есть ли особая форма «борзой», обозначающая мужскую особь?

# Содержание журнала «Октябрь» за 2000 год

## ПРОЗА

<b>АЛЕШКИН</b> Петр. <b>Три расказа.</b>	
V	68
<b>АНАНЬЕВ</b> Анатолий. <b>Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.</b> Версии, основанные на исторических свидетельствах, фактах и документах. Книга третья.	
X	3
<b>БУЙДА</b> Юрий. <b>Три рассказа.</b>	
II	136
<b>ВОЛГИН</b> Игорь. <b>Пропавший заговор.</b> Достоевский и политический процесс 1849 года. Часть четвертая. Окончание.	
III	56
<b>ВОЛОДИН</b> Александр. <b>Хосе, Кармен и Автор.</b> Рассказ.	
IV	56
<b>ГОРЛАНОВА</b> Нина, <b>БУКУР</b> Вячеслав. <b>Два рассказа.</b>	
VI	97
<b>ГУРЕЕВ</b> Максим. <b>Внутри.</b> Рассказы.	
VII	46
<b>ЖИТКОВ</b> Андрей. <b>Агитрейд.</b> Повесть.	
VII	3
<b>КАЧАН</b> Владимир. <b>Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка...</b> Свободное сочинение на свободную тему.	
IV	64
V	87
<b>КИМ</b> Анатолий. <b>Близнец.</b> Роман.	
II	3
<b>КЛИМОНTOBИЧ</b> Николай. <b>Конец Арбата.</b> Повесть.	
IV	20
<b>КЛИМОНTOBИЧ</b> Николай. <b>Далее везде.</b> Главы из книги.	
XI	80
<b>ЛЕВИТИН</b> Михаил. <b>Рассказы.</b>	
VII	109
<b>ЛЕВИТИН</b> Михаил. <b>Еврейский Бог в Париже.</b> Повесть.	
X	129
<b>МАМЕДОВ</b> Афанасий. <b>Люби и ошибайся.</b> Повесть.	
I	94

<b>МУРАВЬЕВА</b> Ирина. <b>Дневник Натальи.</b> Повесть.	
IX	3
<b>НАЙМАН</b> Анатолий. <b>Сэр.</b>	
XI	3
XII	74
<b>НОСОВ</b> Сергей. <b>Член общества, или Голодное время.</b> Роман.	
V	3
<b>ОТРОШЕНКО</b> Владислав. <b>Гоголиана.</b>	
IV	123
<b>ОТРОШЕНКО</b> Владислав. <b>Новочеркасские рассказы.</b>	
VIII	3
<b>ПЕТРОВ</b> Григорий. <b>Родословное древо.</b> Рассказы.	
IV	143
X	91
<b>ПЕТРУШЕВСКАЯ</b> Людмила. <b>В садах других возможностей.</b> Из новой книги.	
III	3
<b>ПОПОВ</b> Евгений. <b>Кто-то был, приходил и ушел.</b> Рассказ.	
IX	80
<b>ПЬЕЦУХ</b> Вячеслав. <b>Дневник читателя.</b>	
VII	127
<b>РОЩИН</b> Михаил. <b>Князь.</b> Книга об Иване Бунине, русском писателе.	
I	3
II	81
<b>СОТНИКОВ</b> Владимир. <b>Смотритель.</b> Рассказ.	
VII	119
<b>СУТИН</b> Павел. <b>Эти двери не для всех.</b> Повесть в новеллах.	
VIII	34
<b>УТКИН</b> Антон. <b>Соседняя страна.</b> Рассказы.	
I	132
<b>ХАЗАНОВ</b> Борис. <b>Корсар.</b> Повесть.	
IX	58
<b>ХУРГИН</b> Александр. <b>В пределах нормы.</b> Рассказы.	
I	155
<b>ХУРГИН</b> Александр. <b>Не спас.</b> Рассказы.	
IX	85
<b>ЧИЖОВ</b> Евгений. <b>Темное прошлое человека будущего.</b> Повесть.	
VI	3
VII	57

<b>ШЕРСТЮК</b> Сергей. <b>Украденная книга.</b> Предисловие и подготовка текста Игоря Клеха. Публикация Светланы Савичевой.	
VIII	116
<b>ШКЛОВСКИЙ</b> Евгений. <b>Сатори.</b> Рассказы.	
V	129
<b>ЭППЕЛЬ</b> Асар. <b>Фук.</b> Рассказ.	
XII	149
<b>ЮРСКИЙ</b> Сергей. <b>Фонтанка.</b> Моя автогеография.	
I	143
<b>ЮРСКИЙ</b> Сергей. <b>Опасные связи.</b>	
VI	71
<b>ЮРСКИЙ</b> Сергей. <b>Пробелы.</b>	
XI	113

## Новые имена

<b>ЕЛИСТРАТОВ</b> Владимир. <b>Маду.</b> Рассказ. * <b>БОГАТЫХ</b> Анатолий. <b>Сладкое земное питание...</b> Стихи. * <b>РОНЬШИН</b> Валерий. <b>В летний дождливый вечер...</b> Рассказ. * <b>ПРИЕЗЖЕВ</b> Владимир. <b>Трамвайный человек.</b> Стихи. * <b>АНТОНОВ</b> Александр. <b>Блохолов.</b> Рассказ. * <b>МАТВЕЕВА</b> Анна. <b>Младенец.</b> Рассказ. * <b>ТАГАНОВА</b> Наталья. <b>Три стихотворения.</b> * <b>НАЗАРОВ</b> Вадим. <b>Круги на воде.</b> Главы из романа. * <b>ТУМАНОВА</b> Марина. <b>Миг и час.</b> Стихи.	
XII	3

## Нечаянные страницы

<b>КОБРИН</b> Кирилл. <b>Маленькая коллекция.</b>	
VII	151

## Искусство перевода

<b>ШОУ</b> Ирвин. <b>Год на изучение языка.</b> Рассказ. Вступление и перевод с английского Л. Володарской.	
---	--

**ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

ЛОСЕВ А. Ф. **Тайна общего дела.** Рассказы. Вступление Елены Тахо-Годи. Публикация А. А. Тахо-Годи. Подготовка текста А. А. Тахо-Годи и В. П. Троицкого.  
III 148

**ПОЭЗИЯ**

АКСЕНОВА-ШТЕЙНГРУД Светлана. **Дует вселенский сквозняк...**  
VII 104  
АНДРОНОВА Татьяна. **На освещенной жизнью стороне...**  
IV 3  
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир. **Материя стиха.**  
VIII 29  
ГРИЦМАН Андрей. **Когда луна осенний ножик вынет...**  
III 52  
ЗАСЛАВСКИЙ Риталий. **Все было музыкой...**  
VI 66  
КЕНЖЕЕВ Бахыт. **В тесноте отступающих лет...** Из книги «Невидимые».  
V 62  
КОКОТОВ Алексей. **Тихий нам пролит свет...**  
XI 76  
КРИВУЛИН Виктор. **Стихи после стихов.**  
IX 52  
КУБРИК Алексей. **Время дождя и рассвета.**  
VII 43  
МАКСИМОВА Светлана. **Меж двух ударов пульса...**  
VI 106  
МАРК Григорий. **Железные стихи.**  
III 146  
НАЙМАН Анатолий. **Песочные часы.**  
I 88  
ПОЛИЩУК Дмитрий. **Шепот памяти.**  
VIII 113  
РАКИТСКАЯ Эвелина. **Новые стихи.**  
X 125  
САКСОН Леонид. **Наваждение.**  
VII 124  
СПИРИДОНОВ Андрей. **В этом белом забытом раю.**  
III 144

СУЛЬЧИНСКАЯ Ольга. **Чердаки.**  
IX 77  
САЛИМОН Владимир. **Без видимых на то причин.**  
II 75

**ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ**

БЕРЕЗОВЧУК Лариса. **Великий инквизитор на марше, или Культура как власть.**  
V 152  
КАНТОР Владимир. **Срубленное дерево жизни.** Можно ли сегодня размышлять о Чернышевском?  
II 157  
МЕЛИХОВ Александр. **Между цинизмом и безответственностью.**  
X 155  
ПАВЛОВ Олег. **Когда не спасает красота.** Из «Нелитературной коллекции».  
I 162  
ПАВЛОВ Олег. **Наша война.** Из «Нелитературной коллекции».  
V 148  
ПАВЛОВ Олег. **После Платонова.**  
VI 159  
СЕКАЦКИЙ Александр. **Фотаргумент в философии.**  
III 166  
СЕКАЦКИЙ Александр. **Я к вам пишу.**  
IX 145  
ТИМОФЕЕВ Игорь. **Лопотухинские хроники.**  
XII 159  
ХАЗАНОВ Борис. **Вейнинггер и его двойник.**  
IV 166  
ХАЗАНОВ Борис. **Десять праведников в Содоме.** История одного заговора.  
VI 141  
ЭПШТЕЙН Михаил. **Хроноцид.** Пролог к воскрешению времени.  
VII 157  
*Пока не требует поэта...*  
МЕЛИХОВ Александр, СТОЛЯРОВ Андрей.  
VII 172  
**Богач, бедняк.**  
VIII 142  
**Бесплодные земли.** Писатель и алкоголь.  
XI 140

**ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ**

ИЛЬИНА Наталия. **Из последней папки.** Записи разных лет (1957—1993). Публикация Вероники Жобер. Предисловие, подготовка текста, примечания Маргариты Тимофеевой.  
VI 110  
**Письма А. В. Дружинина к В. П. Боткину.** Вступительная статья, публикация и комментарии О. А. Голиненко и Б. М. Шумовой.  
IX 160  
ПРИШВИНА Валерия. **Невидимый град.** Глава из романа. Вступление и подготовка текста Я. З. Гришиной.  
IX 111  
**ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

АМУСИН Марк. **О несходстве сходного.**  
II 181  
БАСИНСКИЙ Павел. **Постфеминизм.** У русской литературы была женская душа.  
IV 176  
БЕРЕЗОВЧУК Лариса. **Естественный отбор.** Статья первая.  
X 166  
БЕРЕЗОВЧУК Лариса. **Естественный отбор.** Статья вторая.  
XII 166  
ГЛАДКОВА Людмила. **Об истинном искусстве.** По переписке Л. Н. Толстого с Ф. Ф. Тютченко.  
IX 173  
ИВАНИЦКАЯ Елена. **Дороги и спотыкания.**  
V 178  
КОЛЫМАГИН Борис. **Благословление навеки.** Об одной религиозной интуиции Генриха Сапгира.  
VI 180  
КОЛЫМАГИН Борис. **Храни боеготовность языка.**  
XII 173  
МАЛЫГИНА Нина. **Здесь и сейчас: поэтика исчезновения.**  
IX 152  
МИХАЙЛОВА Наталья. **«Заклинание».** Из книги «Болдинские встречи».  
VI 177

ПУРИН Алексей. **Взгляд на город, похожий на Петербург.**

I 172

ХАЗАНОВ Борис. **Левиафан, или Величие советской литературы.**

I 165

ЧЕРНОВА Татьяна. **Читая Фридриха Горенштейна.** Заметки провинциального читателя.

XI 146

ШУБИНСКИЙ Валерий. **Семейный альбом.** Заметки о советской поэзии классического периода.

VIII 150

## Панорама

Светлана ВАСИЛЬЕВА. **ОБЖ, ЕБЖ** (Владимир Салимон. Бегущие от грозы). Владимир ШПАКОВ. **Мыслящий стилист** (Игорь Клех. Инцидент с классиком). Л. ВОЛОДАРСКАЯ. **Рабле двадцатого столетия** (Генри Миллер. Роза распятая). Виктор КУЛЛЭ. **Существо поэзии** (Игорь Меламед. В черном раю). Марк АНТОНОВ. **Теза-анти-теза-синтез** (В. В. Набоков. Комментарий к «Евгению Онегину»). Александр ЛЮСЫЙ. **Как жить в Европе, не выезжая из России** (В. К. Кантор. Феномен русского европейца). Валерий ШУБИНСКИЙ. **История любви** (Виктор Топоров. Двойное дно).

I 174

Александр ВЯЛЬЦЕВ. **Пограничье** (Олег Павлов. Казенная сказка). Елена МЕНЬШИКОВА. **Орфей, не молчи!** (Ольга Бешенковская. Песни пьяного ангела). Эдуард КОТОВ. **Эстетика пазла** (Юз Алешковский. Карусель. Кенгуру и руру). Александр МЕЛИХОВ. **Все-му он предпочел дорогу** (Александр Городницкий. Избранное). Алексей ВАРЛАМОВ. **Время высокой травы** (Сергей Пронин. Яна Жемойтель. Последние сны). Александр ЛЮСЫЙ. **Книга оправдавшихся предчувствий** (Е. Г. Эткинд. Божественный глагол).

III 178

Юрий ГИРИН о кн. Валерия Земскова «Лазарь. Подземная бабочка». Алексей КОКОТОВ о кн. Максима Амелина «Dubia». Марк АНТОНОВ о кн. Б. Поплавского «Автоматические стихи». Владимир КАНТОР о кн. Фаины Раневской «Дневник на клочках». Иван БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ о сб. «И только без этого жить невозможно». Александра ХОДАК о кн. Б. Н. Лесняка «Я к вам пришел». Валерий ШУБИНСКИЙ о кн. Тимура Кибирова «Интимная лирика», «Нотация». Владимир ШПАКОВ о кн. Милана Кундеры «Вальс на прощание». Л. АРСЕНЬЕВ о кн. Дениса Датешидзе «Мерцание».

VI 164

Владимир БЕРЕЗИН о кн. Владислава Отрошенко «Персона вне достоверности». Алексей КОКОТОВ о кн. Бориса Рыжего «И все такое...» Владимир ШПАКОВ о кн. Сэмюэла Беккета «Моллой. Мэлон умирает». Олег ДУЛЕНИН о кн. Э. М. Лындиной «Олег Меньшиков», Игоря Сукачёва «Король проспекта», И. В. Родионовой «Олег Табаков. Парадокс об актере». Алексей ИВИН о кн. Сергея Бардина «Ломбард». Нина ГОРЛАНОВА о кн. М. Л. Гаспарова «Записки и выписки». Александр ЛЮСЫЙ о кн. Михаила Эпштейна «Постмодерн в России». Михаил СКВОРЦОВ о сб. «Жужукины дети».

XI 153

## Отличие ямба от хорея

КОБРИН Кирилл. **Письма в Кейптаун о русской поэзии.**

Письмо первое.

V 167

Письмо второе.

VIII 176

Письмо третье.

XI 170

## Переписка по Цельсию и Фаренгейту

ГРИЦМАН Андрей. **Будет ли будущее?**

V 181

## Терпение бумаги

СЛАВНИКОВА Ольга. **Та, что пишет, или Таблетка от головы.**

III 172

**Двенадцать лет спустя.** Два эксперимента «молодежной» литературы.

IV 180

**Шесть голого короля.**

V 173

**Критик моей мечты.**

VI 183

**Призрак Лермонтова.**

VII 178

**«Читать мучительно не хочется...»**

VIII 169

**Партия любителей П.**

IX 178

**Король, дама, валет.** Книжная серия как зеркало книжной революции.

X 179

**Деталь в современной прозе, или Похождения инфузориотуфельки.**

XI 175

**Села муха на варенье, или Похвальное слово литературному редактору.**

XII 176

## Русское поле

Рубрику ведет Павел БА-СИНСКИЙ.

VIII 181

XI 182

## Актуальная культура

БЕРЕЗИН Владимир. **Массовая и элитарная.**

I 190

**Герой, его внутренность и внешность.**

II 187

**Сокровище.**

III 187

**Зверье.**

IV 187

**Игра.**

VI 188

**Символ женщины.**

VII 185

**Апология ошибки.**

VIII 185

**Левая и экстремальная литература.**

IX 185

**Ажиотажная история.**

X 187

<b>Счастье.</b>		<b>Торы полон рот.</b>		<b>Языковой глобус одной шестой части суши...</b>	
XI	186	III	191	IX	189
<b>Кусочность и непрерывность.</b>		<b>Фасон испанского сапога.</b>		<b>Откуда повелись на Руси художники.</b> Опыт независимого от текста расследования.	
XII	183	Гвоздь нового зона.		X	191
		IV	190	<b>Диагноз для Прометея.</b>	
<b>Песни познания</b>		<b>Самый долгий саспенс в мире.</b> О неэстетичном отношении действительности к искусству.		XI	190
<b>Глубокая тахизма</b> (композиция номер раз)		V	189	<b>Что делать ребенку с языком.</b>	
I	188	<b>Изрекший: «...квинтер, син».</b>		XII	186
<b>Как обуютить Россию при помощи никелированной кровати и гumbочки.</b>		VII	189		
II	191	<b>Пятьдесят лет в анекдотах, или Жизнь старого игрока.</b>			
		VIII	189		





## **УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!**

### **ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ» НА 2001 ГОД!**

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;

для стран СНГ — 79209;

для Российской Федерации (годовая подписка) — 72375.

А также подписка на «Октябрь» по Москве через Интернет [www. Gazety.ru](http://www.Gazety.ru)

В первом полугодии 2001 года каталожная цена на один месяц:  
для подписчиков Российской Федерации — 39 руб. 50 коп.;  
для подписчиков стран СНГ — 53 руб. 50 коп.;  
годовая подписка (для подписчиков РФ) — 474 рубля  
плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается НПО «Информ-система»: тел. (095) 127-91-47, факс (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru.

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28;

«Эйдос» — Старосадский пер., 9.

**МОСКОВСКИЙ ЛИТФОНД** совместно с **АЛЬФА-БАНКОМ** продолжают уникальную для культурной жизни России акцию — материальную поддержку писателей, работающих над новыми произведениями.

В этом году по итогам конкурса на соискание стипендий Альфа-банка независимая экспертная комиссия, состоящая из представителей ведущих литературно-художественных журналов, приняла решение присудить 15 стипендий писателям: Вадиму КОВСКОМУ, Капитолине КОКШЕНОВОЙ, Надежде МАЛЬЦЕВОЙ, Владимиру МИКУШЕВИЧУ, Владиславу ОТРОШЕНКО, Виталию ПУХАНОВУ, Юрию РАЗУМОВСКОМУ, Михаилу РУДНИЦКОМУ, Владимиру САЛИМОНУ, Людмиле САРАСКИНОЙ, Нине СВЕТОВИДОВОЙ, Инне СИМОНОВОЙ, Виктору СМИРНОВУ, Игорю ЭБАНОИДЗЕ, Асару ЭППЕЛЮ.

*Премии журнала «Октябрь»  
за 2000 год*

**Анатолий Найман**

**Сэр**  
роман  
№№ 11, 12

**Людмила Петрушевская**  
В садах других возможностей  
рассказы  
№ 3

**Сергей Шерстюк**  
Украденная книга  
Дневник последнего года жизни  
Предисловие и подготовка текста **Игоря КЛЕХА**  
№ 8

**Кирилл Кобрин**  
Цикл статей и эссе

**Вячеслав Пьецух**  
Дневник читателя  
№ 7

**Премия «Дебют»**  
**Сергей Носов**  
Член общества, или Голодное время  
роман  
№ 5